

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

«... из пламя и света рожденное слово!»

М. Ю. Лермонтов

№ 9

август – октябрь 2018

Санкт-Петербург
2018

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

©Чернышев В. И., 2018
©Редакционный Совет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА. КРИТИКА	
В. А. Овсянников. Жизнь с книгой. Лист брусничника. Столик в саду.	5
Сны Шумера (поэма).	19
Существует ли поэзия. О стихах и рисунках О. Григорьева.	35
Маргарита Токажевская. Стихи и впечатления	39
Мария Амфилохиева. Маршрутка (социальные стихи)	51
Б. А. Орлов. Стихи для русского журнала	57
В. И. Чернышев. СТРАНИЧКА из дневника	64
Стихи, как будто ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА	65
Не заключительное слово Редактора	70
ТРИ ТОВАРИЦА	68
Владимир Меньшиков. Село - городок	86
Рокировка. Читая «Исповедь пасынка века» Василия Чернышева	98
II. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика, рассказы, эссе, воспоминания)	
Александр Медведев. Кутаев и Гребенцов. Рассказ	106
Фуфайка набекрень	109
Маска, я вас знаю	115
Исследование глубины. (О книге Б. Орлова «Семь футов любви»)	119
Введение в заблуждение. (О книге В. Чернышева «Исповедь...»)	125
В. А. Овсянников. Миф об авторе.	131
Геннадий Муриков. Три поэтических мира.	134
Какова же судьба русских олигархов?.	138
Т. М. Лестева. Сказка про Золушку «второй свежести».	141
Л. Л. Бубнова. Ритмы круговорота (рассказ). Розанов (заметка). В кругу мужского вдохновения (воспоминания).	147
III. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. Лишние русские люди	
Замогильные Записки. Обложка	173
В. И. Чернышев. Предисловие человека, вообразившего себя редактором мира	174
Вл. Серг. Печерин. Замогильные Записки. Текст.	177
IV. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ	
Надежда Полякова. Библейские образы и библейские сюжеты в русской поэзии. Под редакцией Галины Дюмонд	193
V. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ (человека и слова)	
А. В. Осипов. На добрый привет добрый ответ	215
В. И. Чернышев. Несколько слов к портрету поэта.	223
А. В. Осипов, В. Г. Исаченко. Разговор после выставки	224
М. Чернышева, В. И. Чернышев. Рене Герра и его книга.	230
VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, публикации, переписка)	
Александр Медведев. О новой книге В. Меньшикова	241
Ольга Мальцева. Православно-патриотические стихи	245
VII. НАД ЖИЗНЬЮ (СТИХИ, статьи, рассказы и ПИСЬМА)	
В. И. Чернышев. Новая русская философия	247
Абсолютные оценки	272

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Вячеслав Овсянников

Жизнь с книгой

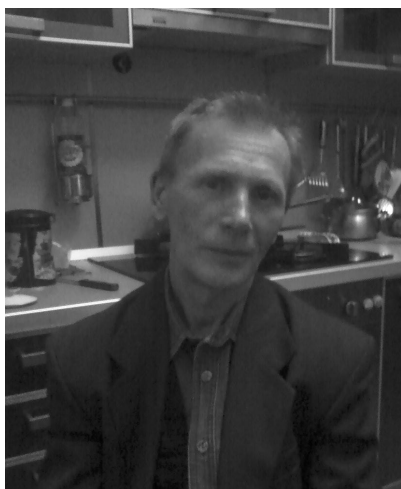
Лист брусничника

Столик в саду

СНЫ ШУМЕРА

Существует ли поэзия?

О стихах и рисунках Олега Григорьева



ЖИЗНЬ С КНИГОЙ

С чего началось чтение. Первая моя книга – «Путешествия Гулливера», подарок матери на мое семилетие. По этой книге она и научила меня читать. Издание для детей, широкий формат, крупный шрифт, иллюстрации. Обветшала книга с пожелтлыми, истрепанными страницами. Она еще там, на полке в книжном шкафу, в старом доме. Память детства. Давно я уже покинул родной дом, а книга ждет меня. Зимний вечер, мы с матерью у печки, за железной дверцей жарко пылают и трещат дрова. У матери часок, свободный от домашних забот. Мать читает мне об удивительном великане Гулливере в стране лилипутов. Голос у матери молодой, звонкий. Я люблю ее голос. Но мне хочется читать самому. И вот, запинаясь, по складам, как будто продираюсь сквозь дебри, вода пальцем по странице, произношу фразу. Как я горд своим подвигом! Это же что-то совершенно невозможное! Чудо из чудес! Я читаю! Читаю сам!

Позже, взрослый, я перечитал эту великую книгу Свифта в другом, солидном издании. И открылся невероятный мир. Детское чтение затмилось. Третье путешествие Гулливера, летающий остров Лапуга. В третьей главе Свифт пишет о том, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. И приводит параметры их орбит, почти совпадающие с действительными. Как Свифт мог знать об этом в 18 веке (книга вышла из печати в Лондоне в 1726 году) за 150 лет до практического открытия этих спутников? Спутники Марса, названные Деймос и Фобос, были открыты в 1877 году американским астрономом Асафом Холлом. Но предположение об их существовании еще в 1610 году высказал Иоганн Кеплер. А в наше время появились гипотезы, что о Марсе было известно уже в древности. В 1939 году в армянском хранилище древних рукописей Матенадаране ученым Арутюняном была обнаружена древняя карта с изображением Марса и одного спутника вместо двух. Карта эта, возможно, копия, снятая с оригинала из погибшей Александрийской библиотеки. Вот он какой, автор «Путешествий Гулливера», первой, прочитанной мной книги! Книги, по которой я научился читать! То ли он был посвящен в тайные знания, взятые из древних астрономических книг и карт, то ли предсказал все это в непостижимо провидческой фантазии вплоть до точных математических расчетов. Кстати, существует предположение, что параметры двух спутников Марса, приведенные Свифтом, для его времени были точны. К нашему времени они незначительно изменились, поэтому и расхождение.

А еще четвертое, последнее путешествие Гулливера в страну мудрых и благородных лошадей гуингмов и отвратительных человекообразных йеху. Эти йеху имеют гнусный обычай при знакомстве с чужаком обгадить его с головы до ног.

А еще я люблю великолепное стихотворение Николая Тихонова «Гулливер играет в карты». Оно из тех, что я знаю наизусть. Уверен, великан, играющий в карты с современными лилипутами, – это Маяковский. Гигант-поэт, мир огромивший мощью голоса, проиграл всё долла толпе жуликов и пройдох, шулеров-мошек. Да и как может быть иначе.

ГУЛЛИВЕР ИГРАЕТ В КАРТЫ

В глазах Гулливера азарта нагар,
Коньяка и сигар лиловые пути, –
В ручонки зажав коллекции карт,
Сидят перед ним лилипуты.

Пока банкOMET разевает зев,
Крапленой колодой сгибая тело,
Вершковые люди, манжеты надев,
Воруют из банка мелочь.

Зависть колет их поясницы,
Но счастьем Гулливер увенчан, –
В кармане, прически помяв, толпится
Десяток выигранных женщин.

Что с ними делать, если у каждой
Тело – как пуха комок,
А в выигранном доме нет комнаты даже
Такой, чтобы вбросить сапог.

Тут счастье с колоды снимает кулак,
Оскал Гулливера, синяя, худеет,
Лакеи в бокалы качают коньяк,
Лакеи на лифтах вздымают индеек.

Досадой наполнив жилы круто,
Он – гордый – шелкает бранью гостей,
Но дом отбегает назад к лилипутам,
От женщин карман пустеет.

Тогда, осатанев от винного пыла,
Сдувая азарта лиловый нагар,
Встает, заноса под небо затылок:
«Опять плутовать, мелюзга!»

И плюнув на стол, где угрюмо толпятся
Дрянной, мелконогой земли шулера,
Шагнув через город, уходит шататься,
Чтоб завтра вернуться и вновь проиграть.

Это стихотворение мне дорого еще и тем, что две строки из него любил цитировать Виктор Соснора на занятиях своего Лито в ДК им. А.В. Цюрупы, как пример изумительной звукописи:

Лакеи в бокалы качают коньяк,
Лакеи на лифтах вздымают индеек.

Звучание этих строк и сейчас открывает мне тайны музыки стиха не меньше, чем пушкинское «роняет лес багряный свой убор», или пастернаковское «роскошь крошеной ромашки в росе».

Еще одно чудо в начале моего чтения – «Слово о полку Игореве». Опять – подарок матери. Я уже учился в школе, мне было девять лет. Эта книжица открыла мне поэзию, «злато слово». Я был заморожен красотой древнерусских образов и музыкой речи. Сшил самодельную книжку и переписал в нее весь текст, стараясь красиво выписать каждую букву. Тогда-то я и научился настоящему писать, научился письму. Теперь уже не помню, был ли это на самом деле древнерусский текст. Книга, подаренная матерью, к великой моей печали не сохранилась. И список мой с нее – тоже. Да и не приснилось ли мне все это? Мог ли девятилетний ребенок что-нибудь понимать по-древнерусски? Но полюбить-то мог, околдованный этой магией, звучанием, ритмом, этим звоном и сверканьем дивных слов, этим волшебством языка.

«Боянь бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеться мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы, помняшеть бо, рече, первых времянь усобице. Тогда пушашеть десять соколов на стадо лебедей, которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предь пълкы касожьскими, красному Романови Святъславличу. Боянь же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пушаше, нь своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами князем славу рокотаху».

С тех пор «Слово о полку Игореве» со мной всегда, всю мою жизнь. Позднее я приобрел несколько разных изданий, в том числе и в издании Дмитрия Лихачева в 12-томном собрании «Древнерусская литература». Все 12 томов этого собрания стоят на книжной полке в моей библиотеке на видном месте. Знаю все известные стихотворные переводы, начиная с Жуковского. А сам древнерусский текст «Слова о полку Игореве» заучил наизусть, помню и повторяю. Русская литература началась для меня с этой поэмы, с нее же началась и моя любовь к книге, к слову, к письму.

Я категорический противник любых стихотворных русских переводов «Слова о полку Игореве». Они всегда ниже оригинала. Ни один из них никогда не заменит красоту древне-русского языка и неподражаемую поэзию этого древнего произведения. Надо читать сам древне-русский текст (не так уж это и сложно), а не заменять его рифмованными имитациями и перепевами. Прозаические переводы – дело другое. Там нет претензии на перевод с поэзии на поэзию.

У меня никогда не было сомнений в подлинности «Слова о полку Игореве». Верю Пушкину, его чувству языка. Вот известное высказывание Пушкина из его неоконченной статьи: «Некоторые писатели усумнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока... Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться».

А после блистательного доказательства подлинности «Слова о полку Игореве», осуществленным нашим замечательным лингвистом Андреем Анатольевичем Зализняком, этот нелепый спор, я думаю, окончательно решен.

У Пушкина были планы издать свой перевод «Слова». В последние месяцы перед дуэлью он был занят только этой работой, исследованием и комментированием текста. Именно поэма неизвестного древнерусского автора была с ним в его конце. О ней думал Пушкин, о ней любил говорить с ценителями. С. П. Шевырев писал через шесть лет после смерти Пушкина: ««Слово о полку Игореве» Пушкин помнил от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров». А вот что пишет археограф М. А. Коркунов вскоре после гибели Пушкина: «С месяц тому назад Пушкин разговаривал со мной о русской истории. Его светлые объяснения древней «Песни о полку Игореве», если не сохранились в бумагах, – невозвратимая потеря для науки».

Не без горечи я повторяю слова Пушкина: «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности». Как печальна зачастую судьба книг. Не менее печальна, чем судьба их авторов. Ведь и гениальное «Слово о полку Игореве» чудом дошло до нас. В единственном списке! Через шестьсот лет! Случайно обнаружено в одном из монастырей. Вскоре после публикации (издание Мусина-Пушкина в 1800 году) оригинал гибнет, сгорев в пожаре 1812 года! Рукописи горят! Еще как горят, целыми библиотеками! И в наше время. Пожар в петербургской Академии наук в феврале 1988 года; в Петербурге же в феврале 2004-го сгорело здание музыкально-художественной библиотеки им. А. Блока; и совсем недавний пожар в Москве в январе 2015-го в библиотеке Института научной информации по общественным наукам. И все-таки чудеса случаются! «Слово о полку Игореве» уцелело, не дало себя сжечь. Героическое оно, во всех смыслах.

Бесценны для меня и беседы о «Слове о полку Игореве» с Виктором Соснорой. Это была одна из самых частых тем наших с ним разговоров. По признанию самого Сосноры, он и начался, как настоящий поэт, с переложения этой древней поэмы на современный лад: его сборник «Всадники».

О Пушкине, наверное, от матери впервые услышал. Запомнилось «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / То как зверь она завоет, / То заплачет, как дитя». А потом, позже, уже в школе прочитанное «Мороз и солнце; день чудесный!.. / Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, / На мутном небе мгла носилась; / Луна, как бледное пятно, / Сквозь тучи мрачные желтела...».

Почему-то в ту пору меня больше привлекали мрачные картины, силы стихии, бури, вьюги, вихри. И, прочитав Лермонтова, его «Ангел», «Парус» и особенно «Демон», я предпочел Лермонтова Пушкину. Лермонтов надолго стал моим кумиром. Я, как говорится, был под властью его могучего очарования. Мне было 13 лет, поэзию Лермонтова мы уже изучали в школе. Помню, учительница по литературе и русскому языку Людмила Михайловна задала урок, выучить отрывок из Мцыри, кому что нравится. Я выбрал бой с барсом и с большим воодушевлением продекламировал на уроке. Но сильнее всего меня зачаровал «Демон». Эту довольно большую поэму я заучил всю наизусть, от начала до конца. Хотелось кому-нибудь ее читать вслух. Но читать было некому. Матери в ее хлопотах было не до стихов. Сестра Лена, младше меня на четыре года, девочка чувствительная, ранимая, чуралась всякого демонизма. Друзей-приятелей не было, всех чуждался, в классе прозвали «рак-отшельник». Уходил один гулять в наш парк на дудергофских холмах, там, на «дикой природе», в безлюдье, бродил в одиночестве, по тропинкам и во весь голос декламировал «Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей...». И так далее, всю поэму. Темный осенний вечер, иду по склону, голос мой звенит в чащах. И чудится, я сам этот лермонтовский демон, лечу, распластав крылья, не над нашими холмами, а над мрачными вершинами Кавказа. Потом полюбил стихи Блока, его Демона: «И в горном закатном пожаре, / В разливах синеющих крыл, / С тобою, с мечтой о Тамаре, / Я, горный, навеки без сил...», и Пастернака «Памяти демона», из его гениальной книги стихов «Сестра моя жизнь», посвященной Лермонтову: «Приходил по ночам / В синеве ледника от Тамары, / Парой крыл намечал, / Где гудеть, где кончаться кошмару...». И Врубель, «Демон сидящий», «Демон поверженный». Какой грандиозный образ! Вот что меня тогда зачаровывало в 13 лет – грандиозность!

У нас в доме была библиотечка, собранная моей матерью. Средств на приобретение книг не очень-то находилось. Жили скудно. В книжном шкафу на полке стоял и томик Лермонтова небольшого формата, бурая обложка, издательство художественной литературы, Ленинград, 1941 год, редакция Б. М. Эйхенбаума. Этот бесценный томик, (первый том из двухтомного собрания) и сейчас там. Он дороже мне всех лермонтовских изданий.

А силу Пушкина я понял и сумел оценить только в зрелые годы. Добрался и до полного академического собрания сочинений Пушкина в 16 томах (17-й дополнительный). Брал по одному тому в библиотеке ДК им. Цюрупы (я тогда посещал Лито при этом ДК, руководил Лито Дмитрий Резников, затем там свое Лито вел Виктор Соснора). Большие тома, в желтой обложке. К тому времени я Пушкина знал всего, и меня интересовали отрывки, неоконченное, другие редакции, варианты, черновики, комментарии. Помню впечатление мастерства: как филигранно отточены и самодостаточны у Пушкина даже небольшие наброски из незавершенного.

И еще одна книга той ранней поры. Стою на крыльце, без шапки, голая шея. Уже тепло, апрель; у тополя у нас на дворе набухли крепкие клювики почек. Стук калитки. Подходит девушка, в руке большая кожаная сумка. В поселке книжная торговля на выезд. Предлагает купить книги. Я выбрал сборник баллад Шиллера в переводе Жуковского. Недорого, полтора рубля (до

денежной реформы 1961 года). Мать без возражений выделила сумму. Радость! Как я тогда был счастлив! Эта простенькая книжица и сейчас там, в том старом доме, где я уже не живу. Но я помню ее, помню тот светлый день, ту девушку книгоношу.

Читал я тогда запоем. Брал книги в нашей поселковой библиотеке. Библиотека на пригорке в старом деревянном здании, где и почта. (Теперь ее уже давно там нет). Библиотекарша Капитолина Ивановна меня полюбила. Немало списанных книг подарила она мне, чем я и пополнил значительно свою домашнюю библиотечку. Одно из сокровищ, подаренных ею: шеститомное собрание сочинений Пришвина, без первого тома.

Закончил школу одиннадцатилетку, поступил в морское училище, в Макаровку. Появлялись деньги, тратил на книги. Так всю жизнь. В плаваниях, в судовой библиотеке, перечитал собрания сочинений Тургенева и Бунина, все тома, от корки до корки. У Тургенева нравилось «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь», «Накануне». Щемящее чтение. А то, что в школе заставляли – «Охотничьи рассказы», «Отцы и дети», «Муму» – пренебрегал. Ну а от Бунина – без ума. «Натали», «Легкое дыхание», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Темные аллеи» и прочая. И от стихотворений его был в полном восторге. Два последних тома из бунинского собрания сочинений, с его стихами, каюсь, умыкнул из матросской библиотеки, когда три месяца томился на воинской переподготовке за Мурманском на базе подводных лодок в городке «Полярный». Эти два потрепанных, замусоленных тома в темно-вишневой обложке из 9-томного собрания сочинений 1965 года издания и сейчас в моей библиотеке, хотя я давным-давно переменял свое отношение к Бунину в целом, и к его стихам в частности.

Ушел с моря, менял места работы, инженер на заводе, архивист, потом служил в милиции. Женился. Стал посещать Лито при ДК им. Цюрупы. Занился самообразованием, в свободные от службы дни просиживал от открытия до закрытия в Публичке в зале литературы и искусства или в тесной комнатке русского фонда с окном на Садовую улицу и Гостиный двор. В этой комнатке я прочитал многие малодоступные тогда книги, в том числе Андрея Белого. Там же читал и переписывал себе в тетрадь изданные на стеклографе стихотворные книжечки в несколько страниц Алексея Крученых. Там читал собрание произведений Велемира Хлебникова в пяти томах, составление и редакция Н. Степанова, 1928 – 1933 гг. Дважды прочитал от корки до корки все пять томов и самое важное для меня переписал в толстую тетрадь в клетку 96 листов мелким бисерным почерком. Это мое рукописное избранное Хлебникова храню как драгоценную память о поре того страстного увлечения. Бегал по букинистическим магазинам. Часто бывал в букинистике на Литейном проспекте. (Теперь этот магазин не существует). Помню, сразу, как войдешь, редкие книги лежат под стеклом на витрине. А справа ступени, к стеллажам, продавщица пускает по два-три человека, жди очереди, когда снимет шнур барьера. Там я купил письма Шопена; полное собрание сочинений Всеволода Гаршина в одном томе, издание Т-ва А. Ф. Маркс, 1910 г.; том второй Помяловского того же издания 1912 г.; несколько книг литературно-

художественного альманаха «Шиповник»; тома Октава Мирбо «Дневник горничной», «Голгофа», 1906, 1908 гг. издания, Пьер Лоти «Турецкие гаремы»; том Кнута Гамсуна, 1910 г.; Пантелеймон Романов «Детство»; 1929 г., роман Стефана Жеромского «Ранняя весна», издательство Кубуч – Ленинград, 1925 г., альбомы живописи и многое, многое еще. А рядом, чуть подальше магазин Академкниги, заглядывал и туда. Именно в Академкниге я приобрел по заказу драгоценное издание, первое на русском языке, «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. «Наука». Главная редакция восточной литературы. Перевод Т. Соколовой-Делюсиной. Всего не перечислить, что мне посчастливилось там добыть.

Возвращаясь с ночного дежурства, по пути домой, сойдя с трамвая, я заходил в магазин «Старой книги» на улице Зенитчиков. Радостные моменты. Сколькo чудесных находок! И это предвкушение встречи с неизвестными книгами, это возбуждение: что мне сегодня попадется, ждет ли удача, посчастливится ли найти что-нибудь интересное. Спешил к открытию магазина. У входа, как правило, уже стояло два-три человека, таких же энтузиастов-библиоманов. А если приходил поздно, к самому открытию, то и целая очередь. Помню все погоды, и солнечные летние утра, и осеннее ненастье, октябрьские, ноябрьские дожди, мокрый снег, декабрьскую стужу, февральскую оттепель, мартовскую свежесть, майскую зелень тополей. Нет, никогда я не был так счастлив, как с книгой и чтением.

Частенько бывал на черном книжном рынке; по субботам и воскресеньям. В то время частная торговля книгами в общественных местах была запрещена, разгоняла милиция. Потом легализовали, никто не преследовал. Книжный рынок кочевал с места на место. Был возле ДК им. Крупской и в самом ДК, был в клубе Водоканал у Таврического сада. Собирались и на окраинах, несколько раз в Ульянке, в поле за железной дорогой. Помню, чудесный летний день, далеко в поле чернеют кучи людей, спешу к ним, возбужденный, с томлением в сердце. Вот я уже близко. Книги разложены на траве, можно ходить, смотреть, спрашивать цену. Вижу, навстречу идет рослый парень в пиджачке, лицо багровое, опухшее, в высоко поднятой руке томик Пастернака, библиотека поэта, малая серия. Продает, недорого, за бугылку водки. Этот томик теперь у меня на даче, уже почти сорок лет, читанный, перечитанный. Там же я покупал и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, разрозненными томами, в переводе Любимова. Значительно позже попался том «В сторону Свана» в переводе Франковского, и я мог сравнить. Там удалось достать и Платона в четырех томах, издание «Академия наук», 1968 г., редакция Лосева и Асмуса, и двухтомник Леонардо да Винчи «Академия», 1935 г., редакция Дживелегова и Эфроса. Но больше всего книжных сокровищ я приобрел на книжном рынке в ДК им. Крупской, особенно изданий китайской и японской классической литературы. (Этими литературами я тогда увлекался). От метро Елизаровская шел пешком и уже по пути до самого входа в Дом культуры встречал разложенные прямо на земле книги. И мои глаза ничего, кроме них не видели. Только книги, книги, везде книги. Лиц тех, кто их продает, я не замечал. И в самом Доме Культуры, во всех помещениях, всех залах, и на

первом и на втором этаже, и во всех коридорах – несметные, необозримые лавы и обвалы книг, пестрая рябь обложек, толпы, толкучка, духота. Такая же картина была и в клубе «Водоканал». Походы туда запомнились тем, что они были в мае, я шел вдоль решетки Таврического сада с цветущими над ней кленами и сияющей синевой безоблачного неба. И меня всякий раз приветствовал знаменитый дом №35 на углу Таврической и Тверской, прославленная «башня» Вячеслава Иванова.

Не забывается еще один яркий майский день. Коля Русанов, замполит в нашем батальоне, такой же страстный книжник и мой друг (он учился на заочном на философском факультете в ЛГУ), пригласил меня на лекцию, что-то вроде политзанятия в здании около Михайловского замка. А после лекции будет книжная распродажа. Приманка, чтобы пришли слушать скущищу. Время перестройки, конец 80-х. Цветущие каштаны, солнце, расстреллиевский Петр на коне, блестят доспехи, императорская голова в лаврах. Лекция в маленьком зале на первом этаже, томительный час ненужной идеологии. Как только лектор закрыл рот, все толпой ринулись к столам, на которых были разложены для продажи новенькие труднодоступные в то время книги. Я успел ухватить том Андрея Платонова, в черной обложке с серебряными буквами, свежий, только что из печати. Радости моей не было предела. «Котлован», «Чевенгур». Какая могучая проза! Что там Тургенев, Чехов, Бунин, Горький, Шолохов. Рядом с Платоновым меркнут все писатели. Надо сказать, что для меня и сейчас так. В русской прозе мои вершины – Аввакум, Гоголь, Лермонтов («Герой нашего времени»), Достоевский и Платонов. У этих мощь. Хотя в русской прозе я люблю еще очень многое.

В октябре 1989 года мы с женой проводили отпуск в Анапе в Доме отдыха МВД. Там, в Анапе, в книжном магазине я увидел том Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец», в красной обложке с футуристическим рисунком. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1989. Наиболее полное собрание произведений Лившица, стихотворения, переводы и знаменитая мемуарная книга. К столетию со дня рождения. С иллюстрациями Чекрыгина, Гончаровой, Розановой, Малевича, Ларионова, Бурлюка, Татлина, Гуро, Филонова, Кульбина, Экстер, Митурича. Лившиц был расстрелян в 1939-м, и с тех пор его произведения не издавались. Купил сразу четыре экземпляра. Потом в Питере обменял на другие редкие книги. «Полутораглазый стрелец» – бесценный документ по истории футуризма, написано прекрасным стилем. Три раза перечитывал и все еще нет-нет и загляну в эту замечательную книгу. Загляну и опять вижу Анапу, солнечный южный октябрь, вкус спелой, сочной хурмы, только что купленной на рынке. День ветренный. Улица привела нас к обрыву над морем. Дорожка узенькая, камни, спускаться трудно. Жена осталась наверху. Я решил один. И вот, стою внизу у воды, зачарованный: море в блеске, простор, синева, чайки. Бенедикт Лившиц, «Гилея», братья Бурлюки, Хлебников, «На серебряной ложке протянутых глаз / Мне протянуто море и на нем буреизвестник... И к шумящему морю, вижу, птичья Русь / Меж ресниц пролетит неизвестных».

В те времена, когда книги были за барьерами прилавков и их нельзя было трогать, я часто заходил в Дом книги на Невском, знаменитый Дом Зингера. На первом этаже справа от входа – философия и история. Под стеклом на длинном прилавке и на стеллажах за спинами продавцов. На втором этаже – художественная литература. Как часто там стояла огромная очередь, закрученная по всему залу. Толпа, толчея, шум, спрашивают, что сегодня, какую невиданную и неслыханную редкость выставили. Хватит ли на всех. За многими новинками я стоял в очереди в той жаждущей толпе книголюбцев, томясь мучительной тревогой, возрастающей по мере приближения к прилавку: достанется ли мне. Продавец громко выкрикивает: «Осталось столько-то, зря не стойте». Самое обидное, если перед тобой закончится. Но зато какое счастье, когда ты окажешься последним, кто получил. Так мне достался двухтомник Плутарха «Параллельные жизнеописания». Продавщица объявила: «Товар закончился!» Надо же! Как раз на мне! Но вдруг спохватилась: «Нет, вот еще есть один бракованный. Берете?» Что за вопрос? Протомился три часа в толпе, раскаленной добела яростным ожиданием, готовой растерзать в клочья любого, кто попытался бы влезть со стороны, и теперь не взять! Верх абсурда! И вот я уже держу в руках сокровище, своего Плутарха. Пустяковое повреждение обложки у второго тома, ободрано в двух местах. Москва. Издательство «Правда» 1987. Цена каждого тома 2. 80 к. На черном рынке этот двухтомник продавался втридорога. Вот какие книжные времена были! Какая безумная любовь к книгам! Ненасытная библиомания.

Дом книги! Это знаменитое здание на Невском, построенное архитектором Павлом Сюзором, Дом компании Зингер, где продавались прославленные на весь мир швейные машинки, а в 1938 году отданное во владение Книге. С какой необоримой силой этот дом на Невском манил и притягивал меня к себе «и имя Зингер возносил» уже издаека, заставляя мои глаза смотреть только на него!

В девяностые годы в Доме книги продавалась и моя первая книжечка «Одна ночь». Недавно вышла в свет, тираж тысяча, за свой счет. Кто-то посоветовал обратиться к зав.отделу в этом зале. Я и подошел. Симпатичная женщина невысокого роста. «Вы хотите, чтобы ваша книжка полежала у нас на витрине?» – спросила она. «Да, хочу» – подтвердил я. «Приносите. 50 экземпляров. Для пробы». Неслыханное чудо! Чтобы книжонка никому неизвестного автора была принята на продажу в Дом книги и лежала на виду на витрине! Да разве такое возможно? И еще одно чудо – книжка моя полежала недолго. Все 50 экземпляров были разобраны за три дня. Милицейская тема интересовала. Но взять на продажу еще партию отказались. Той симпатичной доброжелательной женщины зав.отдела уже не было. Вместо нее была другая.

ЛИСТ БРУСНИЧНИКА

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
Русская народная песня

Там, на проспекте Обуховской обороны, в доме номер 16, мать моя жила до своего замужества.

С Балтийского вокзала на трамвае через весь город, по левому берегу Невы. Висел, как мираж, колоссальный железный мост и полз по нему длинным червяком товарный поезд. Фабричная труба безостановочно изрыгала вулканы чёрного дыма, застилая тускло-зимнее небо.

Дом деда жёлто-горчичный, на углу. Вход со двора, бетонный забор. Поднимались на третий этаж, квартира пять. Звонок пел комариком. Открывал дед Николай в солдатской гимнастёрке и сапогах.

За порогом целовались, шли по коридору в первую комнату налево.

Дед Николай работал стрелком военизированной охраны на ткацкой фабрике «Рабочий». Там же трудилась и молодая жена его, Мария Семёновна, мачеха, мотальщицей ниток. Труд изматывающий, в три смены. Помню её жалобы. Вздыхает, лёжа на кровати в углу за занавесью. Не отдохнуть перед ночной сменой.

Мария Семёновна восхищалась моим отцом. Весёлость его и щедрость, лёгкость характера и простота покорили её. Эх, отец! Только за порог ступит, как будто и воздух в помещении уже другой, скуки как не бывало, всё изменилось, всё заражено жизнерадостностью, всё лучится. Разве можно не любить моего отца. Мария Семёновна и любила. Хватало её любви и на мою долю. Ласкала, дарила рубли.

На ночь мои отец и мать укладывались на полу. Стелили толстый матрас, набитый шерстью. Мария Семёновна брала меня к себе на кровать, и я спал у неё под боком у стены, а дед Николай лежал с другого краю кровати. Гасят свет. Мрак не мрак, тени ходят, кружат, шелест и свист дыхания. Стена темна, высока. Не спится. Гром трамвайный внизу с проспекта. Дребезжит озарённое незадёрнутое окно.

По потолку пробегают, дрожа и звеня, огненные ночные вагоны.

Голос у Марии Семёновны тихий, говорит протяжно. Шли мы с Марией Семёновной гулять. Она, чтобы доставить мне городские удовольствия, катала меня на трамвае несколько остановок по проспекту, покупала мороженое эскимо. Волосы у Марии Семёновны тёмно-ореховые, гладкие, подстриженные скобкой и зачёсанные на темени под тяжёлым черепаховым гребнем.

Вот в той квартире на проспекте Обуховской обороны мои отец и мать и познакомились.

Отец ехал в отпуск из Белоруссии, где служил, в Карелию к родным. Ехал с товарищем-ленинградцем. Тот привёл переночевать.

Стол поставили в честь гостей, собралась вся коммунальная квартира. Сало, самогон. Отца моего посадили рядом с серьёзной сероглазой девушкой. Отец мой разговорился, так и так, жизнь холостая, нужна ему жена в Белоруссию, хата у него там пустует.

Мать моя подумала, подумала: какое у неё тут житьё. Хлебную карточку то ли потеряла, то ли украли. Мачеха Мария Семёновна неласковая, редко у неё для падчерицы тёплое слово, пододвигает ей за обеденным столом свой кусок, потихоньку подталкивая пальцами, чтобы глава семьи не заметил.

Решили: отец мой на обратном пути из Карелии сюда опять заглянет. Как решили, так и сделали. Через месяц явился мой отец и с порога бряк деду: «Ну что, Николай Васильевич, отдаёшь за меня дочь?»

«Мне ведь в приданое дочери дать нечего?» предупредил дед. «Она у меня в одном заплатадном платье ходит.»

«И хорошо, – отвечает мой отец. – У меня тоже – дырки на коленях. Вот женюсь – жена и зашьёт.»

Расписались в загсе, вернулись домой. Дед на кровати лежал.

«Вставай, Николай Васильевич, дочку твою пропивать будем!» – сказал мой отец.

Наутро молодожёны на поезд и – ту-ту, в Белоруссию, к месту отцовской службы.

На вокзале в Барановичах отец пошёл искать свою машину, сказав жене, чтобы посидела на чемодане, он скоро вернётся. Сидела мать моя на чемодане, ждала и думала: «Дура ты дура – выскочила замуж, не зная человека, заехала к чёрту на кулички. Вот он ушёл и – всё. Ищи-свищи ветра в поле.»

Вспоминается матери моей её родина, её деревенька Алексеевка в 40 километрах от Пскова. Там она родилась и выросла, и бегала босоногой девчонкой, где ни попало, не боясь порезать подошв. Быстро бегала, не догнать. Так улепётывала от быка-злодея, что пятки стучали по затылку. А кавалеры ухаживали за ней так: подкрадутся сзади и кинут за шиворот лягушку. Скользящая, холодная, по спине. Б-р-р, гадость!

Там, в Алексеевке этой появился на свет и дед мой Николай Васильевич Румянцев в тысяча восемьсот девяноста четвертом году. И он псковский. Призванный в царскую армию, был он определён сначала в кавалерию, раз деревенский и с лошадьми знаком. Посадили на коня и дали саблю. И был бы мой дед лихим конником, не случись с ним оплошности на ученьи. Командир эскадрона скомандовал: «Шашки наголо!» Дед мой выхватил клинок одновременно со всеми выстроенными в ряд всадниками, в дружном блеске стальных молний, но произвёл он этот кавалерийский манёвр не совсем ловко и с маху отсёк ухо своему товарищу в строю. На этом и кончилась его кавалерийская карьера. Ссадили моего деда с седла, злополучную саблю отняли, а взамен дали винтовку с трехгранным штыком и пихнули в пехоту.

Хлебнул мой дед лиха трёх войн. В первую мировую – ранение и плен. Бежал из немецкого плена и попал из огня в полямя. В обмотках, двадцати-

четырёхлетний, в красноармейской цепи. В атаку ходили втроем: дед в центре, по бокам – два латыша. Так они сговорились оберегать друг друга, чтобы уцелеть в рукопашной. Ощетинясь тремя штыками, катились ёжиком до Крыма.

В двадцатые годы выбрали моего деда в комитет бедноты. Потом назначили начальником ревизионной комиссии. Раскулачивание, спас не один двор. Несправедливо! Какие же они кулаки! Вспыльчивый, упрямый, горячий в споре, несгибаемый правдолюбец, дед мой доправедничал. Пришли за ним два милиционера и повели под дулами наганов в Красные Струги. Там допрос: откуда у него такая аристократическая фамилия? Кто он? Недорезанный граф Румянцев? Только тем и доказал дед своё крестьянское происхождение, что убедил поглядеть на него получше. Что в нём графского? Лицо пахаря. Псковский лапоть.

Женился дед мой. Нашёл жену в той же деревне. Анна Федоровна, моя родная бабушка. Рыжая коса до пят. Идёт от колодца, гнётся под коромыслом, ведра землю бороздят, расплескиваются.

Зажили своим хозяйством. Куры, свиньи, корова. Жеребёнка купили. Выкормили. Горяч, огонь, звёздочка на лбу. Кличку дали: Резвый. А ласковый, целоваться лезет, не конь, а сын родной. Радовались такому житью недолго. Коллективизация, деду-активисту первому в то ярмо. И коня Резвого, любимца, сам отвёл в колхозную конюшню. Резвый, порвав путы, прибегал ночью к их избе и жалобно ржал. Анна Фёдоровна, бабушка моя, выносила ему ржаной ломоть с солью и, рыдая, обнимала за шею, целовала в его звёздочку. Вскоре загубили Резвого на колхозной пахоте, не выпрягая из плуга от зари до зари.

Матери моей шесть лет. Сидят они вечером с бабкой Домной одни в доме. Бабка Домна, водрузив на нос очки в железной оправе, читает газету. Дед мой выписывал. Свет – фитиль в горшке с растопленным салом. – Антихристы! – разодрала надвое бабка Домна газету. Вышли они из дома и побрели по тёмной улице – искать родителей. Где-то в гостях, в компании развлекаются, в карты играют. А мрак – глаза выколи, поздняя осень, грязь, ни одно окно не горит.

Двенадцать лет моей матери. Сидит она на лавочке перед домом и плачет. Анна Фёдоровна тяжело заболела, с постели не встаёт. Рак печени. Так ей жаль свою маму, так жаль. Горький ком в горле, просит Анна Фёдоровна помочь ей приподняться, а волосы и не расчесать, рыжие волны, рука не слушается, падает на одеяло.

Анна Фёдоровна, бабушка моя, умерла в 32 года.

Идёт моя мать с корзинкой по ягоды, под ноги не глядит. Слышит: «Ш-ш-шу... Окаменела мать моя с поднятой ногой.

Узорный поясок, извиваясь, уполз в кусты. А как там лес шумит! Как там шумит летний густолистый зелёный лес!..

В тридцать восьмом году перебрался мой дед с пятнадцатилетней дочерью – в Ленинград. Устроился в охрану на ткацкой фабрике.

Жили в мужском бараче на сорок человек. Год мать моя, юная девушка, одевалась и раздевалась под простыней. Карты, драки. Свет не гасился круглые сутки. Смена уходила, приходила. Туда-сюда, хлоп дверь да хлоп.

Дали, наконец, деду жильё: комнату в трёхэтажном доме рядом с заводом имени Ленина. Жильцы ели за общим столом, единственным в квартире, сидя на чемоданах.

В июне 1941 года мать моя купальник себе для отпуска сшила. В деревню поедет, к речке. Собрали ткачих на дворе фабрики и объявили: война! До сих пор у неё те холодные мурашки по спине.

Фабрику эвакуировали. А дед мой с матерью моей по своей воле остались в Ленинграде.

Мать моя ходила работать на правый берег Невы, от дома далеко, пешком. Уголь разгружать. А блокада, голод. Вышла мать моя однажды утром, шла, шатаясь, часто останавливалась отдохнуть. Видит: лежит посреди дороги мужчина. Мертвец, ягодицы вырезаны.

На другой день мать моя на разгрузку угля не пошла. Упала бы на дороге, как тот... Оставалась дома и получала теперь вместо рабочей карточки иждивенческую: в день 125 грамм черного, пополам с соломой хлеба.

А деда моего призвали. Возраст его ещё не шёл на фронт, взяли его в тюремные надзиратели в Кресты – охранять уголовников.

Топить было нечем. Таскали доски со склада у завода имени Ленина. Схватят вдвоём с подружкой за один конец и волокут, надрываясь, тяжёлую, мёрзлую. Старик-сторож свистел, а догнать не мог от слабости.

Варили столярный клей. Ели, запивая кипятком.

Дед мой не приходил домой две недели, не отпускала тюремная работа. Мать моя осталась совсем без еды и, как она говорит – «дошла», едва душа в теле держалась. Двигалась «по стенке», «ползала» кое-как по комнате, не позволяя себе «валяться». Взглянет в зеркало: две ямы на неё оттуда смотрят. Засыпала с мыслью: «Ну всё – завтра не проснусь.» И – чудо: на другое утро опять размыкала веки.

Был у матери в горшке на подоконнике цветок брусничник. Загадала она: погибнет цветок – то и она умрёт. Останется хоть листик – выживет. Утром, только проснётся, смотрела на этот брусничник, и каждый раз засыхал и опадал ещё листок. День за днём. Вот только один остался на самой верхушке. Зелёный, маленький. Этот последний цепкий листок героически боролся со смертью, не падал, не засох и – победил смерть. Три дня мать моя уже не могла подняться с постели.

Дед увидел, тут же пошёл на толкучий рынок. Вернулся без кожаных гетр на ногах, выменял на кусочек жмыха. Этим жмыхом и спас дочь. Потом приносил дрожжевой суп из тюрьмы. Понемногу мать моя оправилась.

Госпиталю у Финляндского вокзала требовались медсёстры. Тот госпиталь при академии имени Кирова. Мать моя – туда. Собралось их в кабинете у главврача семь таких. А звали главврача Аркадий Аристархович. У полковника медицинской службы Аркадия Аристарховича цепкий зрак из-под хмурых бровей. Посмотрел на хлипкое пополнение в своём полку. Халаты как на скелетах болтаются.

«Какие же вы медсестры!» говорит. «Вас самих лечить надо!»

Отправили мать мою работать в 5-ю хирургическую палату, отделение нижних конечностей. Хлебную карточку теперь она получала служебную – 400 грамм. И госпиталь кормил три раза в день: суп, каша, компот. Порции в столовой взвешивали на весах, подкладывали новеньким побольше.

В палате были три Марии. Мария старшая – пожилая женщина, старая работница; просто Мария; и Мария маленькая – так прозвали мою мать.

Жили вшестером в комнате. Спать ложились подвое на одну кровать, тесно прижавшись друг к дружке, надев на себя всю одежду; поверх тоненьких байковых одеял матрасами накрывались и всё равно не согреться, дрожали до шести утра. В шесть бежали в столовую.

Там тёплый предбанничек. Взялись с ногами на кожаный диван и дремали, пока не откроют дверь столовой.

Матери моей удавалось доставать немного рыбьего жира, этим рыбьим жиром она поддерживала папу своего. Дед мой приходил к концу смены и просил вызвать Марию Румянцеву из пятой палаты.

Мать моя выносила ему в кармане халата стограммовую аптекарскую бутылочку.

Весной 1945 года госпиталь отправили на фронт. И мать моя в том госпитальном поезде слушала стук колес: бам-бам, что нас ждёт там.

Не доехали до Польши – война кончилась. У того польского городка, где остановился их госпиталь, только что перед тем шёл большой бой. Река текла мутная, красная. На берегу лежал незахороненный молодой красивый немецкий офицер, без сапог, босой.

Госпиталь поехал дальше, в Германию. Стоял в Штетцине. Тяжелораненый мирал и просил: «Мария, воды!» Туберкулезные из освобожденного концлагеря умерли все, один за другим. И тот весёлый грузин, который лежал в коридоре и, когда не харкал кровью, то шутил и предлагал ей руку и сердце, кавказские горы и огрызок обреченного легкого впридачу.

СТОЛИК В САДУ

В саду перед окнами столик, покрашен старой зеленой краской, две скамейки. Этот столик и скамейки сделал отчим. Густые кусты персидской сирени нависают над забором, заслоняют дорогу. Там слышатся шаги, голоса, изредка прошумит машина. Запах цветущей персидской сирени чуть-чуть дурманит. Розовые гвоздики усыпали траву и утопанную около столика землю, и сам столик. В этом потаенном месте в саду перед домом я проводил все лето. Частенько с сестрой, хотя предпочитал одиночество. Но мать заставляла брать сестру с собой в сад, чтобы мы были на виду с нашими детскими играми, а сама хлопотала в доме, приглядывая за нами в окна. Столик в саду в те времена был центром мира, и вокруг него крутилась вся жизнь. Но все это было очень давно, уж очень давно, когда мы с сестрой под него пешком ходили.

Сны Шумера

«Не надо ее окликать»
Марина Цветаева

*

Пишу я тебе эти клинышки-строки,
И кровью клянется открытая рана.
Всему на земле предначертаны сроки,
Так что ж я тебя окликаю, Инанна?

Сказать, что все также горюю-тоскую,
Думузи, свой долг отдающий Шумеру,
Что мне присудили тоску эту злую,
И срок отбываю – безмерную меру.

Тоска эта тысячелетьями гложет,
Взнесет в небеса и забросит в трясины,
Тоска эта стелет нам брачное ложе
На пепле крушений, на плахе вершины.

Прошел семь ворот я в стране без возврата,
Искал там колечко с двумя именами.
Меня называли Думузи когда-то...
Измучен, измучен я древними снами.

*

Ни рук, ни губ. Двуречья стон двойной:
«Умру, и ты об этом не узнаешь!»
Расстались мы, но, мучимый виной,
Я в том Уруке, черном от пожаращ;

В Уруке том, где черная река
Змеится без конца и без начала,
В том доме, где ни стен, ни потолка,
И где о Гильгамеше ты читала.

Евфрат и Тигр благословляли нас
В ту ночь бессонницей и пропастями,
Предупреждая: предначертан час;
И дух долин, скорбя, витал над нами.

Расстались мы. Не знаю, с кем ты, где.
Но я опять на месте нашей встречи,
Предчувствием томимый (быть беде),
Чтоб ждать свой час в печальном Междуречьи.

Тот час придет. К туманным берегам
Не долго плыть мне в приступе удушья,
Моля богов, чтобы к твоим дверям
Вернулась петь свирель моя пастушья.

*

Прости, прости. Я жертв не приносил,
Ягненка печень мне не нагадала,
Я просто на дороге пал без сил,
А жизнь и без меня начнет с начала.

Построят храм и справят в сорок лет
Священный брак Инанны и Думузи,
И пояса двойного амулет
Им сохранит супружеские узы.

Жрецы свои моления совершат,
Ячмень в кувшины черные отмерят
И белого барана умастят,
Чтоб серебро пополнилось в Шумере.

Все видит медный семиглазый гвоздь,
Не спрячешься в подвалах подземелья;
Кому жить в страшном мире привелось,
Тот смерти позавидует в Шумере.

Прости меня, я только верю снам,
Проклятиям и заклинаньям верю,
И чей-то плач я слышу по ночам,
Стенанья плакальщиц твоих в Шумере.

*

«Не приручай – потом я буду плакать!»
И будут плакать Ур, Лагаш, Ниппур,
Сиянье дня, тот май, тот сад, та мякоть
И пояса магический тот шнур;

Тех черных птиц слепые хороводы,
Нибиру, загаенная страна,
Там жили-были в счастье долги годы
Какой-то он, какая-то она;

И стерегли страну Нибиру боги,
Энлиль и Энки, и старейший Ан,
И птица Му, хранящая пороги,
И сущность МЕ – мать мировых семян.

О чем я? Неразборчивы таблицы,
Мне не прочесть письмо истлевших рук,
И страшный твой Шумер мне только снится,
Твой глиняный, безоконный Урук.

Потерян рай. Любовь мира не движет.
Тебя ждет Север ужаса и льда;
И никогда тебя я не увижу,
Тебя я не увижу никогда!

*

Забудем всё, на стол просыплем соль,
Не будем знать, что нам вещают знаки;
Уйдет в загробный мир и эта боль,
Пусть судят судьи мертвых, Ануннаки.

В чей дом приходят счастье и беда,
Всегдашних двое – близнецы Шумера?
В чью комнату всю ночь глядит звезда,
Иштар, Инанна, или та – Венера?

Опять она не позволяет спать
И плавит сердце нежное из воска,
И за окном томительно опять
Трепещет в мае чахлая березка.

Забудем всё, забудем все слова,
Развяжет узник свой последний узел...
Но длится этой ночи синева,
Как древнее преданье о Думузи.

Бессонный отсвет неприкрытых спин,
Как раковин морских во мгле свеченье;
И братья-близнецы Нергал и Син
Разделят с нами муку разлученья.

*

Предрешены начала и концы.
Уедешь ты, и ниточка порвется.
Календари изобретут жрецы,
Построятся каналы и колодцы.

Уедешь ты. Исполнится указ:
Преступника задушат в подземелье;
На шестьдесят поделят смертный час,
Нанижут черный жемчуг ожерелья.

Я сам на этот день назначил суд –
Судить себя на море и на суше.
Дороже всех из прожитых минут –
Та ниточка, что связывала души.

Аукнется мне полногласный звук
Твоей души, и брошусь я навстречу...
Но – поздно. Слишком поздно я отвечу...
Оттрепетал тот трепет уст и рук.

*

Я возвращаю зрение и слух;
В час разоренья и разлада
Я только околдованный пастух,
Усталое пасущий стадо.

Из года в год двенадцать гнать коров
На брак Инанны и Думузи
И тяжестью магических даров
Затягивать все туже узел.

Прольет ягненка жертвенную кровь
Твой царь, твой первенец, твой Овен,
А вслед за ним Тельца-убийцы рев
Обрушит ужас новой крови.

Как прежде близнецы Нергал и Син
В тоске и скорби пребывают;
И Рак, и Лев, и Дева, и Весы;
И Скорпион Стрельца сражает.

И твой длинноволосый Водолей,
Он, Великан твой бородатый
Опять низвергнет бурей февралей
Потоки Тигра и Евфрата.

И Рыбы, завершая этот круг,
Уйдут опять в свои глубины.
Тогда и я, большой знаток разлук,
Тебя и твой порог покину.

*

Зачем мне снятся эти встречи
И обручи со смуглых рук?..
Отвергнута царем овечьим,
Ты едешь в отчий свой Урук.

В Уруке том Энхедуанна
Слагает гимн твоей тоске,
Надменногубая Инанна,
Семь МЕ держащая в руке.

Тяжел для дочери Саргона
Верховной жрицы жесткий сан.
Я сам на краешке перрона...
Но знаешь, все это туман...

Не разгадать, о чем Шумер твой
Из тьмы столетий пишет нам, –
Какой платить придется жертвой,
Каким в угоду пропастьям?

Какой невымерший обычай,
Привыкший в снах повелевать,
По следу письменности птичьей
Придет нас мучить и терзать?

О чем тужить тебе, Нисаба,
Богиня древнего письма, –
Твоих заклятий не сняла бы
С тех криптограмм и смерть сама!

*

Не разгадать нам эту речь,
За море улетела птица.
Язык твой мертв – не петь, не жечь,
Не Феникс ты, не возродиться.

Другие языки придут
Слагать и петь другие гимны.
Лишь ты грозишь мечом нагим мне,
Львиноголовая Анзуд!

Свой меч пошлешь ты в Междуречье –
Карать надменный небоскреб,
И вавилонские наречья
Смешает праведный потоп!

Но после катастрофы всякой
На новом творческом витке
Опять загадочные знаки
Бог Энки чертит на песке.

*

Писец закончил свой рассказ
Глаголом глиняной таблички –
Нашествие жестоких глаз,
Кровавых распрей переклички.

Начертан шестисотый знак –
Клин журавлиных заклинаний.
Киш, Ур, Лагаш и Шуруппак
Разрушены до оснований.

Там гимны петь, там слезы лить;
Храня сказанье о Саргоне,
В корзине по Евфрату плыть,
Чтобы потом воссесть на троне.

В оковах медных проведен
Через врата Энлиля пленник...
Зачем мне этот страшный сон?
Не твой, не твой я соплеменник!

Зачем мне в окруженьи звезд
Священный бык твоих печатей,
Твоих могучих стад прирост,
Твой зверский царь-завоеватель?

Скользнуть бы сорванным листом
С последней призрачной ступени,
Не сожалея ни о чем
И не желая возрождений.

*

Ты свергнут с лазуритов лестниц,
Низринут в выгребную яму,
Ты видишь пленников и пленниц,
Влекомых на убой к Эламу.

Ты, населивший землю нашу
Потомством сильных поколений,
Теперь поешь «Плач по Лагашу»
В часы резни и разорений.

Ты, прародитель мощи стада,
Теперь бредешь, яму покорный,
Вымаливать позор пощады
У полководца силы черной.

И скоро жрец бритоголовый
Нам возвестит другую эру,
Но ты меня отыщешь снова,
Плач по умершему Шумеру!

*

Кирпич Экура всё поет
Свой гимн стенания и плача;
В Ниппуре жрица слезы льет,
От вечной горечи незряча:

«О мой разрушенный Ниппур!
Уже не быть в тебе венчаньям...»
У этих призрачных фигур
Конца не будет причитаньям.

Не истощится этот хор,
Грозящий Севером и Югом,
Непримирим земельный спор
Серпа с косой, мотыги с плугом.

Гордыне финиковых пальм
Не сговориться с тамариском;
И горе ходит по пятам,
Грозя неисчислимым списком.

Оно преследует меня
Без передышки днем и ночью,
Чтоб этот перечень построчно
Твердил мне чьи-то имена.

*

Где эти глиняные люди
С глазами ужаса и мрака,
На алтарях и на посуде
Двенадцать знаков Зодиака?

У стен священного Ниппура
Я вас не вижу, дети Ана,
И нам не класть кирпич Экура
Для дома твоего, Инанна!

Ни тростника, ни тамариска,
Ни фиников не нужно гробу.
На глине царская расписка
Вернет нас к матерям в утробу.

И мы опять начнем сначала,
Чтоб голос неба слышать лучше,
Пока не сменит мир Меняла;
Ведь мудрых украшают уши.

И в новом календарном круге
Грядет рогатая тиара
Пасти нас на свирепом Юге,
Где всякой твари блеет пара.

*

Расцветшая трава пряденья,
Прельщенье ниточки льняной,
Змеиножалое томление:
«Кто ляжет в эту ночь со мной?»

Думузи с головой барана,
Пришла, пришла твоя пора!
Избрала светлая Инанна
Тебя для нашего добра!

Пребудет в доме изобилье
И стадо принесет приплод;
А мы велением Энлиля
Оплачем скорбный твой уход.

Храня святыней в нашем храме
Спряденную поверьем нить,
Мы станем щедрыми дарами
Твой замогильный сон кормить.

Но страстной воли исполнитель,
Ты не навеки будешь там,
В могильной тьме по этой нити
Опять найдешь дорогу к нам.

*

Опутан цепкими сетями
И брошен в жертвенный колодец,
Еще я слышу за дверями
Земли – твой плач при всем народе.

С тобой рыдает безутешно
Печаль всех плакальщиц на свете –
О том, что из страны нездешней
Уж не вернуться руки эти.

Тебя так крепко обнимали
Мои пастушеские руки,
Что и у злой Эрешкигали
Возьмут нас судьбы на поруки.

Под землю незачем спускаться
Тебе, рыдальщица, за мною;
Что умирать, что расставаться, –
Ведь дело, говорят, простое.

Уберегут ли амулеты
Нас от последней этой сцены,
Ведь мы заложники обета,
И на земле нам нет замены.

*

Днем и ночью твержу все то же,
Знаки древние окликаю,
Всей трясучкой дремучей дрожи,
Всем отчаяньем заклинаю;

Разделеньем Земли и Неба,
Разлученьем птенца и птицы, –
Пусть и быль отойдет, и небыль –
И не снится! О пусть не снится!

Пусть нога твоя не ступает
На священную эту пристань!
Пусть потоки не допускают
К омовениям своим чистым!

Заговорное это слово
На тебя пусть ляжет печатью,
Тайных сил наложит оковы!..
Но – бессильны мои заклятья!

*

Возвратились мы на свое место,
И простили нам долги наши,
И опять идет под венец невеста,
И опять на пиру загремят чаши.

Узник выпущен на свободу,
Целость тела опять обрели калеки,
Обратились к исходному дню всходы,
И к истокам своим вернулись реки.

Все к своим матерям вернулись,
Чтобы заново им родиться.
Что же мы с тобой оглянулись,
Уходя, не желая здесь повториться?

За ночную тьмой придет утро,
За молчанием придут речи,
Только мы с тобой не из тех мудрых,
У кого за разлукой идет встреча.

Может быть, опять мы неправы,
Надо нашим жрецам и царям верить,
Надо ждать: зазеленеют травы,
И возвращеньем домой свой путь мерить.

*

В храме Эанна не молкнут моления,
Гимны поют и знаменья ждут.
Но ведь обманут опять исчисленья;
Мы в Доме Неба – непрочный сосуд.

Не уберечься. Посмотрим налево –
Кинется в грудь окровавленный клин;
Стадо падет, обезрыбеет невод,
Рухнут устои растресканных глин.

Правит на Юге ужасная Дева.
Не убежать. Нас не жалует век.
Но есть Кишкану, заветное древо,
Мудро растущее в устье двух рек.

Там, говорят, для святилищ и храмов
Чище воды ты нигде не найдешь.
Надо идти туда прямо, всё прямо
Тем, кому жизнь все равно ни во грош.

И говорят еще, страшную силу
Приобретает там чудище-бык,
Да и такому, что смотрит в могилу,
Милость есть: омолодится старик.

Там же и славного Утнапиштива
Праведный суд уподобил богам...
Все эти прелести недостижимы
И предназначены вовсе не нам.

Это не наша аскеза и сфера,
Мы ведь кубы и квадраты кладем.
Как ни посмотришь, а ужас Шумера
Подстерегает за каждым углом.

*

Где они, эти рогатые боги,
Родона начальники жаркой страны?
Не охраняют уж наши пороги,
Жертвы и почести им не нужны.

Это они нас всему научили:
Сеять и пряхать, и считать, и писать,
И по Евфрату на лодке уплыли,
Пообещав возвратиться опять.

Только прощальные их отголоски
Все еще слышатся издалека,
Нам оставляя путь темный и скользкий,
Шорох тревожный и дрожь тростника.

Мало надежды на то возвращенье,
Боги уходят своим чередом,
Но как и прежде чудес воскрешенья
Мы от ячменного зернышка ждем.

*

Я только писец, понемногу кропаю;
А в призрачной школе занятия идут,
То ходят по кругу, то ходят по краю
И что-то бормочут и воду толкут.

Похоже, мы старых имен не меняли
И учим обряды жестоких богинь,
И грабли все те же, и те же скрижали,
И шорох песков и разошедшихся глин.

И нас заставляет какая-то сила
Мучительно верить в гаданья и сны,
И в то, что, уж если судьба разлучила,
Ждать нечего вести с чужой стороны.

Так что ж я опять эту боль призываю,
Дрожу и по краешку бездны скольжу,
Как будто очерченный круг повторяю
И все еще старой привычке служу?

*

Нет, я все это не брошу, не брошу!
Раз суждено, так уж надо нести;
Я не прошу, чтобы личную ношу
Сняли с меня на моем же пути.

Не изменяются буквы закона,
Не пошатнется наскучивший свод;
Шест твой как прежде стоит у загона
И освященья овечьего ждет.

Я твой не слишком прилежный служитель
Список богов не прочел до конца;
Где-то в Лагаше Нингирсу воитель
Что-то свершил, почитая тельца;

И непонятный Нинурта в Ниппуре
Тоже герой. Только что мне до них.
Мне бы и в этой поношенной шкуре
Догоревать об утратах своих.

Смерть Гильгамеша

Гильгамеш и Энкиду ушли на рассвете,
А куда – никому не сказали в Уруке,
Воевать ли со злом, добывать ли бессмертье –
Никому неизвестно. Лишь слухи, лишь слухи.

Не расскажет поверженный мертвый Хувава,
И молчат вековые могучие кедры.
Что все царства земные и царская слава,
Если мерят все те же могильные метры!

Говорят, Гильгамеш на судьбу ополчился:
Что ему умереть по закону природы,
Что здесь правят часы и жестокие числа,
И текут, и текут равнодушные воды.

Говорят, говорят. Верить или не верить.
Гильгамеш и Энкиду, два друга, два брата...
Но – закрылись за ними подземные двери,
Не вернуться уж им из страны без возврата.

*

Я все твержу твое святое имя
И встречи жду с тревогой и тоской,
Хоть знаю я, что мы уже другими,
Не прежними увидимся с тобой.

Когда-нибудь опять сведет нас случай,
Ведь тесен мир, и сходятся пути;
Как ни бичуй себя, как ни терзай, ни мучай,
А все нам эту клинопись плести.

Быть может, в этом мире превращений
Теперь мы призрак, стертая медаль,
И нас уже вели в зал умерщвлений
К владычице теней Эрешкигаль.

И все-таки пусть будет эта встреча.
Все пять тысячелетий я молю, –
Чтоб на табличке мертвого наречья
Ты вновь читала древнее «люблю».

Примечания

Инанна – в древнем Шумере богиня любовной страсти и войны, покровительница шумерского города Урук.

Думузи – бог весны, плодоносной силы, плодородия и изобилия; бог пастух, изображался с головой барана. Жертвенный бог, каждое лето в канун летнего солнцестояния, оплакиваемый женщинами, уходил в подземный мир. В Шумере весной праздновали священный брак Инанны и Думузи. Об Инанне и Думузи созданы мифы и любовные песнопения.

«Страна без возврата» – так в Шумере называли подземный мир мертвых. Чтобы в него попасть, необходимо пройти семь подземных ворот.

Двуречье – область Месопотамии между Евфратом и Тигром, Междуречье.

Урук, Ур, Лагаш, Ниппур, Шуруппак, Киш – шумерские города.

Гильгамеш – легендарный царь-герой Шумера. О нем сложены гимно-эпические песни и мифы. Главный герой шумерского эпоса.

Магический пояс – шумеры всю жизнь носили на талии, не снимая, надетый на голое тело магический двойной шнурок, оберегавший жизнь и здоровье.

Нибиру – загадочная планета, упоминаемая в шумерских и вавилонских текстах.

Энлиль – Бог повелитель воздуха и ветра, покровитель царской власти, древних праздников и жертвоприношений.

Энки – бог повелитель подземных вод, создатель человечества, бог мудрости, покровитель шумерских школ и ремесла писцов.

Ан – старейшина богов, властитель звезд, первый создатель мира.

Птица Му – таинственная птица, упоминается в одном из шумерских текстов.

МЕ – священные сущности вещей.

Безоконный Урук – у шумерских домов не было окон.

Ануннаки – судьи мертвых в загробном мире.

Иштар – богиня любви в Вавилоне.

Нергал и Син – божественные братья-близнецы, разлученные по велению совета богов. Нергал правит в подземном мире, Син – на небе.

Шестьдесят – деление часа и минуты на шестьдесят впервые было принято в древнем Шумере.

Энхедуанна – верховная жрица в главном храме Урука, дочь шумерского царя Саргона, слагательница священных гимнов.

«Птичья письменность» – клинопись шумеров похожа на следы птичьих лап.

Нисаба – богиня письма у шумеров.

Анзуд – птица с львиной головой, львиноголовый орел, определяет судьбы богов и людей.

Саргон – царь Аккада и Шумера. В мифе о Саргоне говорится о том, что его мать жрица положила новорожденного младенца Саргона в корзину и пустила плыть по Евфрату.

«В оковах медных проведен» – пленников, захваченных на войне, проводили в медных оковах через «Ворота Энлиля» в священном центре Шумера городе Ниппуре.

«Священный бык твоих печатей» – на печатях богини Инанны был изображен священный бык в окружении звезд.

Лазурит – полудрагоценный камень, которым шумеры украшали свои храмы.

Элам – государство в Месопатамии, враждебное Шумеру, с которым Шумер постоянно воевал.

«Плач по Лагашу» – шумерский текст о разорении города Лагаш.

«Дети Ана» – так называли себя шумеры.

«Кирпич Экура» – так у шумеров называли главный храм в городе Ниппур. Символизировал закладку первого кирпичика в фундамент строящегося дома.

Тростник, тамариск, финиковая пальма – у шумеров были священны.

«На глине царская расписка / Вернет нас к матерям в утробу» – в начале Нового года царь издавал указ об освобождении жителей страны от всех долгов и освобождении узников из тюрем, что означало начать новую жизнь с нуля, с чистого листа. Называлось – «возвращение к матерям», то есть в утробу матери для нового рождения. Новый год в древнем Шумере начинался 23 июля.

«Ведь мудрых украшают уши» – в Шумере «ум» и «уши» обозначались одним и тем же словом.

«Рогатая тиара» – символ могущества. Шумерские боги изображались с рогатой тиарой на голове.

«Расцветшая трава пряденья» – так в Шумере называли юную девушку, достигшую брачного возраста. «Трава пряденья» – лен.

«Спряденная поверьем нить» – в святая святых шумерских храмов помещалась спряденная льняная нить.

«Твой замогильный сон кормить» – в Шумере было принято приносить жертвоприношения умершим. Называлось – «кормление предков».

Эрешкигаль – владычица мира мертвых.

Храм Эанна – храм в городе Уруке, «Дом Неба».

Кишкану – некое заветное дерево, произрастающее в устье двух рек.

Утнапиштим – праведник, уподобленный богам.

«Шест твой как прежде стоит у загона» – шест, стоящий у овечьего загона, символизировал обряд священного брака между Инанной и Думузи.

Нингирсу – бог-воин, покровитель шумерского города Лагаш.

Нинурта – бог покровитель шумерского города Ниппур.

Гильгамеш и Энкиду – миф о царе-герое Гильгамеше. Во всех походах Гильгамеша сопровождал его верный, самоотверженный друг Энкиду.

Хувава – хранитель священного кедрового леса и «семи лучей сияния», которые дают вечную жизнь.

Существует ли поэзия?

Споры о поэзии – что может быть нелепей! Да и любые разговоры о ней. Стихотворение – насест для Сфинкса. «А если что и остается / Чрез звуки лиры иль трубы...». И что же остается?.. Сфинкс, хранитель тайн и загадок. Как отличить поэзию от непоэзии? Критерий нужен. Без критерия никак. Нюх, слух: музыка сфер или кошки скребут. Да ничего подобного! Чепуха и чушь! Нет никакого критерия, нюха-слуха. Полная путаница и неразбериха в этих критериях и оценках. Кто в лес, кто по дрова. Лебедь, рак и щука. Нет, стой! Ну, как же! Вот читаю стихотворение – и оно меня ударяет! В самое сердце! Пронзило! Плачу и рыдаю. А читаю другое – и ничего. Пусто. Мыльный пузырь. Вот так критерий! Тебя ударяет, душит и в слезах топит, а меня и не пошевелит. То, что тебе пусто, мне – густо. Тебе мыльный пузырь, а мне – Монплеизир. Ну, тогда критерий – форма. Это уж точный критерий. Есть форма или формы нет. Никто ведь не ошибется, всем ясно, как статуя: тут чеканно, «Глагол времен, металла звон», а тут – слизь и слякоть, мокрицы и тусклые строчилы. Держи форму – и глагол твой благополучно достигнет всех концов вселенной. Да что ты говоришь! Какой умный! Аристотель да и только! Форма-норма просит корма! Вот критерий нашел! Скользкий он, как угорь, твой критерий. Попробуй-ка им померяй! Слышим звон со всех сторон, а громче всех от консервных банок он. Понятие формы, знаешь, какое-то оно формальное, а, может, неформальное, какое-то оно, знаешь, бесформенное. Тебе форма, а мне и не ночевало, мазня, хаос, сумбур вместо музыки. Расплодилось рыхлых, любителей пустить слюни в кисель. Ладно. Тогда такой аргумент: если у поэзии и математики есть что-то общее, то ведь критерием должно быть, как и в математике – открытие, новая идея. Если в математике сделано открытие, то оно обязательно будет востребовано и признано, хоть через сто лет, хоть через триста, когда-нибудь в веках. Решительно отметаю я твой аргумент. Во-первых, у поэзии и математики нет ничего общего. Ничего-то, ничегошеньки. Также, между прочим, как и у поэзии и всей какой ни на есть науки. Да и между философией и поэзией – ничего родного, ничего близко лежащего. Каждый делает свое дело. Математика вычисляет. Наука исследует. Философия размышляет. А поэзия что делает? Не вычисляет, не исследует, не размышляет. Поэзия поет и на гуслях играет с сестрой музыкой в союзе. А если и размышляет, так, «растекается мыслию по древу, летая умом под облака, мыслию поля меря». Да и дурит частенько, куролесит и завирается, трубит в златокованные трубы. «Кому Боголюбово, а мне горе лютое». Открытие в поэзии – это окно-сердце, распахнутое в единый и неделимый мир, прекрасный и яростный. Окно – во всю ширь, а в него влетает «Неведомый шедевр» с неразборчивым автографом из древнего Шумера. Вот новость! Признавай, не признавай. Поэзия говорит (поет, конечно, поет!) на языке дорассветном, когда еще заря первого Дня Творенья не зажглась, когда еще небо от земли не отделилось, и верхняя вода от нижней, и все было вместе, едино и неделимо. Поэзию не

вычислишь, не лезет она в твою дробилку алгоритмов и логарифмов. Зря, зря математика старается, зря мечтает золотую рыбку за жабры взять. Ускользнет чудо-рыбка из сетей чисел. Ну, распелся лирик-гуслиар, расщелкался, соловей дорассветный! Черт с тобой! Пусть по твоему! Поэзия единая и неделимая! Но есть же обычный здравый смысл. Природная интуиция, в конце концов. Кто же спутает Пушкина с графом Хвостовым?.. Здравый смысл? Интуиция? Не танцуется и этот твой аргумент. Спутали же обериуты Пушкина с Хвостовым, засветив в небе гармонической точности такую яркую звезду бессмыслицы и чуши.

Все, все вы, вот такие эксперты-профессионалы в ткацких цехах поэзии. Все вы хвалитесь, что безошибочно, наощупь можете определить качество стиховой материи. Только что там определять? От этих монотонно завывающих стихоизделий, тянущихся серой лентой конвейера в скучную бесконечность, слишком пахнет потом профессии. Поэты-профессионалы стали слишком мастера в своем цеху. Мастера с задранными, как у носорогов носами из кошмара Ионеску. Но у поэзии есть и другие создания, возникающие за стенами заводов и фабрик по производству стихов. О таких созданиях сказано древним китайским мудрецом, что великое совершенство кажется несовершенным, и великий мастер подобен дилетанту. Да что говорить: вот такие эксперты называли дилетантом Тютчева. Его-то, великого мастера, соединившего мощь с тончайшим, филигранным мастерством. «Здесь духа мощного господство, / Здесь утонченной жизни цвет». И сам Тютчев называл себя дилетантом в поэзии. Ну, раз уж сам он называл, то кто мы...

Поэзия, всегда неучтенная, перелетная птица нас покидает, отправляясь зимовать на неведомый благословенный юг, в дальние края, и ей не нужны ни эксперты, ни одежды. Ну, тогда и мы, давай, вернемся с ней туда же, в ту заповедную, прекрасную страну, в начало времен, к Великому корню. Был же когда-то общий настрой, один на всех, единый и неделимый, как ты говоришь, вот он и был тот самый ключ тайн, искомый критерий, он и указывал вещим перстом – что перл, а что хлам.

Нет, не вернуться. Домой возврата нет. Я же сказал: путаница и неразбериха теперь, везде и всюду. Вавилонское смешение. Разброд, глобальный разброд. Кто в лес, кто по дрова.

– Да что же за сволочная штукавина такая, эта поэзия! – возмущается, растерзанный собственными загадками, доведенный до отчаянья, сверженный со своего насеста древний Сфинкс, – ни один критерий к ней не подходит, а она существует – и ни в зуб ногой!

О стихах и рисунках Олега Григорьева

Олег Григорьев из тех, кого Верлен называл «проклятые поэты». А мы и до Верлена давно уже знали, что это такое – быть проклятым, да еще поэтом. До Вийона и Лотреамона. У нас на Руси такая судьба чертится по-русски, с нашими русскими зигзагами и завихрениями. И называется по-русски – лихая доля. Горе-злосчастье молодца сгубило. Ходят они не по кругу, как все, не по затверженным кольцам годов, они по краю ходят. По краешку жизни-смерти, над пропастями. Вот и пропадают рано. Пропащие и проклятые. Кольцов, Полежаев. И другой Григорьев – Аполлон! С цыганской гитарой! Не будем перечислять всех имен, получится нескончаемый список, времени не хватит и бумаги.

Наш современник, Олег Григорьев, поэт и рисовальщик, с чистым голосом стиха и грифелем карандаша прошел по Петербургу и по эпохе, оставив нам брошенные невзначай листки графики и четверостиший.

Я спросил электрика Петрова: –
 Для чего ты намотал на шею провод?
 Петров мне ничего не отвечает,
 Висит и только ботами качает.

А вот еще четыре строки с листка выпорхнули и пошли гулять по устам всей России:

Застрел я в стаде свиней,
 Залез на одну, сижу.
 Да так вот теперь я с ней
 И хрюкаю, и визжу.

Эти стихи находят отклик у всех пропащих и проклятых. Призраки Хармса и Олейникова отзываются на них из промозглого петербургского тумана. Весело они подсвистывают и подвизгивают этим вскрикам русской души. А Олег Григорьев берет бумагу и перо и рисует на новом листке, нет, не уют, гремящий в ведре. Рисует он апокалиписис в четырех строках:

Бомба упала и город упал,
 Над городом гриб подымается.
 Бежит ребенок, спотыкаясь о черепа,
 Которые ему улыбаются.

Это бежит мимо нашего обреченного, успешно опустошаемого мира сам Олег Григорьев, поэт-ребенок. Улыбаются ему черепа отцов, все еще не воскресенных Николаем Федоровым, самым русским из русских философов. Бежит он по краешку земли, над бездонной пропастью, и земля опять расцветает под его ногами, мир оживает.

Маргарита Токажевская
СТИХИ и ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мария Амфилохиева
МАРШРУТКА
(социальные стихи)



Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева

МАРГАРИТА ТОКАЖЕВСКАЯ**СТИХИ и ВПЕЧАТЛЕНИЯ****Твой снег**

Только не снег, давай не о снеге, о чём-то
Другом, вот вчера на реке я увидела чомгу,
Она удивительно так ныряет надолго.
Ты опять о снеге, ну за что он тебе так бесценно дорог.

Нигде ни снежинки, уже весна наступила,
Все замерзающие в кладовки упрятали пилы,
А ты про снег, про его колючее войско,
Давай о слезах, даже если слезинки из воска.

Прикапанные к лицам потерянных временем кукол, –
Для кукол у времени всегда отыщется угол, –
Слезинки прозрачны... Но ты не о куклах, о снеге.
Твой снег, он, конечно, в твоём несогрвшемся небе.

В твоём несогрвшемся небе снежинки не тают,
Под белыми сугробами тепло только твоим тайнам...
Но знаешь, вот вчера на реке я увидела чомгу,
И я точно знаю, что это стихотворение прочёл ты...

4 мая 2018

Всё чаще хочется тишины,
А ночь болтлива длинным дождём,
И птицы, хоть они не видны,
Им бы разболтать о тех, кого ждём.

Они щебечут немолчно, но слышать кому,
Только я не сплю, а я и сама болтлива,
Все давно знают, что у меня на кону,
А ночной дождь уже превратился в ливень.

Но хочется, хочется тишины,
Дождь устанет, птицы утихнут,
Муж сбежит от сварливой жены
В Северскую или Тихвин,

И настанет для него тишина,
А я пойду туда, где тишина невозможна,
А, может, это и есть она,
Тишина – когда без неё сложно...

4 мая 2018, ночь

Удел

В глазах, утомлённых и строгих,
Упрямо живёт искромётность –
Оружие всех одиноких,
Печальная вечная модность.

Удел этих глаз – созерцанье,
Молчание, потусторонность,
Сбирание звёздных мерцаний...
Им явлена скромность и стройность

Узоров самой Мнемозины...
Они никому не расскажут,
Как нравиться летним и зимним
Рассеянными сплетням бумажным...

И, сами того не желая,
Они и зовут, и пугают,
Такая в них правда живая,
Такие в них тайны играют...

4 мая 2018

Одна из тайных религий –
Преданность воспоминаньям,
Тайный скрипторий –
Письма, те, что хранятся вечно,
Даже если сгорают.
И никогда не поздно
Переписать на память
Строчки иных столетий,
Что сквозь тьму проступают,
Тебя тебе открывая.

Мне самой наскучила эта драма,
Дорогая главная героиня,
Сколько раз с тобою я умирала,
Сколько сколов заново огранила
На краях хрустальной опасной сцены.
И пока назревшие перемены
На ветвях предчувствий не перезрели,
Дай свободу небу – объекту зренья.
И, как в давней песенке: полетели
К новой теме...

Ольге Игнатъевой

Эти нервные отсылки
Лишь к себе, к своим потерям.
Дайте бабкиной присыпки,
Дайте сна с бегущим зверем.
Он вот- вот на землю свалит,
Взвизгнет, испугавшись взгляда
Твоего, на землю свалит,
А потом приляжет рядом.
Отогрейтесь. Укроет
Снег бессмертным одеялом.
Жизнь была простой игрою,
Станет жизнь благодеемьем –
Ты и зверь – друзья навеки,
Зверочеловеки...

2 июля 2018

Прадеду Яну

Перекликаются звёзды:
Передай по цепочке,
Сколько подарков привёз ты
Сыну и дочке.

Гроздь стихов-прибауток
В сумке колчанной таятся,
Хватит ли времени суток
Выслушать байки паяца.

Дочка и сын веселятся,
Звёздочки в небе считают,
Звуки таинственных раций
В небе полуночном тают.

И, вдохновеньем играя,
Словно золотыми ключами
От заповедного рая,
Ты сберегаешь молчанье.

Чтобы, когда, подрастая,
Дочка и сын погрустнеют,
Звёздочек звонкая стая
Польку сплясала на небе...

О топоре

Так что же, собственно, я знаю о топоре? Начнём с начала. Не все знакомятся с этим предметом ПРЕЖДЕ, чем увидят его изображение в какой-то из детских книжек, чаще всего сказочного или стихотворно-шутливого характера. Это может быть и топор, из которого солдат варил кашу (почему именно из топора, а не из молотка, например или чего ещё, мало ли орудий в крестьянском хозяйстве) или секира, которую всегда можно увидеть в руках слуг, сторожащих хрустальный дворец, в котором белка под пение песенок лущила золотые орехи. Совершенно уверена, что познакомилась с топором в докнижном периоде своего младенчества, возможно, в первые месяцы жизни этот предмет уже попался мне на глаза не просто лежащим, а активно работающим. Им рубили дрова, которые лет с трёх я уже носила со двора в сарай (в местности моего детства дрова на улицах не хранят, там и дома то с крышами заносит снегом, не то что поленицы. Рубили им головы курицы или иной домашней птицы перед приходом гостей или если кто заболел, это если летом. А по первым морозам рубили уже почти всю птицу, кур, уток, гусей, оставляя немного «на развод». Птицу морозили в подвешенном состоянии на чердаках и в кладовках. Зимой мясо ели каждый день и в супе, и в котлетно-пельменном варианте. Топором же вырубалась прорубь в глубоко-замерзающей степной реке с древним названием Терсаккан, что по словам стариков-казахов означает «не туда течёт». Так как прорубь за ночь замерзала заново, то мама, идя за водой на реку, топор так же брала с собой, засовывая за опоясывающий телогрейку солдатский ремень. То есть, совершенно естественно топор воспринимался и как орудие мирного труда, и как орудие убийства домашних птиц. Никакой внутренней трагедии от наблюдения второй роли топора у меня в детстве не возникало, чего не скажешь о моём отце. Только потому и могла я догадаться о нежности его души, что никогда он птиц не рубил, а когда резак приходили по душу свиньи, уезжал подальше. Но мне всегда казалось странным то, что люди, обожающие мясо, просто передёргиваются, когда видят, как бьют кур или разговор заходит о забойном цехе мясокомбината. Я пропускаю мимо ушей сии разговоры, хотя мясо употребляю редко с ранней молодости.

Кстати, о сказках Пушкина. Внук мой, весьма любознательный читающий гражданин шести лет, полюбил пока только «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», а сказка про Балду повергла его в крайнее расстройство своим концом – он был горько опечален жестоким отношением Балды к попу: а почему поповна отца не защитила, а где был попёнок, он же любил Балду, он бы его стал бояться? и проч... Одну попадью похвалил за то, что она переживала о попе. И дело не в попе, а в возможности такой жестокости от вроде бы положительного героя. Когда в сказке кто-то умирает по вине не злодея, это, знаете ли, может быть понятно только испорченному взрослому уму... За что смертная казнь то? Ну, мало ли кто нажиться не хотел в мировой истории... Большинство прекрасно выжили и дали ветвистое потомство. Еле успокоила внука своего, и даже стыдно стало, что я сама ему эту сказку прочла. Про Дадона уж поняла, читать не стоит. Не стоит настаивать, так сказать, объяснить-то логично невозможно... Так что лучше, может быть, какой топор или секира для устрашения, чем иной клевок или щелбан. Уж больно они окончательными бывают.

« Любите живопись, поэты! »

Николай Заболоцкий

Портрет

*Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.*

*Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?*

*Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.*

*Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуйсуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.*

*Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.*

В. М. Васнецов (1848-1926)

«**Бой скифов со славянами**». Славяне в шлемах и кольчугах, скифы в кожаных шапках и с кожаными же красными щитами. Древо копья у скифа на красноохристом коне в такт окраске коня – крашено красной охрой, эту краску, думается, как и мои родители, делали скифы, смешивая олифу и просеянную красную глину, многие красные краски были очень дороги в старину. Второй скиф на красной лошадке с белыми пятнами. Скифы рыжеволосы, в одинаковых рубахах и синих штанах, совершенно не защищены, свирепы и низкорослы. Всё это в угоду патриотизму поваснецовски. Исторически неточно, если и сражались славяне со скифами, то когда, и были ли у славян такие доспехи в обычае... Мне почему-то казалось всегда на уровне чувства, что в кольчугах – скифы, которым греки золотые гребни выделявали, не то что что попроще... И ещё потому казалось, что мальчик, лежащий в траве и целящийся в воина на вороном коне, по-видимому, скиф, выписан откровенно комплиментарно. Мальчик лежит в траве с открытыми глазами – живой ли, мёртвый уже, но, успевший выпустить стрелу... ПРОШЛОЕ СТРЕЛЯЕТ В БУДУЩЕЕ, ДАЖЕ УЖЕ УМИРАЯ, УХОДЯ В ЗЕМЛЮ? Или, если это славянский мальчик, как мной воспринималось, то будущее стреляет в прошлое, убивая...

Сошлись два воина – славянин на вороном коне, скиф на красном и, в левом верхнем углу есть ещё воин на белом коне... Символика цветов...

Знаменитый «**Витязь на распутье**». Почти в центре – парит, спускается ворон – рока?

Воин – на белом коне. Сапоги из телячьей кожи крашены зелёным. Древо двухметрового копья – красной охрой (краснозём плюс олифа). Конь белый, ворон чёрный, заря утренняя. У камней-валунов – полынные метёлки, такие метёлки, ломая, собирала я в детстве венички и подметала двор... Воин в полном витязевом облаченье. Железный круглый щит за спиной, кольчуга. Он спокоен. Задумался. Белый конь застыл в устало-покорном поклоне – тяжёл всадник, тяжела дорога... Верхушка гривы – легко-розоватым. Колчан набит стрелами, с пояса булава свисает. На картине три чёрных ворона: спускающийся, плюс два в правой части. Три судьбы, три дороги, прошлое, настоящее, будущее. Череп человека – передний зуб верхней челюсти отсутствует, как написал бы стоматолог или патологоанатом. Череп воина. Череп коня и, продолжением, позвоночник его... Трава-пыльнь сквозь кости коня и человека. И – камни, камни-валуны... Тропинка справа – с дальнего горизонта спустился всадник на белом коне, крылья его невидимы в земном бытии.

Былинки, былины. Свет из окна прямо на картину. Бликует. Думаю, лучше она смотрится в свете тусклого питерского полдня или в свете вечерней зари.

На эти две картины «смотрит» «карандашная» «**Богоматерь**». Грустная, с огромными глазами, с длинным тонким «нерусским» носом. Христос-младенец похож здесь на мать – такой же грустный и тонконосый, губы у них не тонкие, как на традиционных русских иконах. Почему... Картина, несомненно, напоминает рафаэлевскую мадонну, но я всегда больше любила эту, васнецовскую Богоматерь.

Этот же зал. **К. В. Лебедев**(1852-1916) «**Полоняники**». Кто они...

Опять *Васнецов* – «**Портрет В. И. Гушкевича**». 1887. Нос – длинный, тонкий, волосы начали редеть, оголяется лоб, широкая борода по форме напоминает бороду современного писателя и поэта Кирилла Кожурина.

Васнецов. «**Портрет дочери Т. В. Васнецовой**». 1897. Нос прямой, тонкий. Так называемый «греческий», волосы – прямой пробор, сзади – небрежный пучок. Грустный профиль. Сероватая, возможно льняная блуза с маленьким воротничком и широкофонарным верхом рукава – эта форма периодически возвращается в моду, с каких времён по временам гуляет...

Две картины при входе... о них помолчу.

11 мая 2018 г. 289 маршрутка до пл. Искусств напрямую. Движение маршруток по Невскому запретили лет 5 назад, а может и раньше. Как быстро мы забываем то, что было недавно, особенно в наше время частых, порой сумбурно-лихорадочно-ненужных-всёухудшающих перемен.

Но, тем не менее: «Любите живопись, поэты!» – предполагаемый эпиграф к книге «восприятий», переосмысленных во времени, по сути, новых восприятий, искромётные сопоставления старых и новых чувственных пульсаций...

В. М. Васнецов. «Бой скифов со славянами» (подробнее выше). У мальчика-скифа, лежащего на траве, большая круглая золотая серьга в правом ухе. Этот персонаж картины, несмотря на свою «неглавность», наиболее дорог мне из всей честной компании, случайно оказавшейся на этой картине...

48 зал. **Василий Суриков**. «**Степан Разин**». 1906. На переднем плане уснувший казак – большим широким мазком, особенно рубаха. Степан – ярко-голубые глаза, которые обычно зовут синими. Перед ним казак играет на бандуре. Восемь вёсел, четыре пары гребцов. Да-да, воронка, да, только что бросили княжну персидскую в воду... Но – психологическая неверность: пока бы Степан успел так задуматься, место воронки проехали бы - проплыли, да и вода бы успокоилась. Сравнились бы волны с другими волнами.

Все казаки под парусом – Божьей защиты? Судьбы ли, зовущейся роком?

«**Пир Валтасара**». 1874. Художнику 26 лет. Краски темны, фигуры академично-пафосны.

«**Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге**». Этот пейзаж хорош холодным цветом и светом, хорош возок на переднем плане с ожидающим пассажиров извозчиком, хороша тень от возка. Фонари и луна «светят» до сих пор. Исаакий кажется очень высоким. А Пётр – не главным.

«**Сибирячка**». 1909. «Зрелый» Суриков написал зрелую дородную девицу – она смотрит в зеркало, волосы «чешет». В тёмно-голубом.

«**Портрет А. А. Добринской**». Лицо особенно и просто: пухлые губы, грустные небольшие голубые глаза, тонкие длинные чёрные брови.

Зал 36.(?) В этом зале диванчики, можно посидеть-посмотреть-пописать, писать стоя не очень удобно.

«**Переход Суворова через Альпы**». Боящаяся высоты, боюсь стоять «на краю», – всегда боязно было смотреть – а вдруг конь поскользнётся и слетит Суворов в пропасть. Первые солдаты немолоды, может, лет им 40 и поболее, пушка, ствол, а как он полетит... В связи с этой картиной всегда и Ганнибал со слонами мерещится. В центре молодые два солдата – веселы, кураж!

За счёт ледяной массы в почти всей левой четверти большой картины – эта картина Сурикова не кажется столь тяжёлой и тёмной, как «Покорение Сибири Ермаком» – река здесь взбаламучена, охра, серо-голубой, все люди темны, в тёмных одеждах, и красные изредка колпаки не спасают. Были ли эти картины ярче при рождении?

Экскурсовод только что отвёл группу школьников лет 13-ти от «**Снежного городка**». Картина во всех учебниках... Понятная, – а кто снежные городки не строил, кто не разбивал. Но тут всадник разбивает, летит. Впереди справа возок – задняя спинка покрыта ковром, барыньки-девушки да баринок-усачок смотрят-любопытствуют на забавы престоляродья.

В 36-м же зале **Апп. Васнецова** (1856-1933) «Северный край»(1898-1899). Извилистая река с отражением вечернего заревого неба хороша. На переднем плане необразцовая ёлка – изогнут ствол, ветки небогаты. Какой север? Он ведь большой в России.

Суриков, «**Покорение Сибири Ермаком**». Казаки все с большими, но восточными длинными глазами. Носы у Суриковских казаков многообразны, но курносых нет на этой картине точно.

Ф.А. Малявин (1869-1940). «**Бабы**». 1904.

«Пляшущая баба» – серед. 1900-х. Картинам Малявина более ста лет, но как же ярки эти платки и юбки, как смело контрастирует краплак и изумрудная зелень, мозаика красных великолепна. Обожаю эти две картины. Загорелые «бабы» для меня всегда были девками – веселы, здоровы, здорово-уверенные. Сейчас таких девок есть ли? За «бабами» – широкие горизонтальные мазки – поля, деревушки, отроги. Бабы на гору взобрались, на курган?

Малявин же, «**Портрет художника К. А. Сомова** (1869-1939), писан в 1895. Портрет прекрасен, характерен и характерен. Энергия – в белом халате, застёгнутом на одну пуговицу, в ногах, положенных одна на другую, в пальцах правой руки, впиавшихся в бедро, в кисти левой, растопыренно прижатой к боковой стороне лба. **Малявин!** «**Портрет художника Грабаря**»(1871 – 1960), как долго прожил Грабарь, а ведь... Может, за то, что

спасал иконы, даровал Бог долгую жизнь... Пережил и Малявина, и Сомова Грабарь... Портрет в 1895 писан тоже. «Другой», чем Сомов. Сомов видимо открыт, Грабарь видимо закрыт, кисти с палитрой на переднем плане – как защита...

А эта малявинская «Верка» (1813) – из бани ли выходит, от знахарки ли или просто первобытно-задумчива? Задний план, фон за ней тёмный, широкие лопатные мазки «шоколадом», сажей и пару изумрудных... Малявинский зал – 39-й.

40-й зал. **И. И. Левитан** (1860-1900). Мало прожил...

«**Тишина**» (уже в 1898). Предчувствие? Река – серо-голубо-фиолетовым. Домишки, уже показалась из-за сплошных тучек луна – один мазок белым. Берёзка. Белая охра плёса. Распльвчато-удлиненный мазок отражённой луны. Весёлые разнообразно-зелёные мазочки зелени и кустов – нижний левый квадрат – примерно одна шестая часть...

Левитан, «Луг на опушке». Бумага, пастель. 1898. Несколько «мазочков» голубым мелком – колокольчики...

«**У берега моря. Крым**». 1898. Лунная ночь без луны. Деревенская улица, околица? И! Рядом: «**Сумерки. Луна**». 1899. Скромная «лунная дорожка» – в неё добавлена тёплая розовинка! Осень.

Левитан, «Озеро». 1899-1900. Цвет и свет.

Зал 41. **К. А. Коровин**. (1861-1939). Запахло сиренью. Может, кто прошёл «в сиреневых духах»? «Русский импрессионист», первый ли?..

«**На берегу моря**» – прекрасный натюрморто-пейзаж, пейзаже-натюрморт? Свежо, пахнет розами и морем!

«**Улица в Виши**», 1911. «Сирень» в трёхлитровой банке (ах, как меня ругали за то, что я обожаю совать охапки цветов в большие банки и рисовать их маслом не прерываясь), жёлто-зелёный стакан, круглый графин в горошек, два лимона. Прекрасно. Эта сирень пахнет.

Очень живой «**Портрет Ф. И. Шаляпина**», 1911. Барин в светлом костюме и узких штиблетах вольно развалился, опирается на стол, накрытый для завтрака ли?

Зал 42. **А. Я Головин** (1863-1930). «Особенного» Головина посмотрю в следующий раз. Помню его, но не прочувствовано. Темперой и гуашью» «**Портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова**». Хрестоматийный... Головин очень графичен, но и живопись какова...

Зал 44. **Л. С. Бакст** (1866-1924). «**Древний ужас**» (1908). На переднем плане идол ли, статуя ли Венеры, хотя совершенно известно, что...

Обожаемо-великолепно, эквилибристски-минималистично, гениально – «**Ужин**» (1902). Ах, как играют апельсины. Ах, как длинно-стройно чёрное платье, ах, как расточительно-огромны белые потоки скатерти... Шляпа, не сразу видно страусовое перо! Рукава переходят в митенки, веер сложен. «**Портрет Сергея Павловича Дягилева (1872-1929) с няней**» (1906). Няня стара, Дягилев импозантен и – курнос, с чувственными губами...

И. Е. Репин. «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в год столетнего юбилея со дня его учреждения» (Я здесь 11 мая). Писано – 1903.

Никогда не любила всей этой картины, как зритель, но как мазавший бумагу и холст житель планеты художников – великое уважение перед талантом человека, «сделавшего» себя и развившего этот талант огромным трудолюбием. Каковы же в этом зале отдельные портреты генерал-губернаторов, графов, товарищей министров, великих князей! Они великолепны, в основном поясные. «**Портрет императора Николая II**» во весь рост. Стоит скромный такой, молодой и нежно-красивый, совсем не императорски держа «картуз» в сложенных крест-накрест руках. Смирение перед будущей судьбой ли, даже какая-то усталая грустная неуверенность, кажется мне, что сам Репин «притормозил», боясь выдать что-то большее, чем внешняя схожесть, что удалось ему прекрасно в других портретах-этюдах. Портрет писан до этой картины – в 1896, поступила картина в Р. М. в 1932 из Ак. Художеств. «Гос. Совет» – яркая картина, где мастерство Репина-портретиста-психолога и его «композиторский» гений кажутся абсолютными. 36 кв. метров. 54 зал...

Короткие строки

Наблюдение

Малыш рисует на асфальтных междудомовых тропях человечков, лабиринты, схемы, довольно плотно заполняя серую ленту. Примерно поровну делятся идущие по тропе – те, которые обходят рисунки по краю, иногда уже по траве, и те, которые идут прямо по рисункам.

Слушаю музыку

Слушаю музыку. Пишу неизвестно когда начатую нескончаемую книгу. Совсем ничего непонятно, загадана ли загадка, и мне ли предстоит разгадать её. Все предметы кажутся лишними. Даже в музыке порой чувствуются предметы. И я начинаю ждать беспредметности хотя бы в музыке. Она мне даётся пунктиром, чарующая беспредметность звуковой абстракции – не дождь, не ветер, не скрип, улетающий вслед за навсегда закрывающим твою дверь, не голос инструмента... Неизвестно когда начатая нескончаемая книга...

Возвращение блудного сына

Лучится лоб отца. Сын приглушён – сплошная сероватая охра, сложные коричневые, трогательно ускользающий профиль. На правой сандали пятка стёрта. На левой, упавшей, цела.

Красная накидка с кистями прикрывает сгорбленные плечи, нет, не старого ещё человека. Руки не старика, но отцовские руки. Разные руки – одна прощающая, другая защищающая.

Где старший брат? Об этом всё ещё спорят. Апрельское утро. Эрмитаж. Сегодня я – первый зритель вечной картины. Здравствуй, Рембрандт.

12 апреля 2018 года

Мария Амфилохиева

маршрутка

1.

Из дома на улицу ветреным утром,
Еще не проснувшись, уже на работу
Выходим – а небо над городом мутно,
Как будто его угнетают заботы.
Как будто бы наши дела и печали,
Пока что неясные в сумраке дня,
Тяжелою тучей над Питером встали,
Рассеянным светом рассвет заменя.

Но думать об этом – затея пустая,
Ныряю в маршрутки бродячий уют
На тридцать минут – и почти засыпаю,
Но мысли чужие мне спать не дают.
Пришло вдруг прозреньё такое откуда?
В непрочном, случайном, дурном полусне
Случилось со мною ненужное чудо –
Мне слышатся речи ясней и ясней.

2.

Старушка отцветшая в шапочке серой,
Бессильно ссутулясь, приникла к окну.
Мне чудится:

Боже, с какою мы верой
С коленей свою поднимали страну!
Я помню, как рушилось зданье напротив,
Как мальчик соседский лежал недвижим,
И очередь в хлебный на том повороте,
И как мы в подвал под обстрелом бежим...
Какое «бежим» – еле ноги тащили,
У мамы уже начиналась цинга,
А где-то на фронте, высокий и сильный,
Мой папка стрелял, поражая врага.

Мы выжили с мамой, а он не вернулся.
Потом были долгие мира года,
Но каждый блокадник в одном обманулся –
В мечтах, что уже не придет к нам беда,
Что где-то зачтутся нам годы ненастья,
Что будет под старость покой и уют,
И прочное, мирное, тихое счастье
Наградю будет за доблестный труд.

Теперь, обивая пороги Собеса
Я чувствую только обиду и боль.
Забыты мы. К прошлому нет интереса.
А пенсия... Да и не только в ней соль.

Девчонка в трамвае (годами правнучка
Могла бы мне быть) толковала всерьез,
Что будто бы мы доводили до ручки
Страну и вождизма приняли наркоз.

Она говорила спокойно и громко,
И, стайкой веселой собравшись в кружок,
Смеялись подружки: «В стране теперь ломка!»
Похоже, что вместе учили урок».

Старушка вздохнула и к выходу тут же
Продвинулась.

Я же иные слова
Услышала. Это жена рядом с мужем
Дремала, на пальцы стянув рукава.

3.

Когда-то по тебе страдала,
Когда-то ты любил меня,
Теперь другого повстречала,
Он для меня сиянье дня.

Но он, как я же, несвободен
И пуг не в силах разрубить,
Союз наш богу неугоден,
Зачем на свете дальше жить?

Мотив романа, пошлый, скучный
Как овод, бьется мне в висок.
Здесь поскорей проснуться лучше...
Но ломкий слышится басок.

4.

У тебя исколоты вены,
У тебя пустеющий взгляд.
Брежат к лучшему перемены
Ненадолго. Потом назад
Вновь отбросит тебя. И в корчах
Ты готов убивать и рвать.
И ничто не поможет больше,
И напрасно рыдает мать.

Знаю, Колька, от смерти колкой
Не уйти тебе, не уйти,
И уже никакого толка
В нашем прошлом. Тебя спасти
Не удастся. Воспоминанья,
Как ходили мы в первый класс,
Как дружили... Мое старанье
Не спасает, раз Бог не спас.

Снова еду к тебе в больницу,
Снова в сердце слепая муть.
Слушай, Колька, так не годится,
Колька, Колька, дружище... Жуть!

Мы покуривали на пару,
Риск, браваду свою любя.
Что ж несут теперь санитары
Не двоих – одного тебя?

Где на грани проклятой, тонкой
Нас развел вдруг судьбы каприз?
Ты подсел совсем на иголку,
Я остался – как вынул приз...

Парнишку жалко, право, –
Нерадостная повесть.
Щемит больная совесть,
Но как ему помочь?
Я слышу речи справа,
Где на скамейке рядом
Сердитым сверлит взглядом
Отца красотка-дочь.

5.

Мой папуля – «инженер
старой доброй школы».
Был когда-то всем пример,
Ратник комсомола.
Но забыт его успех,
Улетели годы.
Стал посмешищем для всех,
Выбился из моды.
Тянет ляжку – все за так,
Жалкие копейки,
Только деньги – не пустяк,
В школе лишь посмей-ка
Быть одетой хуже всех,
Без мобилы клевой
Не придет к тебе успех –
Вывод невеселый.
Мать сидит в углу, как мышь, –
Нынче без работы.
Жизнь такую вот, шалишь,
Нет терпеть охоты.
Я надену всем назло
Юбку покороче
На панель... Чтоб повезло
Мне поближе к ночи.
Говорят: «позор», «мораль»
(Лексикончик папки)...
Ничего уже не жаль
За крутые бабки.

Папа вышел из дверей,
Дочка едет дальше,
Мысли страшные у ней,
Но хотя б без фальши...

6.

На скамейке задней – двое.
Муж с женою. Что такое?
Не хочу про это слушать,
Только мысли лезут в уши
И шипят, как злые змеи:
«Жить совместно мы умеем.
Очень выгоден союз.
До изнанки ж этих уз
Посторонним дела нет,
Хоть про все наслышан свет».
Муж удобен. С ним жена
Если надо, то нежна,
Но ее святое право –
Каждый день гулять направо,
А налево ходит муж –
Он на это очень дюж.
Так плечом к плечу сидят,
И не страшен компромат,
Потому что в этой лжи
Им вполне комфортно жить.

7.

Эфирные помехи?
Звериный дикий рык?
Кузнечные ли мехи?
Дикарский ли язык?
На крайнем на сиденье
Сидит или лежит
Без капли разуменья,
Хоть человек на вид.
Но нет понятной речи,
И мысли ясной нет,
Помочь бедняге нечем,
Коль водка застит свет.

8.

Водитель – смуглый малый
Блестит маслинным глазом,
Он, видно, парень шальной,
С акцентом говорит,
Что он маршрут «нэ знает»,
И непонятно сразу,
Баранкой он играет
Иль судьбами рулит.

Его я вижу в профиль,
Лицом не повернется,
Он даже в этом профи –
Не помнится примет.
А за окном маршрутки
Вскачь улица несется
Назад, и – кроме шутки –
В салоне меркнет свет.

Летим не по асфальту –
В каком-то сером смоге,
Как будто крутим сальто,
Уже теряем вес.
И только дымный морок,
И нет давно дороги...
– Куда везешь нас, ворог?
В глаза хохочет бес:

– Вы сами изъявили
В машину сесть желанье,
Билеты оплатили
Уже давным-давно.
Вокруг такая местность –
Кричать пусты старанья,
А в ад иль в неизвестность
Умчим – не все ль равно

Б. А. Орлов

**СТИХИ
для
РУССКОГО ЖУРНАЛА**



ВАЛУН

Разорву сеть, как будто нить.
Быстрина – не отыщешь брода.
Не спешите меня винить –
Я поставлен сюда природой.

За мою спиной круги,
Не страдаю богемной ленью.
Я – валун посреди реки,
Не желаю плыть по теченью.

Памяти Николая Колычева

Прятки полюбив, сыграли в ящик.
Тесен мир без правил и границ.
Карнавал без масок в настоящем
Потому, что у людей нет лиц.

Словно птицы собирали крохи
Бытия. Вокруг туман и мгла.
Мы поэты будущей эпохи,
Что, как вечер, за леса легла.

* * *

От революций съежилась страна.
Жизнь коротка, да и устои шатки.
Мне не нужны чужие времена –
Без революций жизнь течет в достатке.

От грязных смуг по швам трещит страна.
Из революций вырастают войны.
Мне не нужны чужие времена:
Они – уроки, но без них спокойней!

* * *

Он, совесть отравив, невинных судит,
Его растлил круговорот страстей
Он из народа вышел прямо в люди,
А после криво – в звери из людей.

Из сердца исчезает Божья милость,
Когда ворвется дьявольская пруть.
Но что бы в этой жизни ни случилось,
Не надо из народа выходить!

* * *

Не вини вождя и брата –
Падает звезда!
Прежде, чем идти куда-то,
Надо знать куда.

Много чувств, а мыслей мало...
Затерялся след.
Там, куда звезда упала,
Вечной жизни нет.

* * *

И один, и семь холмов –
Спит асфальт, где пели травы.
Города – стада домов,
Небоскребы, как жирафы.

В новостройках тонет храм –
Поклонение Иуде.
Словно блохи, по домам
Скачут маленькие люди.

Где творения венцы?
Яд проник в дожди и росы.
Пастухи домов – дворцы,
В них жиреют кровососы.

*И комиссары в пыльных шлёмах...***Б. Окуджава**

В трагедии перерастали драмы.
Красавицы, но жизнь на волоске.
Их отличали от Прекрасной Дамы
Кожаночка и маузер в руке.

Кровь праведников в христианском мире
Струилась в небеса сквозь облака.
Валькириями Красные Есфири
Носились над застенками ЧеКа.

* * *

Отставка пистолету и ножу.
Кулак надежней. Потому не трушу.
Как шаровую молнию ношу
Внутри себя сияющую душу.

Ей все равно – что кочка, что ухаб...
Не лезьте в душу, как в нутро колодца.
Не вынесет касанья грязных лап
Душа – и ослепительно взорвется!

* * *

В младенческих снах летал
Кометой меж звездных скопищ.
Но кровь тяжелит металл,
Он бытом надежды топит.

Где правды нет – нет и лжи:
Зачем выбирать дорогу?!
Мне крылья мешают жить,
А вот помереть помогут.

Есть вечность. Куда спешить?!
В ней все: где и был, и не был.
Мне крылья мешают жить –
Они меня тянут в небо.

* * *

Воля буйная. Юность шальная.
И гормонов безумная прыть.
Ничего мы о мире не знаем,
Но мечтаем его изменить.

Изменить для себя – не для многих! –
Чтоб на трон подниматься в венце.
Забывая в гордыне о Боге,
Тень порока несем на лице.

Смех и плач. Тайный шепот и крики.
Для царя и раба жизнь – урок!
Что народы? Они многолики –
И у каждого личный пророк!

В мире тысячи разных наречий –
К ним всю жизнь подбираем ключи.
Божий мир – гармоничен и вечен...
И Творца нам не стоит учить!

* * *

Перемещаются полюса.
Мир ржавеет.
В России – ржавый Толик.
В Америке – ржавый Дональд.

Ненастье превращается
В катастрофу!

Роману Круглову

Уж так устроен мир: придет мой сменщик –
Я передам свой гуж тому, кто джуж.
Ровесников все меньше и все меньше,
Опустевает жизнь без близких душ.

В словесных битвах много мутной пены,
Но гибнут страны от словесных битв.
А дюжие приходят нам на смену
От света наших мыслей и молитв.

Моим друзьям – военным писателям

Чтоб честь иметь, носи мундир,
Нет чести без мундира.
Сражаемся за русский мир,
Как греки в Фермопилах.

Мы чтим и Родину, и Род,
Но Ирод-царь не в теме.
Пусть мы погибнем, но народ
Наш выиграет время.

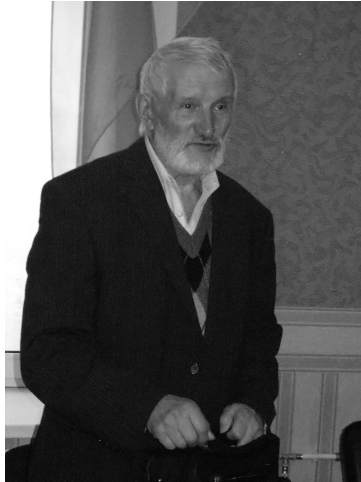
В. И. Чернышев

Страничка из дневника

**СТИХИ ... КАК БУДТО
ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА**

НЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

ТРИ ТОВАРИЩА



3 октября – 13 ноября 2018. СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА

Россия – родина народов, и издревле обитающих на ее пространстве с востока на запад и с юга на север: и родина народов, так растекшихся в этих пространствах из Азии и Европы, что даже и во снах иногда того не ожидали. В этом случае я имею в виду не то, что в наш мобильный век в славный Питер-град или даже в Туруханск туристскими тропами пробираются и чернокожие жители Африки, и краснокожие жители обеих Америк, но что исторические силы, перемещая значительные массы населения, уготовливают в России родину и для тех, кои уже имели родину, но или ее потеряли и обрели в неожиданном месте, или вели кочевую жизнь и наконец остановились... Около двухсот народов в России, и всех я не сумею упомянуть, упомяну только некоторых.

Известно, что китайцы живут в Китае, в котором *«все жители китайцы и сам император китаец»*, а корейцы живут в Корее – но знаете ли вы, что множество и китайцев и корейцев проживало вдоль границы в Приморском крае а также в Сибири, и места их проживания тоже были их родиной, и с ними связано развитие сибирского огородничества и культивирование многих южных растений и овощей (огородничество в Сибири многим обязано и декабристам) – но большевистско-сталинская сатрапия так безжалостно и грубо вмешивалась в естественную жизнь и природы и человека, что и корейцы и китайцы неожиданно для себя очутились в северном Казахстане; там же оказались и немцы Поволжья, замечательно обжившие поволжские земли и развившие там превосходное сельское хозяйство. И те и другие очень трудолюбивы, и на казахских землях тоже наконец возникли ухоженные поля и добротные строения, однако последней милостью большевиков оказалось разордранье уже и советской империи (после Российской), и корейцы и немцы потеряли уже и казахскую родину. Некоторых из них я встречал в Петербурге, знаком с ними был по университету, а на днях открыл книгу о «Народе без родины» – нет, это не о евреях – и листая страницы, чуть не заплакал. Написал ее бывший немец из Поволжской республики (куда они переселились, крестьяне, из Германии при Екатерине Второй), переживший ужасы изгнания в 1942 году из Поволжья, ныне оказавшийся в бывшей восточной Пруссии (а где те бывшие прусские немцы? С иными из них я тоже был знаком, весьма достойные люди!)

В окрестностях Петербурга тоже жили немцы, например, напротив Рыбацкого есть поселок Новосаратовка, там еще сохранился лютеранский собор, некогда переделанный в школу (я в ней работал). Судьба этих немцев, я думаю, незавидна, хотя предки их жили на этих землях вместе со шведами и с местными финскими племенами, ингерманландцами, еще и во времена Новгородского княжества. Но и ингерманландцы, жившие на Ижорской земле и сопредельных, в большевистскую эпоху пережили немало невзгод и в большинстве своем новую родину обретали в Сибири. Такие же невзгоды претерпели и финны, жившие по обе стороны линии Маннергейма, относившиеся к России приветливо, пока Сталин не ухитрился и Финляндию превратить в нашего врага.

Грустная тема – **Россия как родина**, и жаль, что это так грустно, ибо я знаю, что мы вновь станем великой страной только когда Россией будет гордиться *«и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык.»*, когда Россия станет *отечеством* Пушкина, а не Сталина.

* * *

Мы рождены лишь для того,
 Чтоб мира длить круговращенье.
 Мы промелькающее тленье
 В неясных замыслах его.

Но невозможно допустить,
 Что этот огонь горит напрасно,
 И все, что в жизни нам неясно,
 Навек придется позабыть.

Холодный мир продолжит злое
 Круговращение, а мы
 Продолжим тление земное,
 Не понимая и не сто́я
 Вниманья вечности и тьмы.

Так суждено ль нам хоть когда-то,
 Пред завершением времен
 Пусть безымянного солдата
 Узнать забвение и сон?

26 мая

Стихи в Альбом Е. С.

О вас стихов я не писал,
 Хотя был тронут речью вашей.
 Вы говорили: «Ах, он пал!»
Но я ведь ангел! только падавший...

Зато еще пройдут года,
 И вы поймете: Все не просто:
 То тает толща лжи и льда
 В теснинах Бури, Муки, Роста.

Потом, когда-нибудь, листая
 Альбом, меж листьев, строк сухих,
 Вы вдруг увидите, там тает
 Еще холодный нежный стих.

Бьть может, ваше сердце ёкнет
 В воспоминаньях давних строк,
 И от слезы живой промокнет
 Забытый, блеклый сей листок.

22 июня 18

* * *

Знаменья времени не в том,
Что все течет и жизнь проходит,
А в том, что бес нас в поле водит
И разоряет отчий дом.
И дни текут, а с ними годы,
Пасутся мирные народы,
Нет воли чувствам и уму,
Я снова взор свой в мир вперяю –
Но ничего не понимаю...
Как видно, так и не пойму...

14 августа

* * *

Я не стремлюсь к магическому краю,
Под полог славы не проходит свет.
Я с бесами не спорю, не играю,
Но нет надежды, и исхода нет.
Я не стремлюсь ни к славе ни к бесчестью,
Высокое одно меня манит.
Как хорошо, что мира липкой лестью
Я не был схвачен, даже не убит.
И все же одиночества стихия
Мне не грозила – музы и друзья
Меня лелеют. Им пишу стихи я.
А бесы пусть беснуются, грозя!

30 августа

* * *

Мне плохо. Какова причина,
Не знаю. Отступил от правил?
Рассохлись фюзеляж, личина,
То вздорное, что внушал нам Павел?
Рассыпалось и учение Маркса,
Нет чести, оснований, цели,
Пропали партактив и касса:
То – пропито, а то – проели...
Что верно, что неверно – боле
Не знают ни вожди, ни свыше.
Один я – то ли в чистом поле,
То ль с истиною на ветхой крыше...

5 сентября

* * *

Плохо спал, душа болит,
За спиной тяжелый ранец,
Ждет за партою ...ранец [...]
(может, будущий пиит)
И ругаться не велит.

А по лужам дождь идет,
И вприпрыжку Верка с Машей.
Жизнь, увы, не стала чашей,
То ботинок сильно жмет,
То арест, допрос... Ну, вот:

Я не сплю, болит ребро,
Вся бумага исписалась,
Денег нет... Тоска и жалость,
Притупилось и перо...
А судья глядит хитрб.

На дорогах Русь разбита,
Осень в блеске янтаря!
Нет сумы и нет корыта, –
Но пришел я в мир не зря,
Плоть уже с душою слита,
Посох, пот, перо, молитва,
Ветер, дождь, и вновь заря...

Хоть и буду скоро с краю,
Но еще того не знаю,
Жизнь надеждою живет,
Пусть не смотрят Верка с Машей,
Пусть не стал и лик мой краше,
Что-то в сердце ноет, жжет, –

Но сегодня – снится, что ли, –
Будто вновь я в старой школе,
Голод, боль тоска и ночь.
Слышу пенье, говор, лепет,
Вновь меня из праха лепят –
Муза, мать, жена и дочь!

Воскресенье, 16 сентября

Покаянное письмо богине

Проснувшись ночью, вспомнил, что писал,
И стало стыдно. Вас я не обидел?
Я – скромный плотник, верный ваш вассал,
Далекий ссыльный, – может быть, Овидий?

Теперь я буду кротким и слепым,
Коль повезет, то стану вдруг Гомером.
Но – жизнь не сон. Мы, к счастью, не спим...
Хотя и сон нам мог бы стать примером.

И вот, проснувшись, – я пишу стихи.
Я понял вдруг: *Любить я не умею.*
Повелевать стихиями? Стихий
Теперь боюсь. И трогать их не смею.

«Моя богиня» – в судьбах не вольна!?
Ужели жизнь – хозяйка над богиней?
Да, жизнь – лишь сон. И утром, встав от сна,
Пишу вновь письма, русский *Младший Плиний.*
Сентябрь 18

* * *

Осень. Пока сентябрь, тринадцатое число.
Дорога – моя река, посох – моё весло.
Куда меня черт несет, не знают и духи рек.
Плыву, пока челн плывет, то ангел... то человек...
Сентябрь 18

* * *

Жить надоело, сколько можно?
все беспросветно, тягомотно.
Пусть уж перо ржавеет в ножнах,
Пока полкі сбилісь поротно.
Как-будто вдаль ведет дорога,
Но те же версты, что и ране,
Нет ни денницы, нет и бога
Одно и то же сердце ранит...
И даже рифмы безугешны,
Хоть нет в словах моих изъяна.
Я вышел, видно, слишком рано,
И слишком помыслы безгрешны...

* * *

Дождь шел всю ночь, к утру не перестал,
Я слушать дождь и то уже устал,
А он все пуще, кажется, идёт,
Как будто где-то кто-то мокрых ждет...
Как будто где-то есть такая сушь,
что... нет, молчу, всё это просто чушь,
а просто, может, стоит взять с него пример?
Стоял, пошел... меж истин, вер, меж мер?..

13 ноября, 10-53

Не заключительные Заметки Редактора

11 октября 18, четверг, 9-36. – 13 ноября 18, вторник, 10-45.

1. Спал мало, не помню, хорошо или плохо, теперь дело с журналом подошло к самому важному, к **особой точке** «Кривой нашей жизни», к *точке разрыва или экстремума или перегиба*, сегодня Журнал (или Альманах?) надо уже сдать в печать, а мы еще не выяснили, есть ли Бог и кто он такой, что из себя представляет, Бог ли он ацтеков, требующий кровавых жертв, ветхозаветный ли бог, звезданувший по Содому и Гоморре, Бог ли Отец Иисуса Христа, которым и сам Спаситель страдал иудеев, говоря, что придет в Конце света Жнец, и ужо всех пожнет, и кто на море, и кто на крыше, и кто на стерне (потому что не надо грешить), и спасется только «малый остаток»-избранных... Разбирать противоречия Иисуса Христа – себе дороже, в каждом слове у него противоречия, и в сцеплении слов тоже. Казалось бы, наказание следует ЗА ГРЕХИ, спасение – ЗА ПРАВЕДНОСТЬ – но спасутся ИЗБРАННЫЕ, а они КТО? Прежде всего это те, к которым он пришел, то есть грешники, ибо «не здоровые нуждаются во врачах, а больные», и он пришел «к погибшим овцам стада Израилева». (Но часто бывало так, что начинает с отторжения, дескать, сударыня, *я не к тебе пришел!* – а потом восклицает, когда она *умалилась, склонилась, встала на колени* – **«вера твоя спасает тебя!»**) (А в действительности во всех подобных случаях дело идет вовсе не о вере, а о самоумалении, вот восклицает самаритянка, что *«и собакам перепадает крошки с хозяйского стола»*, и Иисус меняет гнев на милость и прощает – ненавистна ему **гордость человека** («гордыня»), мило признание им своего ничтожества. Так что, братцы, основной нерв христианства состоит в **покорности** (какое слово стало именем религии арабских племен, пошедших в 6-м веке за проповедью Магомета, **Ислам** и значит **покорность**). Но чего требует христианство, особенно православие? Чего требует новейший литературный пророк его, Достоевский Федор Михайлович? *«Смирись, гордый человек!»*, слишком уж ты широк, надо бы тебя обуздить.

Я теперь по-новому спорю – то есть, – не спорю! Я не доказываю, что одно хорошо, а другое плохо, я усвоил мораль Льва Толстого: «кому что нравится!», и не настаиваю, что хорошо по утрам умываться и косить траву – а кому что нравится, что **хорошо быть гордым, честным, великодушным** – нет, кому что нравится, и кому нравится Крепостное право, монархия, верноподданный народ, любовь к тиранам, отсутствие свободы, не только слова и печати, но и свободы веры (а это называется **свободой совести**), и отсутствие свободы передвижения (как при большевистском крепостном праве у колхозников) – бог с ними! Так им нравится! А я буду **редактировать мир**, вместе с теми, кому тоже не нравится этот мир рабов и верноподданных и **нужен мир достойных, гордых, честных и великодушных людей**. Мое редактирование мира состоит из **критики** чужих сочинений, исправления ошибок (я учитель грамматики и стиля, правописания и точности), состоит из творчества (писания книг), из верстки и печати. Те, кому я нравлюсь, пойдут за мною, и мы мир исправим!

2. Как и Христос, я вообразил (еще в семь лет), что пришел спасти свой народ, то есть **русский** (потому что я и сам русский).

Но кто такие русские, кто к ним принадлежит?

Так как человек очевидно состоит из плоти (тела) и души, то у него две природы, два источника бытия, **природный** в буквальном смысле слова, *родо-племенной*, относящийся к рождению от отца и матери (по причине **зачатия**, но при том греховного, ибо хотя Иисус вочеловечился, родился от девы Марии, и был даже зачат, но не так, как мы, а от Духа святого, следовательно, мы являемся человеками по отцу и матери, а он только по матери иудей (еврей), да и то потом и они его отвергли, даже распяли, и он от них отрекся. Меня еще распяли не до конца, сидел, правда, три раза, но меня спасали все кому не лень, горстка синклита осуждала, а и тюремщики, и чиновники, и всяческий персонал (особенно медсестры) любили и защищали. И я их любил.

Так что Иисус и еврей наполовину, только по матери, а я **русский из русских** (как и апостол Павел, *еврей из евреев* – так он о себе говорит, но от *своих* он в конце концов тоже отрекся, как и Иисус).

Они оба граждане мира (сначала клявшиеся, что пришли спасти только свой народ), а я народник, по-прежнему спасаю русских. *Но кто русские?*

В нынешней моей деревне подружился я с цыганской девочкой, в четырнадцать лет пришла пора ей получать паспорт и в графе о происхождении записать *народность*, она спросила, что ей делать, меня. А кто у тебя любимый писатель, спросил и я ее. «ВИ!» – ответила она. А еще? «Тоже ВИ. И третий тоже.» «Ну так ведь и сказано, что кто у тебя любимый писатель, тот и твой народ!» И так она *стала русской*, хотя и раньше ею была, но сомневалась.

Недавно, как я уже не раз хвастался, десятилетняя девочка Алёна вдруг порывисто меня обняла, потом, после некоторых колебаний, еще обняла два раза, и так как она только летом живет в деревне, и я загрустил, воскликнула: Да не переживай, следующим летом я снова приеду, и мы снова встретимся, я тебя не забуду, я ведь уже с прошлого года тебя помню, а ты меня забыл!

И я понял, что все дети, которые меня любят (особенно девочки) – тоже русские, да, впрочем, дети и без этого русские, они русскими рождаются, и только потом некоторые отрекаются (как апостол Павел) и уезжают за счастливой жизнью. Детей я не спасаю в христианском смысле этого слова, они еще безгрешны, но всегда готов придти им на помощь и спасти, и не раз уже помогал, в основном, впрочем, заботился я об их плотских нуждах, то привозил одежду, то игрушки, книжки, то кормил или поил чаем, по собственной бедности я даже помогал им иногда «сухим кормом» (такие пакетики с вермишелью и прочим "быстрого реагирования", которые достаточно залить кипятком, но они их иногда ели как семечки, в сухом виде). Кстати, я писал уже о цыганской девушке, которую поил в стационарном садике чаем, и она вдруг спросила, не Бог ли я, потому что во сне видела Бога, и оказалось, что он на меня похож – так она сказала.

Итак, русские – это все, с кем я сталкиваюсь и так оказывается, что им иногда приходится помогать, был у меня в Москве русский чеченец (обо всем этом я тоже писал, но напоминаю, не все мои книги читали, а может быть, никто их совсем не читал). И те, кого я вытащил пьяных из канавы и тащил по

дороге (как Вову), тоже русские. Но девушки, которых мне удавалось спасать, вытаскивая из сугроба, еще более русские (таких было три, впрочем, третья норовила упасть с платформы, я ее подхватил, пришлось ее тащить на пересадку в метро, я посадил ее в поезд, но моя милая и великодушная, даже может быть, святая, жена меня ждала, и я не пал вместе с нею а вернулся наверх. Кстати, эта третья вообще была не пьющей, ее от жары и случайного шампанского разморило, и скоро она уже "отошла" ...

Кстати, русский ли я сам?

Однажды воры залезли в наш деревенский дом, из соседней деревни, где жили русские, и Вова даже их вычислил и пообещал поубивать, стоял передо мною, воздевая руки к небу, и восклицал: *К кому залезли? К Василию Ивановичу залезли! Да как они могли?! Это ведь Василий Иванович!!!*

И я понял, что я представляю собою в его глазах отдельный народ, русские сами по себе, а Василий Иванович – сам по себе! Так думал и моряк в сумасшедшем доме, заставляющий меня писать учебник математики, а не играть в шахматы.

Вот что важно понять: *в Китае все жители китайцы и сам император китаец*, следовательно в России все жители русские! Если же они еще и немцы или евреи или поляки или чухонцы, то одно не исключает другое. Надо полюбить Россию, даже ее ненавидя, и спасти Россию вместе со всеми (кроме олигархов и вороватых чиновников и политиков, этих сначала надо отправлять на переплавку на нары).

Итак, я русский, да притом еще Василий Иванович, и я пришел (или послан) спасти Россию и русский народ, «и гордых сынов славян», но не только. Все, кого я послан спасти, русские. А я послан спасти **униженных и оскорбленных, несчастных, нуждающихся в помощи и сочувствии**, всех, кому очень плохо. Я не спрашиваю, грешники ли они (особенно дети и женщины – и те и другие безгрешны!)

3. Но как совместить мои обличения народа с тем, что я ему сострадаю? Сострадаю ли я только лучшим, то есть моему *малому народу интеллигенции*, точнее говоря, людям творческим, работающим, добрым, красивым, гордым и талантливым – или я сострадаю и Большому народу, часто дурному и бестолковому? Да, увы, на этот народ я злюсь, я его обличаю, я его готов взять за грудки и тряхнуть как следует – но разве я сам и не из них тоже, по крайней мере на треть я из них! Даже среди моих родных не все совершенны, даже я сам, хотя и Василий Иванович, но ипил лишнее, и ленился, и глупостей наделал немало, и в *помыслах* отнюдь не благочестив, и во всем человек, не только в хорошем, но и в слабостях, и даже в иных грехах (не во всех)... Я поэт, не только математик, но и формулы не помогают мне понять, «куда несет нас рок событий», «с того мучаюсь и я».

Вот поэтому несправедливо сказать, что мне поручена миссия по спасению народа – нет, мы встретились на дороге жизни, мой народ и я, оба не совершенны (не во всем совершенны), и спасемся мы во взаимном труде, взаимном творчестве, взаимном научении: я их учу, они учат меня. Особенно я понял это, издавая журнал. Как много в нем совершенного! Но и то, что в нем не совершенно, по своему совершенно тоже!!!

14 октября 18, воскресенье, полночь. Христос (что значит по гречески *Спаситель* а по еврейски *Мессия*, по происхождению же он Иисус из Назарета) в начале своей проповеди заявил, что пришел спасти свой народ, то есть единоплеменников (или *ближних*, по иудейской и христианской терминологии). Затем апостол Павел, который после распятия Христа хотя сначала и не был его учеником и апостолом, а даже, напротив, гонителем христиан, в своих посланиях постепенно пришел сначала к выводу, что Христос пришел **и** к иудеям **и** к язычникам, а затем и вовсе заявил, что **только** к язычникам (то есть НЕ к иудеям), и так это и осталось до сего дни. Такая эволюция взглядов естественна даже и для богодухновенного Завета, казалось бы должного быть сформулированным раз и навсегда уже неизменным, как математические теоремы – правда, когда апостол Павел, и одновременно с ним и другие евангелисты и апостолы окончили свои послания, Учение достигло законченности и стало неизменным (и даже самому Христу Великий Инквизитор в романе Достоевского заявил: "Да ты и права никакого не имеешь что-нибудь изменять в том учении, которое нам когда-то принес!") Хотя первые вселенские Соборы еще ожесточенно спорили о том, какие тексты считать каноническими, а какие причислить к апокрифам и отвергнуть, и даже Символ веры утвердили только в третьем веке, и кто верит правильно, а кто – еретически, об этом время от времени *вспыхивали* споры, а затем и костры, на которых горели спорщики, и сначала верующие разделились надвое, на католиков и православных, а потом и те и другие...

Но теперь мы сосредоточимся на том, что выясним, к кому все же пришел Христос. Устами апостола Павла на этот вопрос был дан ответ: *Христос пришел к язычникам*. Но это ответ не полный, ведь и ученики Христа не были язычниками, да к тому же дело не всё состояло в национальной и религиозной принадлежности, а в том, праведен ли человек или не праведен, то есть грешник. И Христос твердо и не один раз возгласил, что он пришел не к праведникам, а к грешникам. И я не хочу подвергать критике это краеугольное положение христианства, оно с ним органически согласуется, ибо в силу первородного греха мы все грешники, даже и праведники.

Но я – не христианин, и не к ним пришел, но – к кому? Вначале я думал и так говорил, что я пришел к русским, потом я к русским стал причислять всех российских жителей, для которых русский язык и русская культура являются духовной основой их народности (так как народность двуедина), и хотя, таким образом, оказывается, что я пришел и к цыганкам, которые склонны думать, что я Бог, и видят меня в своих снах, и к немцам Северного Казахстана, и к полячкам Виленщины, и к внучке «совести партии» и к внучке Махно, пришел и к Вове, которого я нашел первоначально в канаве, к Боровичским лесорубам, спилившим мои березы, плакавшим у меня под окном (и они, верите ли – плакали тоже, когда их пилили), к водителям автомобилей, подбирающим меня на дорогах (за что я им дарю свои книги), к образованному узбеку, выпускнику Московского университета, который копит деньги на танк (чтобы ездить по нашим дорогам... или ...), к отставным учителям, книги которых я редактирую, к начинающим поэтам, к маленьким детям, которые трогательно ко мне тянутся и бескорыстно любят (особенно девочки), даже к

наркоманам, с которыми я сидел в тюрьме у Финляндского, и к диссидентам, с которыми я сидел в сумасшедшем доме на Арсенальной – но все же я пришел прежде всего к тем, которые любят русский язык и русскую культуру, любят Россию (или ее ненавидят, но не равнодушны) – поэтому надо все же немного размыслить о том, кто же такие русские? Если русскими являются и русские цари (а Екатерина чистокровная немка, и та и другая), и многие русские ученые, приехавшие к нам с Запада, и строители Петербурга, итальянцы, французы и немцы, и русские военачальники, некоторые из которых сначала воевали в рядах армии Наполеона, потом поступили на службу России, и министр финансов Канкрин, еврей, и Верховный правитель России Колчак, из крымчаков, и тем более великий гений России Александр Сергеевич Пушкин, мать которого наполовину немка, а у него самого родным языком являлся французский, и другой русский гений, Николай Васильевич Гоголь, у которого в «Тарасе Бульбе» русскими из русских оказываются те самые запорожские казаки, которые ныне собираются в поход на Москву во имя Незалежной? Да не перемешаемся ли мы со всеми, так что потом *не отскребем русского от татарина* (о чем говорил Карамзин, имея в виду нашу **азнатчину** в смысле культуры и образования, а вовсе не крови)

Чтобы не уподобиться диким немцам, взвешивающим на весах свое арийское происхождение, мы должны заново учиться и читать «умные книги», прежде всего – мои сочинения, а не Маркса (позавчера на философском собрании зашла о нем речь, оратор и говорит, что у него ни одного слова правды, Смита и Риккардо он опозлил, у Гегеля взял в его чрезмерно прямолинейной системе худшее, и **образа будущего**, во имя которого призывал «разрушить весь мир», у него не было – как, впрочем, и у Христа) – а кому же вы вчера молились, спросил я – но никто не ответил; читать надо уже и не Ленина, благодаря которому мы перебили три четверти русских, смешанных или несмешанных, теперь уже неважно, и разорили богатейшую страну мира, и не Троцкого, и тем более не Сталина, который и писать то не умел (не лучше Гитлера), да и не вычитаете вы образ будущего и Заветы нравственной жизни ни у Тертуллиана (у которого душа не христианка но обязана ею стать, а все, кто его цитирует, пишут наоборот), ни у Оригена, который учил, что математика внушена бесами, ни у Иоанна Златоуста, предписывающего женщине в постели совершать благопристойные движения – а он в молодости сам был распутником, в чем позже раскаялся... Читайте знаки нотного ряда, созданного Пифагором, и слушайте музыку. Смотрите прекрасные творения эллинского гения, о которых апостол Павел сказал, что улицы Афин уставлены идолами, читайте стихи Пушкина и не мечтайте скорее его отбросить, чтобы ограничиться Иоанном Лествичником... но *бумаги мне не хватило*... **геном** хотя и передает *наследственные родовые черты*, но в геноме не содержится **личность народа**. *Отдельный человек*, являющийся сам целым миром, источником *личного начала*, содержащий в себе *и пол и характер и народ*, увы, тоже не сохраняется в геноме («Отцы и дети» Тургенева), а народ – не только собрание даже незаурядных личностей, у него есть собственная судьба и характер... но через каких своих представителей он передает свою судьбу и характер будущим поколениям? Читайте мои книги – и мир изменится к лучшему (как и я). А теперь на время отдохнем друг от друга...



ДЕВИЧИЙ АЛЬБОМ
НАЧАЛА ВЕКА



**ТРИ
ТОВАРИЦА**

1. Серебряный век.

13 ноября 18, около полуночи. Но рано еще отдыхать. Только что вернулся с Представления, на котором показывались результаты Конкурса, посвященного Серебряному веку Русской Поэзии, Литературы, Философии, Искусства. Окончательно расширилось понятие, обнимающее собою вначале преимущественно Поэзию первой четверти двадцатого столетия, до смерти Есенина, и в этом частном значении так мы его и продолжим понимать, и так оно соединяется и отчасти противостоит Золотому веку русской Поэзии. Но в расширительном смысле отныне будем включать в Серебряный век прежде литературы и философии живопись и музыку, Стравинского и Кандинского, Рериха, Врубеля, Шаляпина, Плевицкую, Рахманинова, Скрябина, Бенуа, Кустодиева, Бакста, Коровина, Серебрякову, Малевича, Филонова, Дмитрия Смирнова и Собинова, Дягилева, Билибина, Петрова-Водкина, Артура Фонвизина – даже великих всех перечислить невозможно. Серебряный век в искусстве следует оборвать тридцатыми годами, когда умер Малевич, сосланы были многие художники авангарда, оставшиеся в СССР, умер Филонов от голода в 1942 году (хотя моя любимая Зинаида Серебрякова-Лансере умерла в 1967 году и тогда же на помойке я отыскал ее гимназический альбом с первыми акварелями ее и ее сестры). Давайте поставим некоторые ограничительные знаки, определяющие органические истоки искусства, и если Вертинский душой и сердцем принадлежит Серебряному веку, то относить ли к той же эпохе Лемешева и Печковского, Лидию Русланову, Изабеллу Юрьеву, Козина и Лещенко? Водоразделом является Русская революция и Исход интеллигенции на Запад, поэтому к ней относятся те, кто сформировался в России перед Революцией или в Гражданскую войну и в эмиграции в первые годы после нее. Но даже относить ли к Серебряному веку Набокова? *Историк культуры несет ответственность перед философией истории и культуры бо́льшую, чем художник, и должен быть точнее его.*

Музыка Серебряного века заканчивается смертью трех несравненных мировых гениев, Шаляпина, Рахманинова, Дмитрия Смирнова (Герман, Ленский, Самозванец, Вертер, Герцог, Ромео, Хозе, Лоэнгрин, Фауст ...)

В начале был представлен изумительный вокально-хореографический спектакль на рекламные стихи Маяковского и революционную музыку 20-х годов в сопровождении картин-икон-плакатов Малевича. Выступавшие лауреаты клялись в любви Серебряному веку и всей русской культуре, но один из лауреатов устроил дебош, изгоняя красочный греховный вертеп из христианского храма искусства, по этому поводу выступал и я, защищая искусство от богословского мракобесия: Разве Христос не сказал не единожды, что он пришел не к праведникам, а к грешникам? И если эти юные очаровашки грешницы, то где-то в зале непременно Христос, пришедший сегодня прежде к ним, а потом и к нам (сначала я даже хотел сказать, что, возможно, это поручено мне). Затем я рассказал, что только что слушал Парсифаль Вагнера, и самой выдающейся сценой было там не удавленное

искушение Парсифаля прекрасными девушками-цветами из Волшебного сада, но девушек-грешниц Рыцарь тоже обязался спасти.

Неожиданно вспомнилась строка Лермонтова, гонимого некоторыми христианскими историками культуры: "...из пламя и света рожденное слово" – отныне эта строка будет символом русской поэзии.

Уже по дороге домой я размышлял о том, что такое *исторические события всемирного значения*, относятся ли к ним деяния народов и их вождей, войны, революции, завоевания, поражения и победы, возникновение и крушения империй? И как соотносятся с ними события *микроскопические*, например то, что Лермонтов на подоконнике дома на набережной Мойки в Петербурге написал эту строку о слове (которую критик Краевский вначале велел *исправить*), или слова Пушкина "*Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье!*", а Одоевский ему ответил "*из искры возгорится пламя*", или рождение младенца в хлеву Вифлеема две тысячи с небольшим лет назад, что определило содержание будущей европейской истории больше, чем даже создание и падение Римской империи? Кто и что плетет **ткань бытия**: император вместе с народом, входя в разрушенные города, или поэт, произносящий свои стихи перед несколькими слушателями? Иисус Навин, при помощи Вседержителя (или Демона?) уничтожающий города вместе с младенцами-инородцами; царь Ирод, повелевший даже родных иудейских всех уничтожить, и спасся один, бежавший с семьей в Египет; Цезарь, Август, Траян; Людовик-Солнце, возгласивший: "Франция – это Я!" – или Пифагор с его пифагорейскими треугольниками и «Числами», лежащими в основании мира; Фалес, создатель Науки и Философии как *способа говорить и мыслить*, первый из **семи мудрецов света** (египетский фараон – имени его не сохранила история – повелел его казнить за столь вопиющую дерзость противопоставить себя египетским богам, жрецам и фараонам. Фалес ему возразил: «Твои мудрецы не знают высоты пирамиды Хеопса, ибо никто из них ее не мог измерить – а я могу. Разве это не доказывает мое превосходство?» Они как раз и шли мимо пирамиды, причем Фалес опирался на посох. Он измерил длину тени, которую отбрасывал посох и длину посоха, тогда высота пирамиды была во столько раз больше его тени, во сколько раз посох был выше своей тени. Если солнце стояло над горизонтов под углом в 45 градусов, то вычисления были проще, и высота пирамиды равнялась длине его тени.); Гипатия, изобретшая астролябию, за что ее растерзали "христианские мудрецы" под предводительством своего епископа (одного из самых почитаемых, имени его не хранит моя память; Коперник, объяснивший нам устройство мира вопреки «Священному Писанию», великий Ньютон, заключивший в математический абсолютный закон силу земного и небесного притяжения (*притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния между телами*))....

Мы живем в мире, к созданию которого народы и цари имеют косвенное отношение, содержание нашей жизни определяется наукой, культурой, философией, цари их пытаются уничтожить, народы же требуют *вместо них* хлеба и зрелищ (но и эти обязаны собою прежде науке, изобретшей колесо и мотыгу, потом уж труду, а меч предводителей сеет лишь разрушение).

2. Благословенная юность.

14 ноября 18, полдень. Шестьдесят лет назад, в 60-м году, Саша Михайлов, живший на соседней улице, пришел к нам в общежитие на танцы, девушка его сначала сгоряча отвергла, моя подруга взялась их помирить, так я с ним познакомился, и мы пошли слушать стихи, а заодно «с горя выпить» к рабочему поэту, жившему рядом в *общежитии для отвергнутых* (не поступивших в университет), Саше Бусову, сыну стряпухи и генералиссимуса (так она ему призналась перед смертью, да и добротный дом, выстроенный для нее на Валдае, и внешнее сходство косвенно подтверждали сие утверждение). С Сашей Бусовым я разошелся через пять лет (хотя и до сих пор считаю себя образцом верности в дружбе), но оба Саши не порывали дружбы до начала девяностых, когда Михайлов уже навещал сына генералиссимуса в больнице для бедных, а потом нашел его могилу на каком-то пустырном кладбище, куда его свалили после скорострительной смерти.

«Я по Невскому плыву глазами по людским глазам, далеко впереди светится Московский вокзал...»

«В эту ночь железные тучи Перемелют луну на сажу, И художник мохнатой кистью Дворы и дома замажет.»

«Никогда я один не бываю, Мне спокойной не знать тишины. Даже в час, когда я засыпаю, Надо мной раскрываются сны.»

В 2012-м в 7-м номере альманаха «Русские страницы» я опубликовал воспоминания Саши Михайлова о Бусове и дневник за 1998 год: Кончается он так: «На его могиле я больше не бывал. Теперь-то она уж точно стёрта с лица земли, как и вся его грешная пьяная жизнь, которой он не дорожил, хорошо понимая ее призрачность, что не в ней его суть, что настоящий он только в своих стихах.»

Что от того прошлого сохранилось? Стихи Саши Михайлова, его письма ко мне, одно я позже напечатал, об обреченности России на своих поэтов и поэтов на Россию (в частности речь шла о Есенине и Маяковском), мы друг другу суждены как влюбившийся когда-то страстно в разгульную женщину жених обречен на ее беспутную жизнь (так и Розанов и Достоевский были обречены на Полину, и она им дала особую мистическую струю их творчества, не всегда они ее могли ценить, увы, она ведь не была потаскухой, она тоже *«межзвездный скиталец»*, по выражению Джека Лондона.

3. Повзрослев

Теперь я понимаю, что верность моя односторонняя, не совсем жизненная, я их всех, моих друзей, стремлюсь запечатлеть, напечатать, сохранить для памяти, **я мостик**, по которому они уходят в вечность, и мертвые и живые, воспоминания я напечатал и о Юрии Борисовиче, и о Казимире, и посмертную повесть Измайловского, перепечатал старые рассказы Гарнина, когда он умер (которого печатал еще раньше), стараюсь печатать и здравствующих, к счастью, моих товарищей, вместе с своими опытами. Но их **вечность** – это моя миссия, поручение мне, которое я исполняю, наше общее письмо в середину 21-го века, когда воскреснет Россия. А сегодня, издавая Новый русский журнал, я ощущаю себя своего рода *Станционным смотри-*

телем, на постоянный двор которого залетают певчие птицы – писатели и поэты. Я не делаю между ними большого различия, не указываю, как писать, принимаю всех. Может быть я даже Смотрящий тюремной камеры (чего и в страшном сне не мог видеть), в которую нас загнала русская жизнь.

В девяностые годы возобновилась моя дружба с Сашей Михайловым после тридцатилетнего перерыва, я его много печатал, он обо мне писал – **единственный** (кроме нескольких строчек Сергея Залыгина), но самое главное – наши встречи вдвоем на пустыре у метро около его дома, где мы на бетонном постаменте расстилали тряпочку, выкладывали квашеную капусту, горячую картошку, кильку, бутылочку... иногда навевались менты... но хотя я их не люблю, меня они почему-то любят, после нескольких минут уважительного разговора они оставляли нас наедине, иногда даже приглаждали, чтобы никто нас не обидел. Так встречались мы десять лет. Но с 95-го кроме этих встреч *на двоих* появились и встречи *на троих* с Володей Б---м, и так как по-русски как-то естественнее *дружба троим* (в отличие от любви, где хотя бывает всякое, особенно с русскими поэтами Серебряного века, не являющимися образцом христианского благочестия), но с языческой природной любовью – самой греховной – и с русской дружбой – безгрешной – все в высшей степени идеально!

Саша Михайлов умер в 2012 году, друзьям я сказал так: ну, держитесь, негодники! Если кто вздумает умереть – убью! (старая шутка, конечно, но большинство запугать мне удалось).

С девяностых годов в нашей компании подвизался Витя Гарнин, который, как и Алексеев, любил звонить мне, выпивши, по ночам, и тот и другой мне звонили, чтобы сказать, что я – *благо-род-ней-ший человек!!!* Я конечно, соглашался, но негодовал. На троих дружбы у нас не получилось, они подрались, а вот Володя Б---тов с Гарниным сошелся легко, к тому же это я у них был третьим, они были дружны еще с университета, как я с Михайловым. Несколько лет наша текучая *троица* существовала за столом у Вити Гарнина, но в один ненастный день Витя дал слабину, и Ю. С. (*из наших* тоже), да и *из моих*) отвез его пепел на родную Кубань. (Излишне, наверное, говорить, что и С. и Б. печатались в нашем альманахе «Русские страницы», и по этому поводу командир нашего "флотского экипажа" мне выговаривал, что я, сволочь, забрал у «Союза писателей» всех гениев для собственного тщеславия (с Николаем Тропниковым я пил сначала вместе с Степановым, а когда Толя Степанов *завязал*, мы пили вдвоем, потом троим вместе с Гарниным, теперь не пили уже года два, и я чувствую, что нам обоим как-то уже из-за этого нехорошо на душе, и хотя я пить бросил, но с старым товарищем выпить все же по капельке надо). Чтобы не подумали, что я пьяница, сообщаю, что с Чубковым я пил только в компании, вдвоем мы не выпивали, а с Олегом Григорьевым (как и со многими другими) я не пил ни разу, один только раз дал ему на бутылку, он меня за это нарисовал (но сохранился ли этот рисунок, я не знаю). (Да, вспомнил, и с *Геннадием Григорьевым* я тоже не пил, хотя Геннадий прекрасный Поэт, пять лет назад искал в Интернете Олега, наткнулся на Геннадия, и он захватил меня в свою *межзвездную пыль*).

4. Наши дни

Но возвращаюсь к Володе Б., он ведь обо мне напечатал большую статью в связи с тем, что я издал к столетию Сергея Есенина в 95-м году книгу «Шел Господь пытаться людей в любви», тиражом по тогдашним временам неслыханным, 12 с половиной тысяч экземпляров и в село Константиново привез целый грузовик как раз на Праздник, мы открыли борта и кликнули, что книга дается в подарок, и несмотря на проливной дождь, народ ринулся ее расхватывать – сегодня не станут расхватывать, даже если давать им по ложке меда. Ах, как мы пили в ту декабрьскую ночь, когда в Таврическом саду открыли ему белоснежный памятник, сидя прямо у Сережиных ног, Саша Михайлов, Володя и я! И вот теперь этим летом Володя завел меня куда-то (не скажу куда) в нашем писательском доме и мы пили только вдвоем, я как раз его напечатал и дал ему номер журнала – нет, не в тщеславном восторге дело, я готов открыть хоть еще один новейший журнал даже с мечом или пушкой, но только бы мы не исчезали без спроса по *«дороге не скажу куда»*... Я призван – просто быть стационарным зрителем на писательских тропинках и пытаться соединить в единое целое талантливых певчих птиц.

На днях открывается Культурный форум. Так как судьбу человечества ткут то огрубевшие от работы старушечьи пальцы, то вдохновенные грезы поэтов, то что остается царям и подвластным им человеческим толпам? Кажущееся величие, от которого в истории очень часто остается один только пепел. Даже имена величайших завоевателей мира мы не помним, а Гомера, Овидия, Сервантеса (создателя образа Дон-Кихота), Данте и Микель-Анджело, Бетховена и Вагнера знают все и будут помнить всегда.

На форуме не скажут, что потерял Петербург, у которого, как у человека в старости, ослабели зрение и слух, потемнели перламутровые зубы, поредели волосы – а сколько отрезано от него его живой плоти, в угоду бездарным чиновникам, правителям и богатеям! Что приобрёл Петербург? Надстроенные над прекрасными домами уродливые мансарды, на взморье выросший зуб бабы-Яги – ежегодно так называемые деятели культуры во всем мире говорят о развитии культуры и образования, но результатами их разговоров является умножение зла, снижение уровня образования, превращение театра в балаган, уничтожение книжной культуры. Истрачены миллионы долларов на встречи и пустопорожние речи, которые через мгновение не вспомнит даже говорящий, а то, что печатается в нашем журнале пусть пока в семи экземплярах, будут изучать школьники и через сто лет, и историки придумают термин, описывающий метафорически наш подвиг: ведь мы противостояем всеобщему культурному разложению и оскудению, а нас даже не триста спартанцев, нас значительно меньше. Пусть бы форумчане постановили: один из запланированных дней речевой баланды заменить на пешие прогулки по городу, питаясь хлебом и водой из-под крана (я не изверг, даже в мечтах не заставляю их пить воду из Невы), а сэкономленные деньги отдать Серебряному голубю и Журналу с топором! Впрочем, по мнению Володи Меньшикова в учебниках словесности для новейших русских школьников именно так и напишут как новый русский Миф, а в Пушкинском доме повесят наш Топор.

4. Поэзия

Саша Михайлов родился в 1937 году, я печатал и его стихи и жемчужину его прозы, очерк «Окрест Вселукской церкви» в журнале МѢра в 1993 году, и затем в «Русских страницах» стихи и воспоминания; умер он девять лет назад, в июне 2009 года. Но только совсем недавно родственники пригласили нас, группу литераторов, помочь в разборке оставшейся после него библиотеки. Как же я поразился (хотя и понимая, что иначе и не могло быть), что все авторы, соединившиеся в нашем НРЖ (и еще раньше, на просторанстве «Русских страниц») оказались в его книжном собрании с авторскими надписями, и с просьбами высказаться о качестве напечатанного. Там оказались наши девушки Мария и Маргарита, и новеллы Галины Дюмонд еще 1993 года (тут же прочел одну, как сильно и выразительно, даже слезы навернулись), и живой классик Николай Тропников, как говорит В. Меньшиков, сам грозящий вскоре в него превратиться, конечно, здесь же сборник его собственных стихов еще 1991 года, напечатанный в Волкове, где он еще мальчишка, (*Раскол: У моста не замерзла вода, Линия замерзания... картина: Белое пианино льда И воды черное пианино ...*) и Володя Алексеев, и Николай Астафьев, и книжечка стихов Саши Брусова, которую я напечатал на печатной машинке в 1965 году на 16 страницах, и три сборника стихов нашего капитана Бориса Орлова.

Я перелистал все найденные книги, в том числе и книги капитана, о котором грозился написать еще несколько лет назад, но железная рука времени стискивала мои пальцы (хорошо хоть, не горло) – а вы думаете, что я сегодня блаженствую, когда мне не надо утром спешить к станку по заводскому гудку и вечером стоять в магазинной очереди? Увы, время сжимается все сильнее и все плотнее сжимает и меня в своих немилосердных объятиях. Времени много у тех, кто уже не надеется изменить мир и «начинает с себя» – им спешить некуда.

Вторая книга стихов «Избранная лирика», 1996 г, стихи 1971 – 1975.

Книга надписана: *Александру Ивановичу Михайлову, светилу русского литературоведения – с уважением. Подпись. Июнь 1997г.*

Отыскивая абсолютные критерии в эстетике, этике и логике (об этом я уже пишу, но впереди еще неизмеримо много труда), я сформулировал Тезис, что и восприятие поэзии и восприятие музыки хотя и субъективны, но отражают в *образе* не искаженный пристрастиями *прообраз*, и вовсе не «что кому нравится», а нравится именно то и так, как задумано автором и той *тканью бытия*, которую он изображает, и *тем миром*, в котором встречаются автор и читатель. Доказательство этого тезиса я в следующих номерах журнала представляю, а пока попытаюсь его испытать на стихах Бориса Орлова.

Открываю предыдущий сборник с пометками Александра Ивановича, он тоже подписан, июнь 1996 г., от автора *просьба прочитать эту книгу*, в просьбе подразумевается и желание получить о ней отзыв. Так как я считаю себя отчасти литературным наследником Александра Ивановича, тем более что он был старше меня на пять лет, я внимательно прочитал стихи, в одном случае есть карандашное примечание, другие стихи просто помечены. Не знаю, написал ли Саша отзыв, но я обязан его написать вместо Саши.

5. *Хороший русский поэт!*

Увы, мы мало внимательны друг к другу, и я не лучше других, слишком много времени мы тратим на самолюбование, глядя в зеркало, слишком долго «начинаем с себя». Надо читать гораздо больше, пусть хоть весь мир сойдет с ума и перестанет читать, надо читать и в трамвае и в метро, и утром, и вечером и ночью, и не всевозможную развлекающую муть, а читать стихи Ашурбанипала, Овидия, Пушкина, Вячеслава Овсянникова, Володи Меньшикова, Астафьева, Ахматова, Геннадия Григорьева, Аполлона Григорьева, Лермонтова, Эдгара По, Всеволода Иванова, Г. Н. Ионина, Галины Дюмонд, Бориса Орлова – это все замечательные русские поэты, некоторым только не повезло, они родились не в России... Каждое слово, которое я высказываю в силлогизме математической теоремы, относящейся к поэзии, необходимо доказать, и я могу это сделать. Всего три коротких слова: поэт, русский, хороший. (не буду будить спящих собак. Многие стихи перечисленных поэтов – всех – вызывают во мне восторг, и так и хочется воскликнуть: гениально! – но я хочу, чтобы меня правильно понимали: гениальных стихов в русской поэзии неизмеримое множество, это великая поэзия великого народа, но гениальный поэт не только пишет гениальные стихи, но и намечает пути истории, *поворачивая историю с помощью слова*. Пока этот подвиг еще не в действительности, но в намерении уже совершен: Золотым веком русской поэзии (11 гениальных поэтов), Восстанием декабристов (300 человек, **все** почти безупречны, но вместе свершили подвиг), Серебряным веком русской литературы (17 человек высочайшего полета), неизвестным числом литераторов и философов Нашего времени (включая одного математика). Поэтому пока словом «гениально» я буду пользоваться скупой, моя задача просто подтвердить справедливость того или иного утверждения. Я ведь и о себе спрашиваю: *Поэт ли я? Боюсь, что не поэт...* (Пусть с помощью моего математического метода на этот вопрос ответит кто-нибудь из тех, кто меня с трудом переносит, тогда я буду уверен, что он ответит на него справедливо).

Итак, сборник стихов «Диалог с творцом». По воле судьбы книга оказалась у А.И., затем у меня, и можно предположить, что теперь это диалог с Александром Ивановичем и мною и мы выступаем вместо Бога.

Итак, *Поэт ли Борис Александрович?*

Посмотри, как снежинки кипят
Над землей – словно ведьмино зелье!
Тонет выводок мерзлых опять
В снежной луже под степенной елью. [Выделено А.И.]

Снегопад, словно роща берез,
Пестр на фоне речного пространства.
Снял посмертную маску мороз
С ноября. Горек воздух славянства.

Следующее утверждение (слово), которое надо защитить: *русский*. Из отмеченных Александром Ивановичем стихов подходит к оправданию и одно и другое, но есть те, которые мне кажутся сильнее, их я приведу тоже.

В империи жить спокойно,
 В ней ветер по правилам дует.
 Обходят империю войны,
 И чернь меж собой не враждует.
 Тверды как базальт законы.
 Устойчиво всё. И мнение
 Одно на страну. У трона
 Толпится народ в смиренье.
 Хватает еды и зрелищ
 Для всех. И тепло и сухо.
 А если не дело мелешь,
 Охранники с тонким слухом.
 Хоть взятки берут, но в меру,
 С почтением и опаской.
 И кое кого к расстрелу
 Осудят другим в острастку.
 Без денег живут достойно,
 Но трудно прожить без блага.
 В империи все спокойно:
 Один в ней бандит – император!

Для оправдания третьего тезиса – **превосходный** – приведу два стихотворения, сообразуясь уже со своими собственными пристрастиями, хотя и те стихи, которые отметил А. И., хороши тоже.

Подлость. Раскол. Суета.
 Мы на груди сберегли
 То ли цепочку креста,
 То ли обрывок петли.
 Спилим кладбищенский лес
 И обречем за раскол
 Может, березовый крест,
 Может, осиновый кол.

Я думаю, что тезисы доказаны. Но есть хорошие стихи, в которых превосходны отдельные строки, а другие чуть тяжелее, не дают стиху взлететь в небеса. Например:, разве не превосходны такие строки?

Ах, Россия! Ты – зеркало Бога.

Но в тебя Бог давно не смотрел

Или: *Из девятнадцатого века дождь недоношенный идет.*

Или: *Ей мал венец. Зато просторен нимб.* [о России; правда, я задумался и со всей своей математикой до конца понимаю не всё].

Или еще это, уже не для доказательств: «Два стола. Сюда на минутку мы зашли, чтоб выпить ликера. За одним столом проститутки, за вторым столом сутенеры. Но ликера нет, только водка. Мы стоим и пьем водку сами. И для этих мы не находка. И для тех – *увы!* – не с деньгами.»

... Я не раз убеждался, как часто пишу **не сам**. Не буду ссылаться на Бога, поминая его всуе, и девальвируя его чрезмерными соединениями с судьбами нас, смертных (ибо хоть он и *вездесущ*, но не столь мы значительны, чтобы ему ради нас постоянно прерываться от дел по удержанию мира, как ради евреев в библейском сказании об Иисусе Навине останавливал он солнце и луну и бросал с неба камни, поражая врагов – чем меня вовсе не умилили, а привел в негодование!) – но в и в наших судьбах, смертных поэтов, присутствует нечто более значительное, чем личное, сиюминутное, обыденное, «перед обедом или после обеда», *просто человеческое* – нет, и в наших судьбах присутствует нечто *всеобщее, всемирное, надмирное*, даже и то «распятие мира», отзвук которого мы слышим в судьбе Иисуса из Назарета, богохульника по мнению евреев (это их мнение не подпадает под статьи российского уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих, ибо защищено двухтысячелетней борьбой европейского человечества и мучеников его *за свободу совести* – или мы уже вернулись в средневековье и в его костры Инквизиции? Тогда я швырну свое звание русского поэта к ногам и просвещенного и непросвещенного человечества, европейского или азийского, радостно веруйте в своего бога, неотличимого от Суллы и Нерона, умиляйтесь стихам воцерковленных поэтов, но без Пушкина, Лермонтова, Маяковского и меня, без золотого и серебряного веков русской поэзии... но, впрочем, стоит ли сейчас пылать негодованием из-за тех нескольких «праведников», которые *святее самого Папы Римского!*)... итак, Иисус из Назарета богохульник по мнению по крайней мере древних евреев и мученик (по моему мнению) вследствие того, что **«мир распят на кресте» вместе самыми достойными из его детей.**

На предыдущей странице я поставил *многоточие*, и вот – случай ли, причинная связь событий, напоминание небес (а небеса нам каждый день напоминают о себе) – но вдруг на глаза попались строки и из другого сборника Бориса Орлова «Надо мною лишь вечер и Бог», и я читаю:

Друг мой! Небесный мой брат...

Где же ты? Шелест берез.

Холмик. Кладбищенский сад.

Игрище птиц и стрекоз.

Майская синяя высь.

Белой черемухи ветвь.

Я тебя младше на жизнь.

Ты меня старше на смерть.

Кроме русского поэта Эдгара По (а я однажды изумился тому, что американский профессор литературы в разговоре со мною спросил: «Эдгар ПО? А когда он жил? Что-то я не помню такого поэта...») Ребята! Не надо воевать с американцами. Они недостойны этого – если они таковы, как этот их профессор словесности) – есть еще замечательные поэты, которых я считаю *русскими* именно потому, что в России их помнят и любят независимо от их происхождения – и если мы их любим, значит, они уже обрусели... и русские поэты тем более те, которые пишут по русски и любят Россию... ну, конечно, и "любят ее талантливо". Мне удивительно повезло. У меня много друзей, и хотя бы по одному гениальному стихотворению каждый из них написал.

И «мой первый друг, мой друг бесценный» К., виленский поляк, профессор-астроном, воспевший «Альбертину», родным языком которого были и русский и польский, знавший наизусть всего Мицкевича, земляк Радзивила, сохранившего для русских знаменитую летопись; и Леонид Измайловский, из русского купеческого рода Алексеевых (из которого произошел Станиславский) по матери и еврей по отцу, расстрелянному еще до его рождения: как мне его не вспомнить сегодня, когда я пишу о *трех товарищах*, и когда меня посадили в 2004-м году в тюрьму за то, что я издал Радзивиловскую Летопись, он подписал Письмо в мою защиту и издал номер Альманаха «Зеленая ветка» с хвалебными статьями про меня, и я раздавал эту *ветку* охранникам и заключенным, и они ею меня за это любовно омахивали, а я издал его посмертные воспоминания об отце, которого он не видел. В нашу **Троицу** входили еще, как я уже говорил, и Саша Брусов, и Пушкинский Дом, с которым я поспорил (и выспорил), что «*Дух дышит где хочет*», и Витя Гарнин, и Володя Алексеев, и Толя Степанов, и Шумовский, которого я печатал в МЪре; надеюсь, что по-прежнему входят и те, кто то входит то выходит, как один из яростных защитников русского языка, написавший поэму о любви (я ее печатал и даже плакал над нею), «идущий ныне по капиталистическому пути», но от этого не утеревший моих симпатий; и прекрасный прозаик Л--ев, не Константин, уверенный, что я хороший человек потому, что у меня жена хорошая (и я с ним согласен!), и входит, несомненно, Константин (не Леонтьев), художник и писатель (жена моя именно в эту минуту вошла с его книгой и начала рассказывать, как была на его выставке в Смольном соборе и видела всполохи красок на холстах) – познакомил нас Саша Михайлов, и хотя боюсь, что репутацию свою я окончательно уроню, но в тот благословенный день мы распили бутылку на троих на подоконнике Дома ученых на набережной Невы, а позже все Троицы, о которых я поминаю, собрались в его мастерской и среди картин и икон и старинных самоваров мы закусывали горячей картошкой и Клюев с живописного портрета на нас укоризненно смотрел, а Николай Рубцов смотрел снисходительно – эти портреты теперь в музеях Клюева и Рубцова.) Если и в наших судьбах и в наших стихах присутствует *всеобщее, всемирное, надмирное*, и даже то «распятие мира», отзвук которого мы слышим в судьбах избранных из нас, то спор о *абсолютных критериях в эстетике, этике и логике* бессмыслен, не надо возражать тем, кто думает, что ничто не занимает *присущего ему по достоинству его места в мире*, а куда обыватель захочет, туда его и поставит – он ведь должен сначала **услышать** и **увидеть**, что именно он говорит. Он должен знать про "*дифференциал и интеграл Истории*", а тогда ему станет ведом и дифференциал и интеграл Поэзии (хотя и в уста младенца влагается нередко истина). Но... если бы мы были живы одними критериями, «скучно бы стало на этом свете, господа» – нет, *мы живы любовью и товариществом, семьей, родом и народом*. «Капают желтые листья в лужи с промокших берез... Деревня пасется как стадо коров на речном берегу... Уполномоченный Господа Бога в *темной* России поэт... Страна была большой общагой, да перестроили в тюрьму... *Чего душа боится? Смерти? Или бессмертья?*» Много хороших стихов, и жизнь хороша, но стало вдруг больно. «*Коротка память. Нехота сын или дочь о тебе вспомнят... Не радуйтесь. Я не уйду от вас. Не умру под забором. Мне нечего делать в аду. А в рай меня пустят не скоро.*» Захотелось без спросу войти и спросить: *Чем я могу помочь?*

Меньшиков Владимир Петрович

СЕЛО - ГОРОДОК



Владимир Меньшиков родился в д. Кеврола Пинежского района Архангельской области 8 сент. 1953 года. Работал в лесостроительной экспедиции, служил в СА, закончил Ленинградский пединститут им. Герцена, факультет истории. Живет в Петербурге. Член СП России с 1993 года.

Автор поэтических книг «Оккультная оккупация», «Звероисповедание», «Гармонь снопа», «Стихотворения», «ГОЭЛРО горла», «В начале тысячелетия», «Русский простор», «Прорыв», «Приладожье», «Груд и пруд». Печатался в журналах, награжден юбилейной Есенинской медалью. Лауреат литературных премий России (1997) и (2002).

Ранние сборники стихов: Волхв, 1996; Незащищенные, 1991;

Ни город, ни село

Что ж по нашей да по вашей реченьке,
По районной, рыбной – грусть да рябь?
Ни одной не раздаётся песенки.
Зябь.

С этим населенным пунктом пуганка:
Городок ль, село ль с недавних пор?
Разрешить не может даже «Путинка»
Местный административный спор.

А она разлита в трубы фабрики,
В трубы ферм и в трубы тракторов.
Всё молчит. Даже пичуги-зяблики
Не поют с ветвей ли, с кучи дров.

Все пейзажи словно околовдваны.
Всё заковано. Вода в тоске.
Помнится, что были нарисованы
Лица и фигурки на песке.

Те рисунки сделал острой тычкою
Школьник Дмитрий, белобрыс и мал.
Позже было спето скорбной птичкою,
Что на тычку гибельно упал.

Не о нем ли, новеньком Царевиче,
Как несбывшейся мечте Руси,
Слезоньки мужицкие и девичьи,
Как последки капали в ...труссы?

Это правда, хоть и не без пошлости,
Про трусы или о трусах-нас.
Можете большие штраф и пошлины
С литератора содрать сейчас.

Ну нахал, ну дал, хотя ни рюмочки
Не принял в прокуренной пивной,
Да об угол надмогильной тумбочки
Бить меня близ церкви головой.

Столько нынче развелось Лжедмитриев!
Сам себе стучал вождистски в грудь!
Только мои лозунги нехитрые
Про языческий провальный путь.

Скучно. Мужички не очарованы
Красотой излук и берегов.
Ивы гру́сны, деморализованы,
Словно под прицелами врагов.

Словно здесь появятся на катере
С пулеметом и с запасом лент
И по ивам... к черту всё и к матери
Изничтожат, истребят в момент.

Враз порубят эти ивы пулями,
Травы и цветы потопчут тут.
Что потом бросаться в речку стульями,
Гневаясь, ведь стулья уплывут.

Предстоит, сопя, нырять, вылавливать,
Хоть такое действие на́ хрен мне,
В клуб везти их, снова восстанавливать
Пошатнувшееся реноме.

Антипропаганда

Вновь июнь! Вновь кричанье воронье с болота.
Одичанье в стране! Ну и пусть, ну и пусть...
Почему-то людей выводить не охота
На культурный
и лжепросветительский путь.

Потому что, к примеру, в отделах культуры
Волостных и столичных, а так же... везде
На хороших окладах неглупые дуры,
Что готовы служить Синагоге, Орде.

Село-городок

За вокзалом земля от мазуга зудилась,
Потому-то ходил взад-вперед тепловоз,
А когда зуд-часотка совсем прекратилась,
Тепловоз в даль колеса со стуком унес.

Но на смену ему, близ платформы шатаясь,
Появился верзила – поддатый герой
И, окурок швырнув, прогорланил: «Ша, Тая!»,
А, помедля, добавил словечко «Открой».

Что открыть? Коль лицо, так она не шахидка.
Может, вспомнил про ночь и закрытую дверь?
Но такого встречать у калитки в накидке,
Как в фантазию лучшего вида не верь.

Да, к таким выходить, хоть с ружьем, хоть с гранатой!
Потому что он пьяный – почти что шахид.
Пусть продолжит романчик с пивбочкой пузатой,
И пойдут закидоны, а кратко «закид»,
А в отключке в обнимку пусть с оною спит...

Вот другой мужичонка, зовут Митя-митинг,
Где появится, сразу же митинг идет,
Сельский шопинг дополнили троллинг и «мытинг»,
Чтобы в церкви отмыть русский грешный народ.

Юбки возле реки, как летучие мыши,
Майки – белые чайки, упавшие ниц.
Пальцем рот перекроешь и вымолвишь: «Тише,
Тут песчаное кладбище тряпочных птиц».

За рекой ЖБИ – цех железо-бетона,
А еще Жили-Были в селе-городке
Люди не возмущенья, не мщенья, а стона,
Что топили печали в «чаях» и в пивке.

Пережитки ленинизма

Красивы над Россией небеса.
Ладони-птицы там рукоплещают.
Внизу демократически леса
Своих и не своих всех пропускают.

Любой ходок развалится в траве,
Любая иностранка облегчится...
Как лыбятся в ток-шоу на ТВ
Россию ненавидящие лица...

Внедряются, заходят в красоту,
Нестрашные в начале пилигримы.
Мне помнится, поскольку на спирту,
При стареньких генсеках пили грим мы.

Летят года. В крестьянские дворы
Другая жизнь влилась, другие песни.
А на мемориалах соцпоры
Есть обрушенья, чернота и плесень.

Скончался Хиль, заслуженный артист,
А Эдику почти что без усилия
Пришел на смену молодой солист,
Конечно, с иностранною фамилией.

У нас от этого всего невроз
С добавкою «невр-аз», «невр-азиатство».
Нет, не они, а мы для них навоз,
А вы мне тут втираете про братство.

Пейзаж равнинный делает массаж
Моим глазам, их, радуя, лелеет.
Всех нас и «нац», отбросив буржуаз-
ный эгоизм, мирить умел В. Ленин.

Постаревший

Не хотел быть воином стройбата,
А хотел в красавцы-моряки,
Кто в клешах, в тельняшках Центробалта
Шел на казаков, на их клинки.

Моряки, конечно, побеждали.
(Я за всех винишка накачу).
Постарел и ни в какие дали,
Ни в моря, ни в небо не хочу.

«На дороге - ленте нас, как мушек,
Поналипло, сдохло» – вносят в акт.
Отдохнуть бы, объявив не музык-
альный самому себе антракт.

Коль не указывает разводящий
Направления туда-сюда,
Сяду, тяжело вздохнув, на ящик,
Голову сложу: года-беда.

Командиром у меня лопата,
Скрипнет: «Встать!», и далее пойду.
Я не стал солдатиком стройбата,
Но сарайку возвожу в саду.

Около барака

Пел на подоконнике транзистор
Для различной голи-нищеты.
Исполняла группа «МистерТвистер»
Звонкие отпадные хиты.

Кто-то из бабенок покривлялся,
Даже вальсанул Валера-тролль,
Только не исполнить вроде вальса
Под такой забойный рокенрол.

Слишком громко музыканты пели,
И на мой транзистор «Альпинист»
Тявкнул Александр: «Задвинь «Альпенис...»,
Задолбал, затрахал этот твист».

Но осатанев от рокенрола,
Прокричал Витек по кличке Щуп:
«У меня есть дома радиола
И пластинки. Мигом притащу».

Было ясно всё с Андрюхой Щупом –
Этим шелудивым старичком:
С каждой станцевать, всех перещупать,
А с одной из них в траву ничком.

И вот к этой пьяненькой ватаге,
Танцевавшей русское танго,
Присоединились не стилиаги:
Юный Глеб и юная Марго.

Неужель для массовости, квоты
В танцах не хватало только их?
Но разулыбались идиоты,
Глядя на красивых, молодых.

– Но и мы такими тоже были,
А теперь волочимся едва...
«Мы любили, значит, нас любили» –
Вспомнились Есенина слова.

В танго молодое поколение
Двигалось всех чище, всех скромней,
Слезоньки печали, умиленья
Танцевала на щеке моей.

Красно-коричневая развалюха

Был в том зданье раньше сельсовет,
Но пошел под упразднение-вычет.
Он уже почти что тридцать лет
На людей не рббит, не фурычит.

Не звенят стаканы и графин,
Пропит флаг, а по словам Зоила
Или Самуила: «Здесь рафин-
ированно как-то все же было!».

О, еврей! Он сладость ощущал
В канцелярско-горьких соцпорядках.
Расшвырял демперестройки шквал
Документы по лесам и грядкам.

Ведь и здесь носили на руках
Славную деваху-перестройку.
Как учитель в школьных дневниках
Этой перестройке ставлю «гройку»
С минусом длиннющим, будто бы
Скорбная процессия к погосту.
Всё, увы, мы сдали без борьбы.
Коммунизм был людям не по росту?

Так вздымайся, трудовой народ
Сельского и городского «низа»,
До марксистско-ленинских высот –
Вровень со вселенским Коммунизмом!

Повышение

Повышают возраст пенсионный
И лишают денег мой народ,
Нарушая конституционный,
Утвержденный всеми нами свод.

Здесь сплошной разор, закабаленье,
А из кружки солнца льет зенит,
Насмехаясь, пиво на селенье,
И вонища жуткая стоит.

Нет, еще совсем не обвонялись,
Но, пожалуй, наступил предел.
Под хмельной оркестрик Петя Налич
Про наличные в Москве пропел.

О прибрежный камень билась ива
Кроной-серебристой головой.
Пенсия, ребята, не нажива,
Это нам за труд и возраст свой.

В разливухе паренек – под газом –
Покидал медальки (как рубли)
За «родную» Сирию с Кавказом,
Мол, туда все денежки ушли

Да на баб, на стройку стадионов
И на государственный бардак.
Здесь же, как меха аккордеонов,
Развалились избы и барак.

И звучит мелодия такая,
Что охота в омут с головой.
Только мы, себя же обрекая
На тюрьму, возвысим голос свой!

Вова, Дима, – гномы госверхушки,
Вам ль не знать через агентов дня,
Что порой на пенсию старушки
Кормится в деревне вся родня...

Одичание

Проживали – к бедняку бедняк –
Сталинско-хрущевские колхозники,
А теперь в районе порожняк,
Малолюдь, пыль да подорожники.

Правда, замечаются кой-где
Цветики такие – колокольчики.
Скоро в них звонить да бить к беде
Станут бойкие жучки – «доколь!чики».

Ничего, порядок наведем,
А пример диктатора брать *есть* с кого.
С Ленина хотя б... А то здесь днем
Жизнь идет развязано, гротесково.

Храм взлетает, а за ним коза
В небеса дождливые, померкшие.
Ходят молча, выпуча глаза,
Передовики труда умершие.

Всё летит в котел: и шпиг, и штык,
Шлем буденовский и бюст Гагарина.
От крутой похлебки всем кердык
Или только сытость да испарина?

На дверях к начальству, как горбун,
Ручка желтая. С усилием дергаю.
При подобной мистике гор.бунт
Перейдет в невиданную оргию.

Быстренько ж, березонька моя,
В наших волостях все скособочилось,
Но пришло письмишко из МАИН*,
Что не так когда-то всё пророчилось...

*МАИН – Московская академия
исторических наук

Отправки

За реку, где летний вид хорош,
Поглядел через окошко с дрожью.
Я ушел бы в полевою рожь,
Но теперь не засевают рожью.

Но зато сосед наш – демоплут,
Vip-ларечник, кто коттедж отгрохал,
Словно огородный, толстый шут
Возле бани насадил гороха.

И на упомянутой гряде,
Где растенья с метр, скакал паяцем.
Всё в селе, в России, да хоть где,
Дурику по задницу, по яйца.

Если б в гости заявился я,
Чтобы поскакать с такой затравки,
Он схватил за яйца бы меня,
Как орла за две клювастых главки.

А орел двуглавый – русский герб,
Имперский, державный украшает!
За подобный нравственный ущерб
Власть придурков пьяных не прощает?

Под арест!.. Я тут же подобрал
Купчику в компашку демократов,
Чтобы шли толпою на вокзал
Под стволами грозных автоматов.

Посчитает конвоир под ржач
Их вагон плацкартный сверхшикарным.
Если «плац» переменить на «плач»,
То им ехать в жалостном, в «плач-картном».

Так с дружками новый репрессант,
Взяв на фарт советский чемоданчик,
По «железке» устремится в Санкт,
А через «Кресты» – на «магаданчик».

Блуждающий революционер

Ходил к блондинкам и брюнеткам
На «оголёк» не за деньгу.
А постарев, на сайт к «Рунеткам»
Подняться с тросточкой могу.

Как вспомню трость, так сразу Троцкий
Мне представляется в пути.
Я с революцией по-флотски
Роман пытался завести.

Я с ней – 100-летней кокеткой –
На юбилее в том году
Потанцевал, а Ленин кепкой
Бил мух, летевших на еду.

Он с перекуса, с выпивона
Прочь революцию увез
И сделал правильно... Ведь вона,
Когда почти все при айфонах,
Какой безумный передоз.

Дымя вонючей папироской,
Стою близ дома, на лугу,
А кем являлся Лейба Троцкий
Вам скажут гуси: гу-гу-гу.

Он с революцией-кокеткой
Меня свести опять готов.
Я лучше заблужусь с брюнеткой
Среди березок и кустов.

Владимир Меньшиков. **РОКИРОВКА**
(Читая книгу Василия Чернышева «Исповедь пасынка века»)

В начале о самом писателе – из его же слов во вступительной части к незаурядному исповедальному фолианту:

«До десяти лет я жил в глухой деревушке, не видел электричества, паровоза, автомобиля, читал при свете лучины, потом при «коптилке», то есть керосиновой лампе без «стекла» (стеклянного футляра), закрывающего горящий фитиль, который без него коптил. В одиннадцать лет читал уже «Анну Каренину» Льва Толстого и безумные сочинения «вождя мирового пролетариата». Книг было мало, и все же, как ни удивительно, я сумел познакомиться с литературой довольно основательно – так иной грибок и в захудалом лесу набирает полную корзину.

Возможно, я был не более примечательный, чем другие, но люди вложили в меня свою душу, любовь, знания, умения, они меня взращивали как растение, и я развивался, и должен был сам стать необычным. Стал ли я в итоге действительно выдающейся личностью?

Я стал человеком, осознающим свою ответственность перед Россией и направляющим иногда свою духовную энергию для ее спасения.

В семь лет ночью Некто сказал, что мне предстоит великое будущее, *что я должен спасти Россию*, и с тех пор я жил не только как все, но и по другому, помня об этой моей миссии. Я знал, что мне нужно понять в мире то, что другим не удастся, и написать книги, в которых высказать свое особенное понимание о мире.

И с помощью своих книг я должен был подвигнуть свою Родину к преобразению и спасению.

Обо всем этом я уже, правда, писал, повторяюсь, чтобы внятнее сформулировать следующее: мне всю жизнь казалось, что я живу не сам по себе, а народ и Бог имеют обо мне некий Замысел.

Возможно, впрочем, что это не так, но все же от других граждан моей страны отличаюсь тем, что я еще не забыл, что **я русский**, и не покорялся преступной банде, завоевавшей мою Россию, и растлившей мой русский народ. И хотя все уже сдались и прекратили сопротивление (как русские), я еще не сдался, хотя надежды мои на победу безумны».

Отрывок, приведенный мной из начала «Исповеди», выглядит излишне громоздким, но он, как я полагаю, является абсолютно показательным, именовым, фирменным. Во-первых, сама книга представляет из себя труд внушительных размеров, поэтому и отрывок взят пропорционально крупный, во-вторых, в нем имеются важные биографические сведения, в – третьих, здесь обозначены главные и «лакомые» темы совершенно не залакированного философско-энциклопедического произведения: Россия, Бог, Народ, Революция и, конечно же, Дьявол. В-четвертых, по отрывку знакомимся с невероятно высокими и местами преувеличенно пафосными категориями и сопоставлениями, которыми апеллирует автор, а это Я и Мир, Я и Народ, Я и Бог и другие. В-пятых, по выделенному тексту можно судить о стилистике,

методу подачи (не всегда доверительному) материала и о литературном языке писателя. В-шестых, приплюсуем (или отминусуем) Любовь, и получится полный джентльменский, (нет, это не русское слово) патриотический набор достоинств и недостатков прозаика-исповедальщика.

Поскольку предложенный для ознакомления отрывок обозначен как один из начальных в книге, то достаточно громко сообщим, что книга завершена, хотя и не в заключительной редакции, напечатана небольшим, скажем даже, штучным тиражом, и для того, чтобы познакомиться с содержанием «Исповеди», с ее «исподним», вскоре выстроилась очередь читателей и очередишка, в которой каждый «горькая редиска», литературных обозревателей. Первым рискнул написать рецензию совсем не по-берложьи разворотливый и мобильный Александр Медведев, а за ним решил дерзнуть я. В своих характеристиках Александр почти не ошибается, не промахивается, не «мажет» ни маслом, ни критическими пулями, но и ему не удалось на вскидку дать однозначное и полное определение этому опусу. Не называть же его «опсом-мопсом», одновременно злобным и жалостливо хныкающим в чей-либо, а, может, и во всенародный ботинок. Можно было бы сразу обозначить Василия Ивановича как компьютерного бота, пообщаться с ним в духе технологических новаций и без оаций, но мы не стали так делать. Больше того, по ходу прочтения я тоже попробовал поупражняться в ремесле классифицирования, но меня, может быть, потому, что являюсь диванным атлетом и болельщиком, потянуло в сторону физической культуры, где имеется своя табель о рангах и подразделение на такие разновидности спорта, как «легкая атлетика» и «тяжелая атлетика». Как ни пыжился, не смог отнести «Исповедь» при всем уважении к талантливому автору ни к «тяжелой эпохальной романистике», ни к «тяжелой артиллерии». Но это и не легкое, такое августовско-отпускное чтение, развлекалово, что убедительно доказал Медведев в своей рецензии или неиспользованной в случае с Чернышевым лицензии на отстрел крупных, как Топтыгин, писателей.

Остановившись на выборе некоего среднего значения между «тяжелой атлетикой» и «легкой атлетикой», вдруг вспомнил еще «сталинские» состязания на всенародных стадионах под слова лозунговой песни «Эй, вратарь готовься к бою!» и сдачи зачетов по комплексу ГТО, куда включали в обязательном порядке и спортивную фабрично-казарменную дисциплину по метанию гранаты. Вот тогда-то, лихо воспользовавшись некоторыми ассоциациями и аналогиями, я решил назвать писателя Чернышева метателем гранат в свой народ (и в свой огород тоже), но гранат не настоящих, не боевых, а учебных.

Как военрук учил бросать гранату
Сосновую в незримого врага...

А чем метатель гранаты, спросим, хуже, агрессивнее или высокомернее писателя-прыгуна, который в желании преодолеть планку взлетает над согражданами, а потом вместе со сбитой планкой падает потной задницей в плотную народную массу? Имеются еще прыгуны в государственно-

территориальную длину и в российскую «ширину». Сразу определимся, что в руках Василия Ивановича побывало множество гранат даже не деревянных, а пустых или начиненных сладким насмешливым сиропчиком, компрометирующим компотиком или красками, как в пейнтболе. Если подобной осладительной или очернительной штуковиной в кого-то попали, заляпали, значит, тот репутационно «погиб», «сгинул» как человек. А если иметь в виду «грязевые» гранаты, то те, кого они испачкали, называются морально «замазанными», позорно мечеными, достойными негодования и даже презрения людьми.

«Получи, нашьт, гранату!».

Вроде у писателя Чернышева все разъяснено и отработано по-простому, все по-мужицки, а на самом деле, словно у либерально-демократической тусовочной аристократии, у демшизы, у союза правых сил – мол, если в стране царит «олигархический режим», а ты не выступаешь против него, то ты чернь, вата, быдло и как раз достоин того, чтобы тебя обливали нецензурной бранью, политическими помоями и забрасывали грязевыми гранатами. А сам-то кто Василий Иванович? Человек с нередкими проявлениями мании величия, философ-неадекват, гений-лапотник, герой незадачливых анекдотов, Петер-бургско-провинциальная чернь, и фамилия у него *Чернь*-нышев. Ишь, как злуще на простолюдинов взъелся, чище Гозмана или покойной Новодворской. И ведь об «тупом русском народе» талдычит на каждой десятой странице своей «Исповеди», хотя туг же и извиняется. Взахлеб любит и ненавидит русичей, точь-в-точь по Достоевскому. Еще в период коллективного редактирования этой рукописи на секции критики и литературоведения я буквально пальцем (считайте, что белым) тыкал в это предельно доставшее меня слово «чернь», как в черных мух, которые, кстати, не дошли от скуки при моем чтении феноменального фолианта, за что Василию Ивановичу респект и уважуха. Тем не менее дорогому его сердцу народу так называемую прессуху он в книге устроил основательную. Но, может, автору обидно, что при резком занижении уровня пафоса, философического и поэтического, он из глобального громовержца превратился в простого уличного гранатомета. А от помета порой зарождается кто-то. Поэтому хотелось, чтобы на примере Василия Ивановича Чапаева, командира кавалерийской дивизии, не сформировалась дивизия уличных гранатометчиков-самокатчиков или просто арт-бомбистов. Ведь зачем их столько много, как на каждого пенсионера по одному работающему человеку? Желающих вонюче пострелять летом по народу из виртуально-словесного гранатомета «Муха» всегда найдется в изрядном количестве. Но пожалуй, все же лучше, когда гранатометы «Муха» и летучие гранаты «Котлета» или «Код лета» пребывают отдельного друг от друга.

Попугал и поругал простолюдинов Василий Иванович знатно. Такой тотальной чернышевской обличительной деятельности, то есть обличению и даже облучению (зомбированию) россиян очень большое внимание – без всякого облегчения – уделил критик А. Медведев в статье «Введение в заблуждение». И ведь к середине лета этого года до Василия Ивановича,

кажется, дошел смысл неодобренных слов, он дрогнул и заговорил совсем по-другому. Вот что, например, он написал мне по электронной почте: «И все же, вы все, критиковавшие меня за несдержанность, повернули меня к поискам оправдания народа, и я действительно начинаю по-новому представлять его устройство и искренне начинаю видеть много положительного даже там, где раньше только раздражался. Откуда его молчание и непротивление злу? Разве не ясно: две тысячи лет христианство учило его покорности, потом революция и ее итоги поелозили народ мордой о стены – нет, надо ему дать передохнуть, он и замер, спрятав голову в колени... Брось эти митинги, пиши стихи». Чернышев имел в виду мероприятия против повышения пенсионного возраста. Но пока «бросать» было нечего, их разрешили проводить только после 25 июля, то есть спустя десять дней после окончания ЧМ по футболу. На акцию я выбрался только 28 июля, а в одном из ответных писем до этого дня ответил так:

«Здравствуй, Василий! На парочку митингов схожу, так как совсем жалко задолбанный, униженный и оскорбленный народ. Вот из-за этой, может быть, подлой жалости я и противлюсь, чтобы народ называли «чернью» и «быдлом». Но если он и в этот раз промолчит, а это не шуточки, если мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а к этому дело идет, то сам буду называть его последними словами. Если у гегемона с восьмью классами образования хватает ума не пойти на площадь митинговать, поскольку боится попасть в жуткую русскую тюрьму, в которой мы с тобой побывали в качестве краткосрочных случайных «пассажиров», то почему старенький профессор должен, как совершенный безумец, тащиться на эти протестные стояния и, подставляясь, дико орать и вопить там, чтобы этому пролетарию-дебилу сохранили право выходить на пенсию с 60 лет? Меня, Василий Иванович, народ тоже всю жизнь бесит своей хитроумностью и хитро...опостью. Да и Россия относится к нам хуже мачехи. В-общем, тоскливо все и кисло».

Увы, но ни я, ни Чернышев не имеем полномочий, ни соответствующего статуса, ни персональных банков, например, «Революционный банк «Василий Иванович», чтобы организовывать многолюдные акции, и поэтому я до 28 июля пребывал то в Петербурге, то в волховской деревне и мог протестовать только поэтически, в частности, – мысли и эмоции по поводу антинародного пенсионного проекта выразил в стихотворении «Повышение»:

Повышают возраст пенсионный И лишают денег мой народ,

Так вот я, пребывая в деревне, помимо густого огородничания и пустой рыбалки сочинял стихи да иногда заглядывал в уже зачитанную аж до дыр, как будто ее носил в критический тир, «Исповедь». Повторно встретил и такие строчки: «Сегодня ранним утром около дивана, на котором я спал, собралась целая толпа волхов и муз. Вставать я не стал, а сквозь легкую дремоту переговаривался с ними. Запомнил мало – а иначе пришлось бы эту книгу выбросить и начать совсем другую – но надо передохнуть, я болен, дожить бы хоть до 29 числа, когда поеду в деревню, туда надо взять 4 экземпляра уже окончательно готовой книги.

Переписывать ее я уже не буду, оставлю, как есть... То, что теперь с Россией, это и то и другое и третье. Что случится в конце концов, не известно, и никакая книга уже не поможет, нужен пророк, мессия, спаситель, или даже их несколько. На роль пророка я никогда не годился, мое развитие пошло по другому пути, вероятно, тоже необходимому, но не для цели спасения России. Я должен был вместить в себя *простой народ* и частично его оправдать...».

Опять Василий Иванович заблажил про это народооправдание? Видимо, еще долго будет находиться в шоке от наездов критиканов, то есть нас. Осознал, что его произведения по смыслу, как у моряка, одновременно мелковаты и глубоковаты? Зря считал, что вата, то есть народ, их промокнет досуха, избавит не только от мелководья, но и любой водянистости. Безудержная критика пассивного простолюдия могла вообще выжечь, испепелить всю книгу. Наконец-то понял, что кругом дурдом и психбольница, в которых материться не возбраняется, спорить бесполезно и поэтому выбрал более спокойный, но далеко не смиренный вариант выстраивания отношений с народом.

Что делать, если ругань, даже самая «мудрая», здесь не прокатывает.

Прочтем выбранный отрывок до конца: «Этот народ я в себя вмещаю, даже оправдываю, но он лишь малая часть народа, а половина его развратилась, спилась, растлилась, понизилась до придорожной пыли, превратилась в люмпен-пролетариат (в городе и деревне), в *чернь*. На них я напрасно истратил почти всю свою энергию, обличая их и пытаюсь их вразумить – но *"потерял я только время, благие мысли и труды"*. Жаль, что значительная часть моей книги оказалась обращенной к тем, кто и слышать не может и читать не будет, а другие из-за моих обличений почувствуют себя оскорбленными. Не возмущайтесь. Вы не слышите, что из моих глаз капает слезы? Прислушайтесь, вы услышите, как они стучат, сбегая со щек, по камню. Конечно, на камне, где я пытался сеять, ничего не растет. Я в последние месяцы много выслушал и других (пророков, предсказателей, учителей и обличителей). Они говорят почти то же, что я, но есть важное различие: большинство из них считают, что в России все хорошо и станет еще лучше...».

Ничего не скажешь, совершенно правдивые, высокоталантливые писательские показания Чернышева. А его дела?.. Тем не менее подошло 28 июля, которое оказалось совсем не революционным, но поворотным днем в моей жизни. Больному Василию Ивановичу было не до митинга, а я на него, проводившегося силами КПРФ на площади около Финляндского вокзала, прибыл и тут же скривил свое и без того сморщенное рыльце. Присутствовало в погожий июльский день лишь около двух тысяч человек от всего многомиллионного Петербурга! Даже мне, тучному онкоголику, было нетрудно проехать несколько остановок на метро и постоять час в рядах протестующих хотя бы и для пресловутых, но очень важных показателей численности прибывших. Те, кто не приехал, стыдуху и неуважуху к себе проявили полную, хотя, конечно, у некоторой части молодого населения имелись уважительные причины для неприсутствия.

Митинг проводился за спиной великанского монументального Ленина и определенным образом напоминал Закулисье в его деловито-суетливом и даже хмельном виде. Микрофоны иногда фонили и шумели, как камыш. Деревья-люди не гнулись, а довольно отважно поскрипывали в адрес властей: «Позор! Наглость!». Неистовый Борис Вишневецкий исполнял не одесский шлягер в сопровождении канкан-девиц «Поспели вишни в саду у дяди Бори», а доказательно говорил об отсутствии совести у властьпридержащих. Огромной молодой полицейский сгонял людей с зеленых газонов, на что у него резонно и образно спрашивали: «Значит, народ топтать можно, а траву нельзя?».

Духовой коммунистический оркестр отсутствовал. И если когда-то мечи перековывали на орала, то, видимо, музыкальные трубы, издававшие революционно-романтические народоподъемные марши, переплавили на мещанские безвкусные и дешевые украшения. Как-то всё происходящее по своему смыслу не дотягивало до высокого порыва, почему-то площадный шум не достигал звучания высоких нот общенародного негодования. К тому же именно здесь красные флаги напоминали изоляционный, многослойный противошумовой материал, чтобы звуки МИ(тинга), а не звуки МУ (коровьего мычания) не распространялись на значительное расстояние.

Массового протестного противостояния не получилось, а мной, если выразаться по-шахматному, сделали рокировку, резко поменяв местами с Василием Ивановичем. Он, правда, еще до митингов под давлением писательской и моей тоже критики, начал относиться к народу уважительнее, перестал его называть чернью, а я, наоборот, занялся изливом площадной ругани и бросанием «грязевых» гранат в сторону в очередной раз спасовавшего люда. Не стану повторять, что пенсии – это святое, что это великие социалистические завоевания, за которые проливали кровь наши деды, что потери по выплатам пенсий и по непредоставлению льгот для каждого человека составят порядка миллиона рублей, но скажу, что надо быть дураками, чтобы за них не побороться, хотя бы словесно побиться. Если сейчас, включая начало осени, разногласия с правительством можно разрешить посредством многолюдных и громогласных митингов, то потом без кровопролития, пожалуй, будет не обойтись.

Что делать, нельзя же сливать ситуацию, как писательские чернила в предреволюционные месяцы 1917 года. Вот я и начал как сменщик Василия Ивановича швырять в народ этикие «грязевые», «чернильные» или насмешливо-ванильные гранаты, нет, нет, не для того, чтобы очернить народ или до омерзения засахарить, а образумить, безжалостно раскритиковав в его же пользу. Нет, чернила у меня не фиолетовые, и мне вовсе не фиолетово, что вокруг происходит. Нечего народу подсовывать сладкие фрукты-гранаты, как в моей строфе:

С бананчиков, с гранат, с клубнички, с киви я
Расслабился в позовах на понос.
Какие митинговщина и Скифия,
Когда в соку измазался по нос.

Никогда особо не любил фрукты и ягоды, но я уже пожилой, поэтому являюсь кашляющим, а порой и сопливым человечком. Болезни, конечно, и слюни мешают оперативно действовать, но:

С бабенкою заклятой
Повздору я и – в путь,
Как вытереть гранатой
Соплю и зашвырнуть.

Теперь я в какой-то мере питерский чудик, городской сумасшедший. И если раньше хотел написать «давайте познакомимся (от слова «комик») с главными идеями Чернышева», то теперь вышеуказанное слово относится ко мне. Но я такой же, как Василий Иванович, мне не важно, смешен ли в данном случае, или серьезен. Главное добиться того, чтобы народ осмелел, пошел массово биться за свое более менее благополучное будущее.

Я бросаю виртуальные гранаты в людей, чтобы они скорее поняли, чтобы ускоренной бежали на площади митинговать! Так же в начале 20 века интернационалистическая молодежь, вооруженная наганями, во время стычек полиции с рабочими Путиловского (Кировского) завода провокационно стреляла в последних, чтоб они еще яростнее сражались против капитализма, обманно полагая, что их и в этот раз останавливали пулями исключительно стражи самодержавия и царизма – жандармы. К сожалению, специально провоцировать, искусственно активизировать массы – это вынужденная мера. Хватит выжидать. Я точно не знаю, какую позицию теперь занял Василий Иванович, выжидательную или активную? Может, он сейчас с присущим ему энтузиазмом пустился в «новые тяжкие» и, как всегда отвергая принцип «не я и лошадь (по кличке Граната) не моя», занимается широким *обеливанием* народных масс? Это что-то безусловно новое в мировоззрении Чернышева, но еще не Бельшева, и эти изменения лучше принять. Но как и куда через месяц-другой повернется колесо русской истории и фортуны, мало кто знает. Через месяц и спрошу Василия Ивановича, какую тактику он предпочитает: соглашательскую или наступательную. А пока позвольте завершить свое небольшое исследование первой книги «Исповедь пасынка века» достаточно горькими и, возможно, пророческими словами ее равнодушного автора:

«...Но хватит распалиться, **все заплатят за всё**. Ленивый заплатит за голод, трус за поражение, глухой к красоте и культуре заплатит за невежество и оскудение чувств... И хотя только я сочувствую низшим, и не я ли единственный, сотканный из нитей крестьянских судеб, кто бы мог вас возвысить, научить, оправдать, *но вы и меня отвергли*... Я был вашим поэтом, учителем, пророком, и не я принесу вам зло, но оно неотвратимо придет, потому что *вы предали тех, кем надо было гордиться, и покорились сильным*. Что вы будете делать, когда вас некому будет учить?».

II. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

Медведев Александр Васильевич

КУТАЕВ и ГРЕБУНЦОВ
ФУФАЙКА НАБЕКРЕНЬ
МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ



Александр Медведев. **КУТАЕВ И ГРЕБУНЦОВ**

Вот они оба. Чай пьют. Кутаев – с сахаром и вареньем, Гребунцов – с пряником. Кутаев с виду аскет, чай в гранёном стакане. Его друг без подстаканника пить не станет, да чтоб стакан тонкого стекла, эстет. Пил бы он и пил из чего попало, если бы однажды Кутаев ни принёс в его каморку три подстаканника.

Друзья неторопливо беседуют.

Кажется, за десять лет знакомства всё уже сказано-пересказано, и в ближайшем будущем вряд ли они друг от друга новое услышат. Так, дополнения и примечания к давнему. Антология его нам неведома. В конце концов, вне ремесла художники ничем от прочих не отличаются, их разговор за чаем – всего лишь разговор за чаем.

У Кутаева длинная серая борода. У Гребунцова борода чёрная и редкая, – в смысле густоты, а не уникальности. Оба – Александры. Не велико сходство. К тому же Гребунцов имеет привычку внезапно сбривать бороду. Есть у них, впрочем, общая страсть. Хотел сказать – собирательство, но это было бы не верно. В отличие от людей, составляющих коллекции на радость себе и другим, друзья стремились побыстрее избавиться от поступлений. Не успеет новая диковинка оказаться в руках одного, как он тут же старается обменять её, а то и подарить другому. Ни одна вещь потом не возвращалась дарителю, поток был неиссякаем, никакого второго круга.

Хотя бы этот карандаш. Графитный, а не скажешь, что простой. Непростой, американский, времён концессии доктора Хаммера. Мягкий, 6В, мечта рисовальщика. У Гребунцова вот он, лежит, небрежно заточен. Кутаев подарил. А ему досталась резная дубовая рамка на восьмушку листа. Гребунцов нашёл её на 9-й Советской, между Суворовским и Дегтярной. Под открытым настежь окном первого этажа, в куче обгорелых вещей рамка ждала нового хозяина. Огонь лизнул уголок, но это рамку не испортило.

А что это на верхней полке? Дары моря, большая розовая раковина и вполтину её крупнее морская звезда в пупырышках. Она здесь недавно и ещё не перешла в обменный фонд. Звезду, освободив от ваты, Гребунцов снял с выброшенной новогодней ёлки. Что ж удивительного, живёт он в морском городе и, вероятно, ёлка корабельная. Раковину-красавицу он получил от друга взамен собачьего черепа. Часть затылочной кости срезана: ясное дело, собака побывала в руках академика Павлова. Или его последователей. Собачий череп покоился в одной из картонных коробок с пробирками, флаконами, аптекарскими весами и разновесами, аккуратно сложенными в кучку во дворе за собором святой Екатерины на Невском проспекте. Был бы под рукой чемодан, всю кучку ценнейших вещей можно было бы унести. Но Гребунцов никуда уезжать не собирался, а гулять по Невскому с чемоданом почему-то в голову не пришло. Поэтому взял лишь самое экзотическое. Кутаев так обрадовался черепу, что с неделю из рук не выпускал, с собой носил.

Никакой системы учёта обменов и подношений не существовало, всё по случаю, ни благодетелей, ни обязанных.

Однажды в особо лирическом настроении Гребунцов предложил Кутаеву ещё одну рамку, которой не нашёл применения. Кутаев в удивлении выпятил губу, а Гребунцов тут же пожаловал ему ещё и холст в позлащённом багете. На холсте портрет почившего государственного деятеля. Гребунцов подобрал портрет в одном научно-исследовательском институте, в конце коридора среди сломанных стульев. Что и кому плохого сделал деятель, чтобы его вот так сразу и к поломанным стульям? Ведь, благодаря ему, многие художники человека сносно рисовать научились, – героика труда воспета его настоянием. Тут без человека никуда, с натурой работой, а то и старых мастеров копируй. Зато, кто из художников при фигуративности был, тот жил припеваючи.

Кутаев с холстом намучился. Хотел закрасить чем-то своим. Беда – краска на поверхность не ложилась. А только дарёному коню в зубы не смотрят, Кутаев лишь это и сказал. Исчез ненадолго, а как появился, вручил другу настоящий корнет. «Вещь!» – вымолвил тот. Играть на нём было невозможно, зато любоваться и рисовать – сколько угодно. Всё же Гребунцов полдня сокрушался: вот осёл, не ходил в школе, как другие, на занятия в духовой оркестр.

В тот день он разрешил взять Кутаеву два планшета фанерных метр на метр, собственноручно перевязал и помог довести до дома.

Кутаев добро помнит. Редко, чтобы ни с чем пожаловал. Недавно на стол уютю поставил. Раритет. Ручка ловко сделана деревянная, а назади между подставками из толстой проволоки гнездо для провода. Он и провод из сумки достал, – такая конструкция, провод отдельно от уютюга можно использовать для электрочайника, например. Чёрная тканевая обмотка местами протёрлась, но это пустяки. В другой раз Гребунцов поставил бы уютю куда-нибудь на полку, но тогда немедленно пустил в ход. Дело в том, что он трудился над переплётom к «Русским пословицам и поговоркам» – также подарком Кутаева.

Гребунцов холстинку к переплётным крышкам и корешку приклеил, остатки клея тряпичей снял и стал изделие разглаживать. «Нечего руками наглаживать, – говорит Кутаев, – не баба, так. Уютюжком прогладь, ровней будет, да и высохнет скорей».

В самом деле. Гребунцов шнур приладил, штепсель в розетку воткнул. Уютюг затрещал, искры посыпались, и всё больше, и всё сильнее, и бьют уже в невысокий потолок мастерской, и летят по сторонам. Индийский фейерверк! Но любоваться долго не пришлось: из уютюга взметнулось пламя и прямо на бумагу, а её кругом – море, сплошь всё бумага, мастерская всё же художественная, не мясной магазин. Из уютюга дым повалил чёрный, провод судороги скрутили и бьют, бумага на столе занялась, искры шипят, вонь – сейчас мастерская вспыхнет. Не до артистизма: рыпнулся Гребунцов через стул к розетке, шнур вырвал, крутанулся, банку схватил – выплеснул воду прямо с кистями на горящую бумагу!

Стоял с банкой в руке, на Кутаева глядел, как, мол, понимать сие? А тот руку ему на плечо положил:

– Ловко ты, Саня, прыгаешь! Не человек, а пожарная пружина. Обезвредил вражеский уютюг...

– Да пошёл ты, диверсант...

Мастерская у Гребунцова на углу 4 Советской и Мытнинской улицы, а у Кутаева на Кронверкской, также мансарда, только гораздо просторней. Про свою Гребунцов говорил, что входит в неё линейкой в рулетку, и сидит, скрючившись. Не то у Кутаева: кухня, две комнаты, большие окна во двор, светло, тепло, раздолье. Зная, что в любой момент его на месте застанешь, Гребунцов запросто к нему приезжал. Только Кутаева разве застанешь враспloch?

Не успел Гребунцов через порог ступить – «А я тебя дожидаюсь! Подарочек тебе есть». Угодил! Сделал специально для друга рукописную книжку, стихи написал про него, чем занимается он в своей каморке, тушью пером всё изобразил, цветными карандашами раскрасил. Здорово получилось. Оба довольны. Чаю попили, покурили, помечтали, пожелали друг другу всего наилучшего, и простились.

Шёл Гребунцов к остановке радостный. «Хорошо Кутаев дело поставил, красит всюю, из глины лепит, фотографию осваивает, на всё время находит. Кота завёл! И про меня не забыл, какую книжку сделал!»

Троллейбус подошёл распухший донельзя. Ничего, угнездилился художник, книжку дарёную к себе прижал, другой рукой платок носовой нащупал, насморк весенний, куда деваться. Огляделся. Заметил, что свободней вокруг него стало, хотя народ на остановках всё входит и входит.

Троллейбус на Дворцовый мост вырулил. Гребунцов к спинке привалился, и – в окно, есть лёд на Неве или сошёл весь? Не успел разглядеть, женщина, что у окна сидела, подхватила, через него перескочила – и к выходу. Ноги ему отдавила да чуть челюсть не свернула сумкой. К выходу протискиваясь, всё как-то неприятно на него оглядывалась. «Ненормальная должно быть, – решил Гребунцов, – весеннее обострение». Подвинулся к окну, а на освободившееся место девушка села. Носик остренький, губы в полуулыбке, бархатные ресницы глаза зелёные оттеняют.

Любуется художник спутницей исподволь, книжку на колени положил, платок достал и высморкался. Вздыхнул с облегчением и к девушке повернулся ещё полюбоваться. Странное дело, любованье портил какой-то крайне неприятный запах. Он опять высморкался, потянул воздух... ну и шмон! А с виду... Но девушка не дала развиться его изумлению, легко вспорхнула и мгновенно перенеслась к передним дверям. Мысль о красоте её фигуры даже не успела возникнуть, испепелённая ледяным взглядом василиска, именно так посмотрела она на Гребунцова. Вслед за девушкой к дверям хлынуло полсалона пассажиров. Многие закрывали лица перчатками, носовыми платками, кутали носы в шарфы.

От Гостиного двора до Полтавской улицы Гребунцов ехал в пустом троллейбусе. Незадолго до своей остановки он высморкался и решил ещё раз полистать подарочную книжку. И тут он всё понял. Зловоние, исходящее от книжки, образовалось в результате приписок, – котописи кутаевского Мурзика.

Целый год книжка выветривалась у Гребунцова между двумя дверями в мастерской, смущая лестничных котов.

**ФУФАЙКА НАБЕКРЕНЬ
ИЛИ СТИХИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ**

Заметки педанта по прочтении первой книги поэтессы

*Стежки да стёжки –
Вот мои стихи,
Оставленные так, на всякий случай,
Босой ступнёй, иголкой колючей.
Стежки да стёжки –
Вот мои стихи.*
Е. Огарёва

*Случайно я жил в этом веке.
Случайно. Однако отчаянно.
Потому что кругом человеки
Жили тут не случайно.*
О. Григорьев

Знакомство со стихами молодых небесполезно. Вопрос в том, для кого больше пользы: для авторов или для критиков?

8 ноября 2018 г. На Секции критики и литературоведения Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России состоялось обсуждение сборника Екатерины Огарёвой «Стежки и стёжки». Это её первая книга.

Стихотворения Е. Огаревой присутствующие восприняли очень доброжелательно.

А. И. Белинский зачитал рецензию, в которой отметил свежесть, любовь к родине и «чистоту нравственного чувства молодого поэта». В знак особой симпатии к автору он прочёл понравившиеся стихотворения – «Старый клён», «Старушка», «Два потока».

Б. Орлов добавил, что направление, выбранное поэтессой, крайне актуально в мире, где происходит активное наступление на традицию, где лукавая подмена понятий вводит в заблуждение молодёжь, объявляя вседозволенность истинной свободой творчества.

Небольшое эссе, посвящённое «Стежкам и стёжкам», зачитала Е. Барбаняга. С ней нельзя не согласиться: читатель в сотворённой Е. Огарёвой «попытке передать узор детства», непременно припомнит сладость и своих младых дней.

Р. Круглов, редактор издания, резюмировал: «Книга состоялась такая, какая она есть».

Что в этой констатации – *я сделал всё, что мог?..* А далее по умолчанию вторая часть латинской фразы: *...кто может, пусть сделает лучше?*

Пусть это будет домысел.

Есть выражение: *не по хорошу мил, а по милу хорош*. «Милоты» в стихах Е. Огарёвой гораздо больше «хорошести».

Милые – поля, леса, озёра, клён, ива и река... бабули, русская печь, кошки-окошки, даже горечь – ясное дело – полыни. Какой же русский не любит фаст-фуд быстрой езды – к милому дому?.. Любят – все. Чувствуют, понимают и поминуют, плачут и смеются, молятся и поют. Однако все ли способны облечь это в подлинно поэтическое слово? Перефразируя Сартра, – не всяк поэт, кому хочется.

Читая о счастливо-лучезарном детстве, поддаешься обаянию темы. Чувство благодарности Е. Огарёвой спешит переполнить сердце.

Беда, что критик не может «голосовать сердцем», – «Глупое сердце, не бейся! Все мы обмануты счастьем...» Есть ещё слух, знания и опыт – жизни и чтения поэзии. Они помимо воли безжалостно гасят тематическую милость.

Не знаю, что будет дальше, но первую книгу Е. Огаревой мне трудно назвать поэтической. Формально автор – стихотворец. Однако в творениях больше прозаического, нежели поэтического. Каждая стихотворная вещь – интересный рассказ, подчас с ароматом притчи, события, сказа, запевки. У автора великолепный человеческий потенциал. В книге преобладают «рассказы», а для поэзии – не хватает образов, свежих, дерзких, собственных образов, своего письма. И точности.

А плесни-ка мне, батенька, чаю! («Батенька»)

Точнее было бы – батюшка, батя, коль речь об отце. Батенька – устойчивое шутливое обращение, эдакий смягчающий упрёк. «Да вы, батенька...» – и далее некое замечание. Кстати, чай наливают, разливают. Плесните – это о чём-то крепче чая.

Мужичонки в кирзачах

Травы жнут да чешут. («Сенокос»)

«Мужичонки» травы косят (косами). Жнут (серпами) – женщины, причём, злаковые культуры, не траву.

В коловорот лесного Колизея

Со склона тянет прибывших овраг («Пуре Латко»)

Коловорот – ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких материалах, бывает хирургический К. Ясно, что имелось в виду коловращение. Слова созвучны, но их смысловая идентичность на уровне английских – *two* и *to*. Крутящийся момент бросает читателя от «коловорота лесного Колизея» Е. Огарёвой к домкрату незабвенного Ляписа Трубецкого («Волны падали вниз стремительным домкратом») Ильфа и Петрова.

Смешав платки цветные и фуражки

И всю усталость разом с пришлых сдув,

Он пахнет мхом, опятами и бражкой –

Хозяин леса, всемогущий Дух.

Пришлые – значит чужие, пришельцы откуда-то со стороны. Здесь же речь идёт о своих, которые пришли.

Несётся в высь, сквозь ветви, голос зычный...

Всё бы ничего, но любимое автором «несётся» употреблено не менее трёх раз в книге, там, где ярче были бы иные слова о чём-то стремительном. А. К. Толстой, когда ещё, заметил, что с пользой несутся куры, человек, как правило, нет.

*Всклень набита кладовая:
В ней припасы всех мастей!* («Осень»)

*Наполнят всклень походную корзину:
Лоснится блин и пряжи горячи.* («Родительская суббота»)

Е. Огарёва чувствует красоту слова «всклень», но использует ради красного словца. Слову место там, где дело исключительно о количестве жидкости в каком-либо сосуде – в стопке, в рюмке. Неужели не слышно в этом слове плеска, перелива?

*Всё готово для застолья,
И застелена кровать.* («Осень»)

Кровать – это мебель; застилают постель. Бывает, говорят: кровать заправлена, расправлена; «застелена кровать» – странное выражение.

*Я смотрю на улицу
В окно:
Старый клён сутулится
Темно.* («Старый клён»)

«...в том домишке, что сутулится на углу Введенской улицы, / Позади сгоревших бань...» – у Н. Агнивцева.

«Задумчиво она идёт по улице. / Стройна, как синеглазый василёк. Но всё сейчас в ней словно бы сутулится...» – У Э. Асадова.

Ох уж эта улица! Кто на ней только ни сутулится. А ведь когда-то раньше... «Раньше я гуляла во зелёном саду, / Думала, на улицу век не пойду». Не то теперь. Пооди не пооди! Попробуй, если уже весь мир – не театр – поэтри-слэм, и каждый в нём FM-поэт поёт: «Раскрой объятия мне, улица / Я на свидание к луне иду / Я буду ждать там, где фонарь / сутулится, Там, где аллеи в мартовском бреду».

Создаётся впечатление, что рифма заставляет автора притягивать к себе странные явления и предметы. Да что предметы!

В КЛАДОВОЙ
*Без какой-либо тайной корысти
В кладовую зайду наугад –
Там сушёной калиновой кистью
На верёвке висит звездопад.
Млечный путь бережливо створожен,
Как дитя, спрятан в марлевый куль.
И по банкам пузатым размножен
Спелой ягодой жаркий июль.*

*Заиграет в нечаянном свете
Рафинада желанный кристалл...
Я за пахухой кухонной клетки
Ощущаю раденье Христа*

Рафинад – это сахар. При чём тут Христос? В тексте нет и намёка на Акафист Иисусу Сладчайшему. Слово не говорилось: «Не поминай имя Господа всуе», здесь – ради рифмы. Продолжаем И. Шмелёва в сведении веры к сладостям пасхального стола?

Упоминание Господа всуе сразу же дало двусмысленность. 1) Радение – усердие, старание, забота о чем-либо. 2) В некоторых сектах – религиозный обряд, сопровождающийся прыганием, кружением, иногда самоистязанием. Приводит участников в состояние экстаза.

Вообще я не собирался говорить о рифме, продолжу о точности. Раз уж впал в «византийский педантизм» и «ловлю поэтессу в мелочах». Впрочем, она знала (?), куда шла – всё же Секция критики... Ничего, уверен, будет её бенефис, прольются славословия и увенчают лавром. А сейчас – ничего, кроме работы – вернёмся под клён.

Строение, как ни крути, не позволяет клёну сугулиться, даже старому. Ива может. Плоха та ива, которая не мечтает стать *ивушкой плачущей*. И попасть в стихотворный сборник, в первую книгу молодого автора (стихотворение «*Я босые ноженьки / Исколю травой....*»)! В «*Стежки и стёжки*» деревьям не попасть иначе, как прогнувшись. Даже такому статному по природе, из которого спокон веку тесали кол специального назначения.

*В сугулой фигуре дрожащей осины
Нам чудится страх и тревога за нас*

Есть много слов красивых, которые, кажется, ради красоты можно пользоваться совершенно произвольно, даже на излёте смысла.

*Смотрит с образа Матерь Божья:
Проступает душа сквозь кожу,
Но упрямая плоть не может
Отпустить её на излёт. («Старушка»)*

На излёте – пуля, камень, выпущенные кем-то и исчерпавшие силу. Здесь же говорится о том, что называется «на исход души», когда «душа отлетает». Если бы было сказано: «Но упрямая плоть не может / на излёте её отпустить», образ принял бы одно и верное значение.

*Фуфайка набекрень, под мышкой шапка –
И я бегу в проулок со двора. («Мороз»)*

Набекрень можно сбить лишь головной убор. Бывает жизнь набекрень. Стихи. Фуфайка – нет.

*Ткнушь от скуки в ворс ковёрный –
Почешу олений бок,
Из наперника проворно
Вытяну пернатый клоч. («Бабайка»)*

«Пернатый клок» – это что? Пернатый – всегда «кто-то», существо, покрытое перьями. Даже змей у индейцев пернатый – Кетцалькоатль.

При обсуждении «Стежков и стёжек» было сказано много добрых слов в адрес Е. Огарёвой, слов заслуженных. До радения-экстаза не дошло, но и критики по существу, за редким исключением (В. Кречетов, В. Меньшиков) не было. Да и у меня здесь далеко не критика. Так, занудные замечания, от которых деликатно воздержались присутствующие.

*Дубовый крест, звезда ли с алой краской
Собой венчает надмогильный холм... («Родительская суббота»)*

«С алой» – слышится «салой». А прислушаться – «звездали салой краской». Для абстрактного экспрессионизма – «живописи действия» (Поллок, де Кунинг и др.) – неслабый образ! В пандан палитре раннего Маяковского («...в зелёный бросали горстями дукаты...») также сгодится.

Попутно о тавтологии, вряд ли оправданной образно: «надмогильный холм». Могильный холм – это курган. А «надмогильный» – что?

Ещё о звуковом коварстве.

*Нам не вознестись назад,
Но вперёд иду я:
Невозможно, чтоб звезда
Не нашла другую. («Мы с тобою – две звезды...»)*

«Но вперёд иду я» – звучит «но вперёд и дуя». На что / на кого дует коварная лирическая героиня? Своеволье. Правда, не плана Пушкина, когда он изумился не звуковой, а сюжетной непредсказуемостью «Евгения Онегина»: его Татьяна штуку выкинула – замуж вышла!

Фонетические сдвиги – это проблема слуха. Кажется, после довлатовско-анекдотичного – «пир духа» надо бы внимательней относиться к соединению слов и приучиться к чтению вслух, чтобы не вызывать комичное. Хотя, в изначально комическом эпизоде, особенно в детской теме, что-то с чем-то сдвинуть не лишне. Ради забавы, из озорства.

*Нам чердак с одним окошком
Стал надёжнее, чем дот.
Вход и выход по паролю.
Болтунов – под трибунал. («Штаб»)*

Пусть взрослые читают «по паролю», – мы-то знаем, что здесь – «попа ролю»! Но, тсс! Не то – под трибунал!

И об экзотике.

«Поскольку село мордовское, – в котором Е. Огарёва провела детство, – в тексте стихотворений присутствуют фразы на местном наречии (эрзя)».

Использование местного наречия привносит в стихотворный сборник этнографический окрас, правда, несколько хаотичный. Камуфляжный? Отвлекающий от... досадных случайностей письма? Добавляют ли вставные фразы образности в описываемые ситуации, характеры? Обогащают звучание?

Во всём, а в искусстве особенно, нужна мера. По отдельным случайным репликам едва ли услышишь красоту языка. Всё же должна быть логика, художественная, во всяком случае, для использования второго языка.

Я, будто солнце, скатываюсь с кручи

И озаряю радостью крыльцо.

Бабуля плачет: «А мон `учан, `учан...»*

И трёт платком солёное лицо. («Детство»)

(«А мон `учан, `учан...» – «А я жду, жду...»)*

В сборнике чрезмерно рассыпаны короткие изречения на эрзя по русской канве, отчего они воспринимаются обэриутскими стежками-восклицаниями героев Хармса: «...здрыгг аппр устр устр ход часов нарушен мною им в замену карабистр на подставке здрыгг аппр с бесконечною рукою приспособленной как стрелы».

Увлечение этнографией дело хорошее, но для поэта поэзия превыше всего. Если ею пренебрегают в поисках красивостей, то начинаются метаморфозы: «*Я, будто солнце*» становится – «Я – Будда Солнце», а то и ещё чем-то совсем не (по)этичным.

В итоге я возвращаюсь к тому, с чего начал.

Есть ли польза в публичном обсуждении на Секции критики и литературоведения книг начинающих авторов? Может быть, им начинать обсуждаться в узком кругу коллег?

И о моём педантизме.

Надо ли вообще критику заниматься подобной дезактивацией «стихов на всякий случай»?

Сдаётся мне, на каждый случай никакого педантизма не хватит.

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ!

«...срывание всех и всяческих масок»
*В. И. Ленин. Лев толстой как зеркало
русской революции. 1908 г.*

25 октября 2018 г. на Секции критики и литературоведения Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России с сообщением, посвящённым 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого выступил Г. Н. Ионин.

Он поделился размышлениями о дневниковых записях Толстого и книге «О жизни».

По мнению Германа Николаевича, эта книга самая глубокая в толстовском учении, она скрепляет всего Толстого. Суть её можно свести к мысли, записанной дочерью писателя Александрой перед его смертью в Астапово. *Бог есть неограниченное всё, а человек есть ограниченное проявление Бога.* Так, вероятно, думали или чувствовали и герои Толстого.

Складываясь постепенно, многожанровый труд был закончен в 1887 году. Он – своеобразный итог многолетних размышлений писателя над проблемами «смысла и блага» существования человека: что значит жить «по совести и разуму», каковы пути духовного единения людей друг с другом и с Богом, как избавиться от грехов и суеверий.

Именно в этой книге раскрывается тайна человеческого «Я». Жизнь проходит в столкновении любви и нелюбви. Нелюбовь делает человека личностью, выделяет его. Любовь прорывает это выделение, это состояние одиночества, соединяет человека «со всеми». Смысл жизни оказывается в увеличении любви. Смерть есть бессмыслица, а зло побеждается любовью. Г. Н. Ионин при этом уточнил, что Толстой смешивает понятия личность и индивидуальность (личность – это уже раскрытая индивидуальность). Есть и третье проявление человека – ипостасность. Оно наиболее интересно.

Главное: Толстой увеличивал силу любви, заключил докладчик и настоятельно посоветовал перечитать «Путь жизни».

Сообщение оказалось глубоким, обоснованным, с присущим Г. И. Ионину академическим артистизмом. Артистическая волна не утихла по окончании сообщения, её колебания усилил следующий выступавший.

– Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. (...) Ну, мы-то с вами понимаем, – тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, – что чёрной магии вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники.

В роли героя М. Булгакова выступил поэт и художник Евгений Антипов, представитель тех 10% населения Земли, которые не поддаются массовому гипнозу и на все явления и заявления имеют особое мнение. Оно зиждется у

Е. Антипова на обширной осведомлённости во многих вопросах. Данное также было основано на фактах биографии Л. Толстого. Фактах, выводящих гения и «матёрого человечиса» на чистую воду.

Разоблачающий материал Е. Антипова любопытен. Это скрупулёзное досье с точным указанием свидетельств, освещающих, как минимум, неблаговидное поведение графа. Также его можно рассматривать и упрёком, да не столько к читателю, – с него что взять: глаза читают, ум отдыхает, – сколько к критикам и литературоведам: ну а вы почему своим умом не живёте, не видите – король-то голый!

Тема любопытства к фактам личной жизни творцов не была заявлена в плане заседания Секции критики и литературоведения, но всё же тронем её слегка.

Вопрос соответствия/несоответствия автора произведений его личности изучен вдоль и поперёк. К нему всё-таки вновь и вновь приходится возвращаться, как дело доходит до обсуждения творчества наших русских писателей и поэтов, записанных в классики и во властители дум. Часто подобные обсуждения "не поднимаются медленно в гору" – к вопросам стиля, поэтики, традиции и новаторству и т. п. рутине. Почти сразу за основным сообщением они соскальзывают в «сточную канаву» захватывающих мемуаров пристрастных современников и детективиствующих писателеведов, черпающих сведения из замочных скважин спален и от осведомителей из «плодской». Оговорюсь, я не противник данного жанра, ничто человеческое мне не чуждо. Просто я за то, чтобы естественное любопытство не мешало бы профессиональной любознательности.

Ничего не поделаешь: тем, кто увидел в гении прежде всего обывателя, «видел его в домашних тапках», тем нередко уже трудно смотреть выше «тапок».

Видный английский публицист и критик Мидлтон Марри заявил: «В одной лишь русской литературе можно услышать трубный глас нового слова. Писатели прочих наций всего лишь играют у ног этих титанов. Толстого и Достоевского...»

Вряд ли писателям следует этим ограничиться. Стоит иногда пытаться рассмотреть всю фигуру вне игры.

Е. Антипов успел сообщить лишь один факт: с высшим образованием у Толстого не всё гладко, с трудом и не с первого раза поступил, да так и не окончил университета.

«Этот недоучка Бенуа!..» – бросал И. Репин на страницы «Аполлона» по поводу деятельности основателя общества «Мир искусства». «Да, я автодидакт», самоучка, говорил о себе Бенуа. А все ли русские классики могли бы предъявить академические дипломы и похвальные листы?

Всё то же вечное: с одной стороны – правда, с другой стороны – факт. Они друг друга ищут, им не встретиться никак. Без высшего образования и вдруг – Учитель! Недоучка и – собственное учение! Как бы к толстовству ни относиться, надо признать: граф наваял «золотой сон» многотысячным последователям по всему миру.

Толстой был склонен «учительствовать»? Учительное начало было развито уже в русском фольклоре. Ещё больше его в древнерусской литературе. Наставительны все жанры: повести и слова, сказания и хождения, моления и поучения, жития и даже летописи. Трудно найти что-либо, где нет поучения «како надо ставить правду Божию на земле», «како надо править правду Божию в душе».

Толстой неровен. Хорошо. Однако его неровность не помешала многим мировым писателям-классикам признать, что они учились на его романах.

О личности творца вообще говорить трудно, глядя на биографию исключительно как на «историю болезни». Кстати, откуда взялось понятие личности? Из древнего Рима – *persona, маска*. А что под маской? *«О, если б мог выразить в звуке / Всю силу страданий моих, / В душе твоей стихли бы муки, / И ропот сомненья затих»*. Что ж, никакому автору не по силам снять маску (античное: познай себя!), и *выразить в звуке себя подлинного*. Но и непредвзятому уму, освобождающемуся от гипноза автора и его популяризаторов, также не в силах утишить ропот сомнения.

Повезло Гомеру! О нём остались чрезвычайно скудные сведения: 1 – был слепцом; 2 – его вообще не было, это собирательный образ. Поэтому Гомеру трудно предъявить претензии на тему размера, чистоты да собственно и наличия «домашних тапок». А вот уже со времён Данте общественная и личная жизнь писателя досконально протоколируется, как доверчивыми поклонниками, так и скептиками, ладно – неподкупными объективистами. И до этого дня любопытные «из людской» ничего знать не хотят, кроме того, чем это там занят «барин» в свободное от жертвоприношений Аполлону время.

Надо признать, речь Е. Антипова с постановочной точки зрения была эффектна. Жаль, что, воспользовавшись правом главы секции, Г. Н. Ионин не дал развить замечательный перформанс. Но и в таком виде он возымел действие: на защиту Толстого поднялся В. И. Чернышев. Оговорившись, что во многом с графом не согласен. И это не мешает, а, наоборот, побуждает думать о нём, спорить, о чём есть свидетельства на страницах «Нового русского журнала».

А. А. Грякалов принёс на Секцию сборник статей о Толстом. Он обратил внимание на бытующее мнение о Толстом – слабом философе. Мнение, скорее всего, поверхностное. А. А. Грякалов обратился к авторитету М. Хайдеггера, признавшего значительность Толстого-мыслителя. В «Бытие к смерти» Хайдеггер дал сравнительный анализ новеллы «Смерть Ивана Ильича» и своего трактата «Бытие и время». В этих произведениях подняты фундаментальные вопросы: проблема отчуждения, одиночества, деградация жизни и потеря смысла. Освобождение от оков бессмысленности должно сопровождаться страданием, страхом смерти, самопожертвованием или иным жестоким ударом.

В. А. Фатееву, издавшему переписку Н. Страхова и Толстого, философия писателя показалась слабой и далеко не русской. В самом деле, Жан-Жак Руссо, Лао Цзы, Будда... – кто только не привлекался в толстовское учение.

В. А. Фатеев отдал должное великому дару Толстого, способности передать русский характер и душу. Он сослался на выражение Н. Страхова, дескать, когда не будет русского народа, то о нём мы будем судить по роману «Война и мир».

Говоря о Толстом, следует, помнить эпоху, в которой жил писатель, заметил Б. А. Орлов. Она бурно менялась, менялся и Толстой. Сегодняшней молодёжи просто необходимо наследие гения.

И. И. Сабилло дал следующее сравнение относительно объективности в оценке Толстого. Бывает, слышишь: хороший он тенор, но вот басом петь не умеет...

А Толстой велик настолько, насколько мы можем себе представить. И. И. Сабилло рассказал о книге И. Бунина «Освобождение Толстого». Великий яснополянец был «темой жизни» нобелевского лауреата, к его имени, авторитету и оценкам он обращался с юности и до конца дней. «Освобождение Толстого» – это стремление доказать, что философские и религиозные искания, подчинившие жизнь Толстого, превратили её в подвиг, придали нравственную остроту и смысл творчеству. Бунин понимал, что с книгой далеко не все будут согласны. С горечью писал он профессору Софийского университета П. М. Бицилли: «...кому нужно то, что в ней говорится? Равнодушному ко всему на свете Адамовичу? На все на свете кисло взирающему Ходасевичу? Всему на свете едко улыбающемуся внутренне Алданову?»

Вопрос: не очень ли цепко мы хватаемся за слово писателя, вышедшее из-под пера – в частной переписке или брошенное в сердцах бывшей жене? Момент настроения, недомогания, да что угодно могло побудить его высказаться резко, цинично, глумливо или просто из озорства. Это бывает забавно, но и только. Всё же личность – маска. А у великого писателя и не одна.

Александр МЕДВЕДЕВ

*ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИНЫ
критический очерк*

СЕМЬ ФУТОВ ЛЮБВИ

Орлов Б. Холодная война – глубины океана...

СПб.: Информационно-издательский центр

Правительства Санкт-Петербурга ОАО «Петроцентр», 2015. – 208 с.

«Петербургский дневник» представляет

**Борис
Орлов**



Тянуло войною из-за горизонта,
Но люди устали от прежней войны.
Мы дети солдат,
возвратившихся с фронта,
Мы поздние дети
Великой страны.



Холодная война началась сразу по окончании Второй мировой войны. Она выражалась в противостоянии мировых систем, идей, интеллекта и психики, в конфронтации двух военно-политических блоков во главе с СССР и США.

С уничтожением СССР Россия нашла себя в окружении государств, так или иначе предъявляющих претензии к бывшей «митрополии». Получившие независимость Прибалтийские республики и ряд стран участниц Варшавского Договора не замедлили вступить в НАТО и оказались в числе вероятного противника России. Более того, и в России произошёл «тектонический» разлом: скрепы государства – армия, флот, общественные организации патриотического направления вдруг попали в прицел российских СМИ, начавших агрессивную пропаганду вхождения России в мировое сообщество посредством полного разоружения, отказа от национальных интересов в политике, экономике, культуре и образовании в обмен на так называемые общечеловеческие ценности.

Таким образом, период глобального геополитического, экономического и идеологического противостояния, об окончании которого Горбачёв и Буш объявили в декабре 1989 года на саммите на острове Мальта, не закончился. Холодная война вступила в новую стадию: военные базы НАТО вплотную приблизились к границам России, а применение западными политическими «партнёрами» новых пропагандистских технологий – очернение советского периода истории России, призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны, дискредитация органов власти и Православия свидетельствуют о ведении Западом информационной войны против России.

Вновь получил распространение термин «пятая колонна», рождённый во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., теперь применительно к отдельным российским гражданам, а также к ряду некоммерческих организаций, финансируемых зарубежными донорами, попавших в реестр иностранных агентов. Это юридические лица, которые занимаются внутриполитической деятельностью по поручению иностранного государства. На данную деятельность российский закон налагает ограничения. Но, как известно, на каждый роток не накинешь платок, а люди по-прежнему внушаемы, и на фоне культурных, социальных и бытовых проблем, коррупции в высших эшелонах власти особенно внушаемы. Холодок отчуждения засквозил в обществе, сравнительно недавно ещё считавшемся монолитным союзом.

II

К людям, которые не согласны на роль пассивного наблюдателя обострившегося противостояния «цивилизованного мира» и России – «сырьевого придатка», «тоталитарного режима», которые не согласны на роль этакого «премудрого пискаря» или человека не от мира сего, находящегося над схваткой, относится поэт Борис Орлов, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Всем сердцем принимая вызовы времени, он продолжает чувствовать себя в строю – патриотом

великой страны, частицей великого народа и декларирует это своими произведениями.

Книга стихотворений Б. Орлова «Холодная война – глубины океана...» вышла в серии «Писатели на войне, писатели о войне», посвящённой 70-летию Победы. По прочтении её невольно вспоминается короткое древнерусское «Слово о погибели русской земли», с перечислением «многих красот, прославивших землю Русскую», с перечнем стран, повиновавшихся великим князьям русским, и завершающееся великой скорбью, воплем – «обрушилась беда на христиан...» В оригинальном тексте – «А в ты дни болѣзнь крестияном» – недвусмысленное пояснение причины гибели некогда мощного государства от *болезни, именуемой изменой* – вере, государю, отечеству. До сих пор заповедью, руководством к действию наших ретивых «партнёров» бытует выражение – «Русских нельзя победить в войне, но их можно разложить изнутри». Авраамий Палицын в описании событий Смутного времени указывал причину в очередной раз постигшего нашу землю бедствия: «Бог же попустил грехов ради наших...». Его слова – «богоотступники же, польские и литовские люди и русские изменники» (речь о взявших в осаду Троицкий Сергиев монастырь) – на редкость точно описывают и сегодняшнее положение дел. Утратившая былую силу христианской веры Европа, с помощью внутрироссийской оппозиции добивается того же и от России, в которой ещё имеет силу молитва:

*«Соборе Святых Русских,
Полче Божественный,
Молитесь ко Господу
О земном Отечестве Вашем
И о почитающих Вас любовью.
Новый дом Евфрафов,
Уделе избранный,
Русь святая, храни Веру
Православную,
В ней же тебе утверждение».*

III

Предательство заветов отцов, веры, отступничество и раздоры не раз приводили Россию на край гибели, спасала – верность. Болью открытой раны преисполнены строки Бориса Орлова о 1990-х годах, когда *«умирал великий флот Союза»*:

*Продали солярку. Нет бензина.
В ржавчине надстройка. Винт в песке.
Адмирал скупает магазины.
Он пахан в военном городке.
Офицеры пьяно горбят спины.
Втопан в грязь, как тряпка, флотский флаг.
Адмирал, скупивший магазины,
Топит флот страшней, чем внешний враг...*

Ржавеющие корабли, распиленные на металл подлодки... «Для русских пятая колонна / Опаснее других врагов», – глазам моряка больно видеть умирающий, без боя сданный, флот. Но не о железе печаль, о судьбах товарищей, с ними пройдены «казармы, полигоны и моря», многомесячные подводные походы, когда люди не щадили здоровья, а то и жизни, отдавая долг Родине. С неподдельной теплотой пишет Орлов о своих сослуживцах, которые «Достоинство и Веру берегли». С той же теплотой вырисовываются картины истории Руси-России, переплетающиеся то вязью, то морским узлом со временем нынешним, связуя далёкое, делая близкими русских людей – моряков, хлебопашцев, инженеров, учителей, святых. Все они – надёжный экипаж поэта-моряка, в разговоре о них, о детстве, о любви, семье, о дружбе и мире Орлов находит тонкие, неожиданные образы.

*Космос – вечная Божья свобода, –
Мне сказал астроном-богослов.
Во вселенной он ищет не воду,
А мелодии тонких миров.
В небе песни ночного простора
Заплетаются в звёздный венок.
Мирозданье – оркестр, пред которым
С дирижерской палочкой – Бог.*

Книга Орлова словно отражение «Сказания о гибели русской земли». Первая часть «Сказания» – это теплота перечисления богатств и могущества России, вторая – холод постигшей её тяжкой болезни, предательства и разора. Орлов, наоборот, сначала даёт картины суровой службы на Севере, раскрывает осиротевшую, остывающую душу военного моряка, свидетеля вражеского триумфа в Холодной войне, триумфа обманного, попустительством перестроенных иуд. Только после этого он наполняет страницы нескрываемой горячей любовью к тому, ради чего русские люди готовы претерпевать экзистенциальную стужу, относиться к ней как одной из составляющих службы, служения. А служба русского человека – всегда воинская.

*...В наших каютах и кельях
Молится Родина-мать.
В рясах и флотских шинелях
Нам за Россию стоять!*

IV

Борис Орлов – поэт-государственник. Быть таковым поэтом в России – традиция давняя, освящённая Ломоносовым, Державиным, Пушкиным. Именно пушкинское, – «где нет любви, там нет истины», – движимое любовью к русскому миру, делает строку истинно поэтической. Ибо любовь – бесспорна. Другое дело, взгляд поэта-публициста, чеканящего «железный стих, облитый горечью и злостью». Здесь особенно нужно чувство меры. Всегда ли поэт спросит себя, не перелил ли я горечи? не выглядит ли мой

отклик на злобу дня озлобленностью и унынием? Всегда ли поэт способен не по исторической, ещё не существующей, а по сердечной карте найти то расстояние, с которого ему увидится большое, откуда оценит он, творимые нашими руками, Промыслительные свершения о России, пренебрегая досадою неудач?

Издавна русские поэты знают ответ на вопрос «Кому на Руси жить хорошо» – никому, по Некрасову. Вспомним, как описывая строительство железной дороги из Петербурга в Москву, Некрасов немилосердно сгущал краски, рисуя ужасный, каторжный труд. Между тем это была крайне выгодная и высокооплачиваемая работа, и охрана труда по тем временам отвечала передовым требованиям. Но такова сила «музы скорби и печали» – она не способствует широте взгляда, затмевает глаза на добрые проявления российской жизни. Что говорить, податливы мы, русские, на печаль и потому часто «стон у нас песней зовётся». Редкий современный русский поэт избежал влияния/обаяния этой музыки.

*Россия – в свалку превращённый храм,
Иду и плачу – топь на месте дуга.
Давно церковным звоном по утрам
Селенья не приветствуют друг друга.*

Было бы крайне грустно, если бы эти мотивы возобладали в поэзии Бориса Орлова. Тогда, действительно, можно было бы говорить об окончательном поражении России в Холодной войне. Словно вспоминая слова Лебедева-Кумача, «Кто сказал, что надо бросить / Песни на войне? / После боя сердце просит / Музыки вдвойне!», поэт оглядывает родной простор, и тёплая волна, идущая из глубины души, вызывает другие слёзы, слёзы благодарности и неудержимого восторга, и нет сомнения, что жить в России, в стране воинов и подвижников веры и верности – великое счастье.

*Полроци в солнышке игольчатом.
Печали нет и грусти нет.
Душа – поляна колокольчиков:
И синий звон, и синий свет.
Поют и птицы, и кузнечики.
Слеза от радости течёт.
Душа цветёт. И всё изменчиво...
Но остальное всё не в счёт!*

Александр Васильевич Медведев - член Союза Художников России, Санкт-Петербургское отделение (с 1988 г.), член Союза писателей России (с 2003 г.). Старший преподаватель Института искусств Факультета Филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра «Графический дизайн».

Лауреат "Российского писателя" за 2015 год

Александр Медведев

ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

О книге Василия Чернышева «Исповедь пасынка века»

Вячеслав Овсянников

МИФ ОБ АВТОРЕ

22.06.2018

Василий Чернышев

ИСПОВЕДЬ

ПАСЫНКА ВЕКА

ИЛИ

ВСПРЕЧИ НА ДОРОГАХ



А. Медведев. ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

О книге Василия Чернышева «Исповедь пасынка века»

А ближнего вводить в искушение и в кривые толки не должно. Проповедывая даже истину, нужно соизмерять её силам и понятиям слушателей. Люди легковёрны там, где высказывается зло. Они недоверчивы и остерегаются, когда проявляется пред ними добро несколько необычное и не легко доступное.

П. Вяземский

«Если у народа есть „Хижина дяди Тома“, у него может быть и гражданская война» – сделал вывод американский философ¹. В таком случае, народ, у которого есть «Бесы», «Тихий Дон», «История города Глупова» просто обречён на гражданскую войну? Не потому ли не появляются новые «Бесы» (довольно и старых?) и поэтические исследования «Кому на Руси жить хорошо», что существует тонкое и не очень тонкое давление (государства? общества? самих пишущих?) на пишущую братию, что якобы их призвание совершенно в другом, а не в социальном плане?

В самом деле, сегодня на слуху в основном имена писателей, которые старательно обходят социальные, мировоззренческие темы, а если всё же касаются их, то делают это согласно методам глумливо-сатирическим в немногих изводах. Кстати, они довольно стары, их шаблоны ещё Лермонтов заметил:

Возьмёшь ли прозу? Перевод.

А если вам и попадутся

Рассказы на родимый лад –

То, верно, над Москвой смеются

Или чиновников бранят.

Суть этих методов в том, что они лишены сопереживания, писатель обличает не грех, но самого грешного человека. Даже не обличает, а безапелляционно осуждает. А ведь любой самый незначительный проступок слабого человека, каким, в сущности, есть каждый из нас, любой проступок, если его анализировать, так или иначе заставит коснуться непростых вопросов бытия. И что – давайте, отринув всяческую философию, бичевать, выстёбывать этого слабого человека? осмеивать все его заблуждения? А если ему это надоест, в конце концов, и он вздумает возмутиться, назидательно попеням ему, что он вообще не совсем-таки человек, коль не способен посмеяться над собой и не знакомо ему чувство самоиронии. И пусть он тогда оправдается, если успеет вникнуть в суть множества наших претензий к нему.

Господь испытывает. Иов многострадальный. Но он всё-таки был вознаграждён за любовь к Богу. В конечном счёте, Бог спас Иова и Даниила, и Иону, да и не только их. Так почему же он не спасает каждого человека? Вероятно, это и есть основной вопрос, мучающий писателя Василия

Чернышева. Это писатель, который видит своим предназначением спасение России и русского человека, то есть, всякого, живущего в ней. Следовательно, его творчество питают социальные темы и проблемы мировоззрения современного и традиционного человека. Следовательно, его задача быть *новым Диогеном*, ходить с фонарём в поисках человека в русском народе, быть *безумцем* – *отыскивать этому человеку путь к правде святой*. Нужна ли она ему (человеку) в таком виде, писатель порой и сам сомневается. Но, взялся за гуж...

На страницах книги «Исповедь пасынка века», «романе о неудавшемся романисте», галерея бедных людей, униженных и оскорблённых, явно непридуманных, наблюденных В. Чернышевым в деревне и городе, людей, действительно спасаемых им по мере сил.

Повествуя от первого лица, «Я» Чернышева также предстаёт не раз унижаемым и оскорбляемым. Пасынка века главным образом унижает и оскорбляет русский народ – та его безынициативная, инертная масса, чуждая родников культуры, которые рождают «быстрых разумом Невтонов», Чайковских, Достоевских, Розановых... О, эта масса! Непостижимая сложность простого! Но ведь и каждого из этой массы спасать надо – вот что прочитывается между строк суровых, пристрастных вопросов-допросов Пасынка века к русскому народу, к его властям, чиновникам, к забубённым разбойникам, расхристанным попам, к пропащим, разуверившимся, а потому страшным в потенциале людям.

Повествователь и сам разуверился, не верит больше в святоотеческое – спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся. Искренне ли его признание? Вопрос. Хоть и стоит в названии слово «исповедь», но всё-таки это литература, а в ней – красиво не соврать, рассказа не рассказать – законы воздействия на читателя всё те же, как тысячу лет назад. Хотя бы приврать, ругаясь или хвалясь. Сказав, недосказать. А только сказанного в книге на четыреста с лишним страниц мелким шрифтом. Разуверившемуся в народе, в христианстве, в марксизме да чуть ли не в себе самом, хватило бы и десятой доли объяснить: что-де канитель разводит, когда и так всё с вами, головотяпами, ясно? Однако автор профессиональный математик, а у математиков, известное дело, теоремы – высказывания, истинность которых надо доказать. Своих, а также высказываний Пушкина, Гоголя, Достоевского, Мережковского, да, пожалуй, всех классиков русской литературы и философии в книге не счесть, а сколько ещё «вынесено за скобки»! Особенно много в книге Розанова. Но ведь Розанов – высочайшая математика, – самый недоказуемый из недоказуемых и гиперболических – Достоевского, Мережковского, Бердяева... – кумиров, чьи сентенции аксиомы для стопроцентного русского интеллигента.

Что же так настойчиво доказывает В. Чернышев? Отчего, словно ведьминскими кругами, упорно водит он читателя не по сорока-пустынным Моисеевым, но по сорока на десять своих страниц, налитых, скорее горечью, нежели злобой?

«Смысл жизни состоит в том, чтобы стать образованным и

культурным человеком, заботящимся о благе близких, общества, государства, духовно свободным, ответственным перед историей, памятью народа, культурой и будущим; необходимо стремиться к нравственному, интеллектуальному, художественному развитию (этическому, логическому, эстетическому), физическому совершенству».

С этим не поспорили бы и авторы «Кодекса строителя коммунизма». Однако это не примиряет с ними Пасынка века. Не примиряется он и с христианством, которое трактует религией смертолюбия, противящейся любви живой. Определённый таким образом смысл жизни не позволяет ему принять усиливающуюся тупость примитивного существования современного мира. Правда, он не усматривает её усиление следствием отказа и от марксизма, и от христианства.

Тут читателю в пору бы задаться вопросом: А конституционно оформленный отказ от какой бы то ни было идеологии – не прямой ли это путь к маразматическому состоянию российского общества? Можно ли считать ответом на него следующие слова:

«Не в марксизме и христианстве сегодня основная причина трагедии русской жизни. Сердцевиной её является упадок всего совершенного, упадок высокого, запустение, растрение и *понижение, деградация жизни*.

Чувство, которое я переживаю, подобно тому, что я испытал бы, придя на пепелище своего дома после бомбёжки. И не только пала жизнь, но пал и снизился человек, постарел, обрюзг, подурнел, *поглупел*, словом, опустился, интересы его снизились до самого простого, обыденного, синоминутно-житейского. Этому человеку не нужен театр, концертный зал, не нужна книга, музей и выставка. Особенно удручает меня то, что пропал интерес к книге, жажда чтения. Если же книга и оказывается в руках у читателя, то это книга самая посредственная, лёгкая в восприятии, развлекающая».

Сразу хочется согласиться с писателем, так он эмоционален, и принять сие ответом. И то правда, разве и ты не думал точно так?

Соглашаясь, не сразу вспомнишь, что количество читателей от века величина постоянная, – это на заметку математикам: изучите явление, обоснуйте, успокойте – писателей. И успокойтесь сами. Как советовал доктор в фильме А. Балабанова «Мне не больно»: *Главное в этой жизни – найти своих и успокоиться*. А свои – вот они, послушаем. «Никакое время не было ещё так бедно читателями книг, как наступившее», – писал в 1849 году Гоголь Жуковскому. Лет через двадцать Некрасов театрально грезил о желанном времечке, когда мужик Белинского и Гоголя с базара понесёт. А мужик... Ему хоть кол, лишь бы *cool*... Несёт себе и несёт *милорда глупого*, благо, *милорд* не перестаёт нести чушь.

Испокон чушь делалась заменой *доброму и вечному*, которое так и не дало обширных входов. Да не сама сделалась, а путём обязательных массовых прививок. И привитый читатель уже называет её *абсурдизмом*. Несёт он с базара того же Хармса и возглашает: *Верую! Потому что абсурдно!* Верует, потому что отовсюду слышит о высшей ценности искусства, абсурде. «Открытие Хармса в том, что из нелепости, чуши и бессмыслицы он создал

абсолютно гармоничный массив текста. Его короткие вещи сказали о жизни больше, чем многостраничные романы, потому что были заряжены другой, могучей поэтической энергией»². И попробуй, возрази на это прививающим тотального Хармса вместо «Белинского и Гоголя», возрази, что не поэтической, а энергией хаоса пронизаны вещи абсурдиста – тотчас огребёшь: мракобес!

На этом фоне риторически прозвучит вопрос: а много ли (есть и будет) читателей у «Исповеди пасынка века»?

Книга, и это очевидно, не для массового читателя. «Могучей поэтической энергии» в ней совсем нет, автор задаётся серьёзными вопросами. Возможно, он даже излишне серьёзен в утверждениях, которым зачастую предлагает верить на слово (слово математика?). Именно эта серьёзность и навязчивость или наивность? или игра в наивность? для особо циничных читателей может обратиться юмористической стороной. Явление, обратное тому, которое произошло с пьесами Чехова. Он называл их комедиями, а до сих пор из них принято выцеживать драму и трагедию. А какая там трагедия – «Многоуважаемый шкаф...»? Они во многом по Гоголю – о пошлости пошлого человека. «Исповедь пасынка века» также род «многоуважаемого шкафа», собрание авторских и *классических интеллигентских* горестных замет о русской жизни. Всё то же о том же. Он по старой интеллигентской привычке *над Москвой смеётся*, и также он *чиновников бранит*. Что с того, что смех его сквозит слёзы? *Москва слезам не верит*, а осмеянная тем более. Станиславский тот и без слёз *не верит* и нам не велит. Что с того, что В. Чернышев описывает реальных людей, рассказывает о подлинных драмах, а то и трагедиях, разыгрывавшихся на его глазах, с его участием? Ты уж готов плакать над ними и плакал бы... Если бы после каждой такой небольшой, но очень содержательной истории или трогательной живой дневниковой записи автор не заставлял бы идти с ним сто поприщ пошлой (то, что пошло и давно исхожено) публицистики – о Сталине, большевиках и ГУЛАГе, о России, которую мы потеряли, о советской литературе, тлетворной в целом, о Сибири, которая будет отдана Китаю, и т.д. и т.п.

Странное бывает понимание исповеди. Суть её в раскаянии, в уповании на Бога, ибо только Он и может помочь человеку справиться с грехом, во всяком случае, поможет осознать грех. Нередко же люди под видом исповеди не каются в каком-то грехе, а душат священника «многостраничной историей болезни»: упуская главное, смакуют мелочи, вольно или не вольно прилетаемые для оправдания себя любимого. В этом открывается естественное наше *ветхочеловеческое*: найти себе, если не алиби, то смягчающие обстоятельства, дескать, это не я, не я – это жена дала мне яблоко! сам-то я кремень!.. В «Исповеди пасынка века» по существу прочитывается обличение и даже осуждение – не себя, что странно для исповеди, а русского народа. Пусть не всего, пусть части народа, в самом деле достойной обличения. Народа не согласного с изложенным автором смыслом жизни, – кто-то не считает нужным, а кто-то, допустим, по незнанию. Только писателю ли не знать, что народ – зеркало, в нём, приглядевшись, каждый

может себя узнать, так что неча... его обличать, давайте о себе. Хоть от первого лица, хоть от имени персонажей, оно и правдивей, и интересней получится. Да и обличение естественным образом проявится.

Что ценнее: смысл жизни или жизнь? Кто более достоин счастья: нашедший, как ему кажется, *некий смысл жизни* или просто любящий *жизнь*? Кто ответит – Розанов? Достоевский или Мережковский и прочие наследующие им любомудры? А слабо нам признать, что при всей их мудрости *страшно далеки они от народа*? И не потому, вероятно, что народ *недалёк*, а потому, что поиски смысла жизни ведут они, как правило, иступлённо, жизнь воспринимают не во всём её многообразии, а максималистски и веруют-не-веруют истерично? Народу такой ритм несвойственен. И это ни хорошо, ни плохо, это данность, с ней приходится считаться. А если не считаются, если народ в его широкой массе вовлекают в свой судорожный ритм – волжский разлив в устье горного потока, – так тут же в этой народной стремнине просыпаются бесы гражданской войны. И стремятся столкнуть народ в войну – с Небом, с Землёй, друг с другом. Потому и говорят: не буди лихо пока оно тихо. Как же! Пожарной сиреной в сердцах радетелей о народе толстовский вопль – «Не могу молчать!»

А был ведь и другой Толстой, не менее Льва негодующий на неправду в народе, но снисходивший до милосердия, до юмора почти психотерапевтического. Словно предвосхитив вопль «не могу молчать!» общеизвестного ордена всероссийских гордецов, Алексей Толстой устами правдолюбца Козьмы Прутковка предлагал: «Если у тебя есть фонтан, заткни его». Пасынок века, лишь подводя читателя к четыреста пятнадцатой странице исповеди, решает унять фонтан своего негодования. «Долго кипел я негодованием на окружающий мир, на власть, на народ, и в значительной степени *выкипел*. Последние страницы книги переписываю я пять раз, заканчивая их то упрёками, то отчаянием, то необоснованными надеждами. Наконец я нашёл умеренную точку зрения. Если я всё ещё не понял причины поступков и предпочтений конкретного человека, если я не понимаю, за что итальянцы полюбили Муссолини, немцы Гитлера и русские Сталина (...) – то как я могу обоснованно негодовать на них? Нет, мне ещё надо узнать многое в мире, чего я не знаю и не понимаю. Я словно бы вижу тягостный сон, в котором в бессильной ярости обличаю народ и близких – и начинаю лишь просыпаться».

Книга Василия Чернышева замечательное пособие по введению в заблуждение относительно действенности литературного поучения народа. Она для тех избранных, которые рады литературно-философски заблуждаться. Полагаясь на таких гидов, как Розанов, они напоминают картину Питера Брейгеля «Слепые» («Притча о слепых»). Они благодушно верят, что некая «красота спасёт мир». Как – вопрос не к ним, к Достоевскому: он ведь, что ли где-то такое сказал? Значит, она и спасёт, а не порядок в наших головах, не здравый смысл, не совесть.

Книга для тех, кто, не умея и не желая приспособить себя к миру, намреваются мир приспособить к себе. Кому никак не согласиться, что зло

следует приписать не природной необходимости (в которой В. Чернышев обвиняет большевиков) или отсутствию Божественного промысла (это об авторских претензиях к христианству), но приписать зло вине и неразумию человека.

Книга для тех, кто не верит, что это именно им тысячи лет тому было сказано: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. (Притг. 19)»

Впрочем, вспомним: автор неоднократно повторял, что он преподавал математику. Не усмотреть ли в этом намёк на приглашение проделать некоторое домашнее задание? Что если многостраничную исповедь подвергнуть художественно-математическому сокращению? Тогда она сводится к следующему знаменателю.

«Читаю злобные клеветы на русских, словно бы те же, что и у меня, но разница такая же, как между матерью, огорчённо ругающей своего непутёвого сына, и призывающей его исправиться, и воровским враждебным миром, который злорадно выговаривает случайному прохожему: не возносись, помни, что ты так же мерзок, как и все мы, такой же вор или сын вора, а *„сын вора будет вором!“* „*Врёте, подлецы!*“ – отвечаю я словами Пушкина.

Не это ли автору требовалось доказать?

Конец и Богу слава!

¹Берроуз Данем

²Владимир Глоцер

В. А. Овсянников. Миф об авторе

«Уже бо, братие, невеселая година встала,
уже пустыни силу прикрыла...
Тоска разлися по Русской земли».

Слово о полку Игореве

У каждого народа есть свой отличительный коренной тип лица, и мы сразу узнаём: это немец, это француз, это финн, это китаец. Есть такой отличительный тип и у русских. Мы встречаем его на древнерусских иконах и фресках в лицах святых, чудотворцев и пророков. Этот тип я увидел на фреске Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире в лицах праведников, ведомых в рай. Изредка встречал я этот исконно русский тип и среди ныне живущих русских. Один из них – Василий Чернышев, писатель, философ, математик, редактор, издатель, подлинный подвижник литературы. До сих пор, к сожалению, не оценен его подвиг в деле отечественной культуры – издание знаменитой Радзивилловской летописи. Василий Чернышев – потомок того самого атамана Чернышева, сподвижника Ермака, фигуру которого мы можем увидеть изображенной на картине Сурикова в Русском музее «Покорение Сибири». Достаточно взгляда на картину, чтобы убедиться: черты того легендарного Чернышева передались потомку. Василий Чернышев родился в деревне в Восточной Сибири 1 февраля 1942 года. А в 44-м году его отец, командир минометного взвода, погиб в бою в Карелии на одной из безымянных высот. Василию Чернышеву не пришлось увидеть отца живым. Осталось неизвестным и место, где его отец захоронен.

И вот – книги Василия Чернышева. В каждой из них я прочитываю между строк то, о чем автор посчитал нужным умолчать – глубинную душевную устремленность, которая не хочет о себе заявлять во всеуслышание. Устремленность к поиску. Упорный, неотступный поиск. Поиск чего-то самого важного в жизни. «Мысль разрешить», как говорили герои Достоевского. И этот поиск, это «разрешение мысли» не дает ему мирно жить, в покое и благополучии. При его многообразных дарованиях он мог бы сделать превосходную карьеру, стать успешным литератором, издателем, общественным деятелем, прославиться и разбогатеть. А вместо этого жизнь его – крушения и катастрофы. Чего же он ищет? Что превращает его жизнь в череду бедствий, неурядиц, крахов и разочарований? Как это ни старомодно звучит в наше время (и даже в диссонансе с нашей цинической эпохой), ищет он идеала. Небесный образ. Свою Дульсинею-Россию. И не найти ему ее здесь, на земле. Ему, странствующему рыцарю, борцу со злом, взявшему на себя миссию спасения своего народа. Никак не найти. И существует ли она вообще, в реальности? Ведь она – идеал, призрак. Всегда ускользающий, небесный призрак, мечта, золотой сон.

И вот – еще одна книга Василия Чернышева – ком горечи и отчаяния. Книга одинокого голоса, вопиющего в пустыне. Том почти 500 страниц мелкого, с трудом читаемого шрифта. «Исповедь пасынка века». Почему – пасынка? Век ему не отец. Век ему – зверь-отчим, «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя». Родной отец погиб на той безымянной высоте в Карелии, хорошо хоть из писем зная, что у него в далекой сибирской деревне

родился сын. И через полвека сын отправится на поиски могилы отца. И отыщет отцовскую могилу. И поставит на вершине холма памятник. Памятник не только отцу. А всем павшим здесь вместе с ним, в том давнем бою. Или – всем павшим в той войне! Во всех войнах!

Что же это за исповедь? В чем исповедуется автор? В каких грехах? В том, что никого ему не спасти – ни свою страну, ни свой народ, ни своих близких, ни себя, ни – мир? И – никакого упоения в бою у бездны мрачной на краю. Какое уж тут упоение! Поэт и чернь – кто есть кто? Не разберешь. Черно в глазах. Просыхает на столе черновик нового, нелушкинского «Пророка». И слезы давно высохли, и в Москве им не верят. И потомок героического казачьего атамана Чернышева, сибирский мальчик, пасынок злого века, стоит на перепутье: направо пойдешь – в сердце нож. Налево пойдешь – будет то ж. Есть такие пасынки. И чтобы опять попасть на верный путь, автор, исстрадавшийся, истерзанный писанием своей мучительной, исповедальной книги, в тщетных поисках выхода из духовного тупика, возвращается к обретенной им могиле отца. Отец, родная кровь, – укажет путь. Память о погибшем отце вернет на прямую стезю заблудшего сына.

Странная это книга. Странная, полная сумбура и хаоса, смуты, отступлений, перескоков, зигзагов, многоочерчия и повторов. И в то же время слышится в ней сквозь шум слов какая-то потаенно звучащая, чистая, прозрачная музыка. Я бы сказал – музыка сердца. Страдающего, терзаемого тревогой и непокоем сердца. Неравнодушного к бедам и горестям ближних и дальних.

Исповедь, не исповедь, проповедь, воспоминания, допрос следователя, философско-математический трактат, дневник, «темный бред души»? Чернышев сам признается в своей книге: «Что я пишу, воспоминания или исповедь? Или веду допрос, в котором отчитывается передо мной мир? Или зачитываю приговор миру, вдохновляемый обличениями ветхозаветных пророков? Или создаю новый миф? Да, преимущественно мои Записки – это миф обо мне... Это, конечно, не Исповедь, а миф обо мне – но он правдив... Увы, сумбурную книгу я написал (вместо музыки), но изменить ее не смогу».

Что ж, нельзя не согласиться с самокритичным признанием автора. Излишнее философствование и ненужные рассуждения убивают прекрасную, блестящую прозу. А ее немало в книге. Вот, например, такой отрывок:

«У нас в деревне поют соловьи, моя жена, любуясь их пением, объясняет мне, что поют самцы и приманивают самок, и те выбирают того, чье пение им нравится больше. Но самое поразительное состоит в том, что нравится и человеку и соловьихе наилучший соловушка один и тот же, и наш вкус оказывается с соловьихою одинаков. Но еще поразительнее то, что птицы слушают и нашу музыку тоже, и заслушиваются, а прошлым летом я переговаривался с неизвестною птицей (может быть, это была чья-то душа), подражая ее голосу (как бы передразнивая), а она отвечала мне то так, то этак, и пока я шел по дороге, все за мною летела».

Все сказано в этом замечательном поэтическом фрагменте. Комментарии излишни. И, казалось бы, не требуется от автора ни исповедей, ни проповедей, ни самоистолкований, ни выяснения отношений с веком и миром, а только книги вот так написанной прозы. Но автор нам говорит с грустной искренностью: «изменить ее не смогу».

РАЗБОРКИ СРЕДИ КРИТИКОВ



Геннадий Муриков
Три поэтических мира
Какова же судьба русских олигархов
(или о чем олигархи плачут)?

Татьяна Лестева. Сказка про Золушку «второй свежести»

Геннадий Муриков

Три поэтических мира

Известный московский прозаик, публицист и поэт Юрий Баранов, о котором мы уже писали свою, новую книгу стихов «А Китеж всё-таки всплывёт» (М., 2018) посвятил глубоким размышлениям о судьбах России и своей собственной судьбе.

Пожалуй, важнейшим из внутренних поэтических и психологических восприятий автора стало его стихотворение «Коренные русские ощущения»:

... Всё хреново, хреново, хреново.
Хоть убейся. Но слёзы не лей.
Завтра вспыхнет прекрасное снова
Над прекрасной страной моей. (...)
По-над Волгой, в Москве, на Урале
В среднерусских светлицах от сна
Пробудятся мадонны и крали –
Наша вечная чудо-весна.

В своём предисловии к этой книге, которое автор назвал «Мне крупно повезло», кратко рассматривая итоги своей жизни и творческой судьбы, Ю. Баранов, далеко уже не молодой человек (ему 85 лет) описывает годы своей юности, выпавшие на позднесталинскую эпоху. Уже тогда он увлекался полузапрещёнными в то время поэтами – С. Есениным, А. Блоком, Н. Гумилёвым. Мотивы этих классиков русской поэзии постоянно прослеживаются и в современном творчестве Ю. Баранова иногда всерьёз, иногда в шутку. Например, из стихотворения «Автопародия»:

Сто грамм нектара засадил с утра,
Заел амброзией, лёг поперёк дивана.
С богинями всё то же, что вчера:
Венера ластится, но я хочу Диану. (...)
Омар Хаям и Франсуа Вийон
Приедут к нам на фестиваль поэтов.
...Нет, к чёрту! От Дианы СМС!
Я от волнения чуть не выронил мобильник:
«Твоя взяла. В меня вселился бес.
Готовь постель. И – водку в холодильник». (2014 г.)

Как мы видим, поэт не прочь пошутить, несмотря на свой возраст. Известная русская пословица гласит: седина в голову, бес в ребро. Или из цикла «Западные козлы»:

Чарли Дарвин, козёл, обезьяний внучок,
Открестился от Господа Бога,
Он отверг с человека Небесный Исток,
Рассказал, как всё было убого.
Он учил: превратились амёбы в клопов,
А клопы в червяков, и со временем в мушек.

Пару тысяч веков, десять тысяч шагов –
 И мы видим в итоге лягушек. (...)

Правда, он никогда не учил,
 Отчего механизм запустился,
 Кто инстинкт, жажду жизни в зверей заложил –
 Он какого рожна появился?

В этом же цикле есть интересное стихотворение «Мордехай Леви (Карл Маркс) экономист из Германии», которое мы по соображениям обвинения в антисемитизме не будем цитировать.

Но не следует думать, что новая книга Ю. Баранова ограничивается только шутивными и ироническими стихами. Основное – это раздумья о том, что было и будет с русским народом. В чём-то автор сочувствует советской эпохе, в которой он прожил большую часть своей жизни. В чём-то отдаёт дань нынешним демократическим тенденциям. Но к сожалению, читатель не найдёт в этой книге строк, посвящённых истории России.

Может ли всплыть «советский Китеж», пресловутый Советский Союз с его «братскими народами»? Едва ли. А вот Россия обновиться может – но уже без советского интернационализма.

Раз уж мы посвятили этот выпуск «Дневника критика» поэзии, то и поговорим о поэтах, а точнее о поэтической манере нашего времени. Новая книга **Авторы Невмержицкой «Отражение»** (СПб, 2016) представляет собой, как написано в аннотации, сборник избранных стихотворений из предыдущих книг. Внимательно изучив эту книгу, я бы дал ей другое название: «Записки старой девы». Если не с внешней точки зрения, то по существу читателю представлен какой-то инфантильный труд человека, который не понимает, в каком мире он живёт.

Уже в конце своего сборника поэтесса, как бы подводя итоги своему творчеству, пишет: «Ты хочешь ещё раз пережить уход из песочницы? – спрашиваю я себя и останавливаюсь на полпути к телефону» (с. 268). Поэтесса, судя по приведённой фотографии и по некоторым фактам её жизненного опыта, упомянутого в книге, отнюдь не молодая женщина. Но почему-то она так и не смогла выползти из песочницы.

Вот что написано в так называемом разделе «Аллегории Летнего сада»: «"Аврора" – какие линии! Стыдливость и надежды! Рождение дня...» (с. 256).

О ком это? О крейсере «Аврора»? Или о самой поэтессе по имени Аврора, – так сказать лёгкий автокомплимент. Читатель, если дойдёт до этой страницы, только усмехнётся, тем более, что перед этим он уже столкнулся и с другими перлами:

Нам дарят слово облака.
 Строка изящна и легка –
 Мне на страничку падает
 И чьё-то сердце радуется,
 Как капелька осенняя
 На розовом цветке.

2012 г. (стр. 239)

Да, едва ли поэтесса выбралась из своей песочницы!

В предисловии к сборнику, написанному известной графоманкой Норой Яворской, сказано, что поэтесса якобы «даёт читателю возможность самому домыслить стихотворение, стать его соучастником» (с. 3), то есть вместе с Авророй Невмержицкой поиграть в песочнице.

Может быть, некоторые её стихи и тронут сердца любительниц рабыни Изауры, тем более, что все они написаны в сентиментально-мещанском стиле. Например:

Покуда бьётся тот огонь –
Живёт и властвует Любовь! (с.22).

Отметим, кстати, «оригинальную, ценную» рифму огонь - любовь, достойную общего «поэтического» уровня сборника.

К числу положительных моментов я могу отнести только один: автор, долгие годы постоянно живущий в Эстонии, всё-таки пишет слово Таллин с одной буквой "н". Но не потому ли это, что книга издана в Санкт-Петербурге?

О дебютной книге **Екатерины Огарёвой «Стежки и стёжки»** (СПб, 2018), любезно предоставленной мне для ознакомления известным петербургским литератором Р. Кругловым, можно сказать только одно: это образец литературной графомании и местечковой самовлюблённости.

В предисловии к книге некто Николай Куленко, характеризующий себя как «засракуль» пишет о творчестве поэтессы-дебютантки весьма положительно. Неопытный читатель может удивиться, кто такой «засракуль»? Расшифруем: так в советские времена в шутку называли заслуженного работника культуры, также как «жёписы» - это жёны писателей и т.п.

Умудрённый опытом засракуль начинает сразу и по существу: «Человеку не всегда выпадает доля прожить свою жизнь в местах, где он родился, рос, построил дом, народил детей...». Ну, а если он родился и рос от матери-уголовницы в тюрьме? Чем же он должен быть счастлив, думая о своей малой родине? Такие мысли засракулью в голову не приходят.

Зато они приходят автору сборника, который изображает своё детство и юность, как некое пребывание почти что в концлагере, который условно назван «мордовским селом Старое Дёмкино Пензенской области».

Бабка башню Пизанской
Накренилась надо мной.
Я молчу по-партизански,
Хоть она грозит тюрьмой:

Дальше поэтесса-дебютант пишет: «Свой первый сборник стихотворений я решила посвятить именно дорогим сердцу местам, любимым людям, без которых бы и не было меня как поэта, как личности».

Увы, уважаемая поэтесса, несмотря на то, что вы написали в этом сборнике, в вас не заметно ни поэта, ни личности. Заметно лишь одно: жалкие графоманские потуги:

Я, будто солнце, скатываюсь с кручи
 И озаряю радостью крыльцо.
 Бабуля плачет: «А мон `учан, `учан...»¹
 И трёт платком солёное лицо.

Спрашивается, как понимать эту белиберду? Или в другом месте:

Стежки да стёжки –
 Вот мои стихи,
 Оставленные так, на всякий случай,
 Босой ступнёй, иголочкой колючей.
 Стежки да стёжки –
 Вот мои стихи.

Уважаемая поэтесса, если ваши стихи – это «стежки, да стёжки», не лучше ли вам заняться рукоделием в домашней обстановке? Такая узорь мышления и поэтического восприятия никогда, а особенно сегодня, не считалась ни достижением, ни своеобразием, а только обыкновенной малограмотностью. Некоторые поэты так называемого народнического направления во второй половине XIX века, как например И. Суриков, И. Никитин даже несколько похвалялись тем, что им чужды «выверты» поэтов-аристократов, как тогда говорили, – Пушкина. Лермонтова, Тютчева... Вспомним суриковскую «Зимнюю деревню»: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, / Вот качусь я в санках по горе крутой, / Вот свернулись санки и я набок - хлоп! / Кубарем качусь под гору».

Прошло больше ста пятидесяти лет, но эти стихи, по крайней мере, понятны современному читателю. А деревня Екатерины Огаревой – это совершенная невнятица даже сегодня, и никакой любви автора к ней не чувствуется:

«Улыц `ясо `якшамо»¹, – вздыхает бабка, –
 «А к `ельмемс!»² Снова в печь кладёт дрова.
 Фуфайка набекрень, под мышкой шапка –
 И я бегу в проулок со двора.

Ну, и беги, дитяtko, со двора. Прибежала же всё-таки в Петербург из своей «малой родины». Обратнo вряд ли туда поедешь, а покуражиться хочется, и даже словариk непонятных слов языка эрзя прилагается ко многим стихотворениям.

Как трогательны, например, такие воспоминания:

У Саньки дома восемь поросят!
 Он вроде бы хотел морскую свинку
 (В мечтах Санёк весьма затееват)
 Вот! Спит теперь со свинками в обнимку –

Поистине хочется всплакнуть. Или расхохотаться.

Поздравляю вас с дебютом, Екатерина Огарёва. Вы, как мне кажется, превзошли даже графа Хвостова.

Санкт-Петербург

Геннадий Муриков

Какова же судьба русских олигархов?

В новом романе «Тайные виды на гору Фудзи» («Эксмо», М. 2018) В. Пелевин, как всегда, ироничен и, как всегда, связывает международную политику с сексуальными проблемами: «Люди получают радость уже не от “удовлетворения потребностей”, как наивно верили советские теоретики, а от приближения своего образа к закачанному в него шаблону» (с. 193).

В. Пелевин прекрасно понимает, что современная – отчасти западная, отчасти российская – нынешняя культура строится на понятии шаблона, аналогично творчеству голливудских режиссёров.

Основные герои Пелевина – три российских олигарха разной значимости по спискам ФОРБС – сначала хотят обрести внутреннюю самостоятельность, опираясь на методологию буддизма. И вдруг после того, как они достигли некой буддийской святости, им стало казаться, особенно еврею Юрию Соломоновичу, что святость им, в общем-то, и не нужна. Наоборот их таинственный путь к буддизму и к высшему просветлению ведёт их к отлучению от мирских благ, а особенно от солидных вкладов в международных банках, что для них, а особенно для Юрия Соломоновича почти равно трагедии всей жизни.

Вот что интересного пишет автор по еврейскому вопросу: «Старушка-лекторша, перешедшая с истории КПСС на культуроведение, уже объясняла культурную ситуацию в США:

– Вы должны понимать, друзья мои, что в современной Америке всем завидуют неконы, то есть бывшие троцкисты. Всё, что говорил и думал Лейба Бронштейн, для них как евангелие, и они неукоснительно воплощают это в жизнь. (...) Нынешние неконы по-русски не говорят и Троцкого изучают в переводе. Им, видимо, неправильно перевели, и они решили, что “распустить” (Троцкий предлагал распустить армию – *Г.М.*) означает “растлить”. Отсюда и мужеложество, постепенно внедряемое в войсках» (с. 47).

Значительная часть романа посвящена внутреннему перерождению его основных трёх героев в сторону буддизма, но потом, когда им это не понравилось, их возвращению в обычную жизнь.

Пелевин, как всегда, иронизирует:

«– Сейчас многие богатые люди ищут духовных постижений, тренд такой. Но вряд ли кто-нибудь что-то такое реальное найдёт без эмо-пантографа. Шанс только у вас.

– А кто ещё ищет-то? – спросил я.

– Да вон хотя бы Герман Греф. Выписал себе индийского гуру на собрание менеджеров. Не слышали?

– Нет, – сказал я, – не слышал» (с. 114).

И мы тоже не слышали. Но то, что в правящих кругах муссируются понятия о тонких вещах, сомнений не вызывает, так что читатель может делать любые выводы.

«— Что с нами вообще произошло за последний век в культурном плане? – спросил Юра (один из персонажей романа – Г.М.). – Революция, Гагарин? Да нет. С ломаного французского перешли на ломаный английский. Потому что русская культура свои жизненные соки и смыслы не из себя производит, как Китай, Америка или Япония, а из других культур подсасывает. Вот как гриб на дереве. И за одобрением тоже за бугор бегаёт, как в Орду за ярлыком» (с. 326).

Ему как бы отвечает второй олигарх, Юра: «скажи вот честно, ты им что, команду такую даёшь по еврейской линии?»

– Да ты одурел что ли, Ринат! – заорал в ответ Юра. – Я им по еврейской линии только одну команду даю – чтобы они на операционную прибыль выходили» (с. 327).

Читатель может задуматься над вопросом, кто такие «мы» и «они», хотя мне кажется, что ответ ясен: мы – это внутренние олигархи, а так называемые «они» это работники международных корпораций.

Я уже отметил, что прирождённый философ-буддист В. Пелевин в этой книге подсмеивается над своими прежними воззрениями. Один из его персонажей – Ринат, после возвращения из ниббаны возвратившийся к нормальной жизни олигарха, выступает с неожиданным заявлением: «Хочется гадов забомбить спецторпедой, устроить им радиоактивное цунами. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон... Это для начала.

Он захохотал и подпрыгнул на месте, словно спортсмен, только что взявший олимпийский рекорд» (с. 349).

Однако это заявление мне представляется не неожиданным, а скорее *déjà vu*: в далёкие 1960-е годы академик А.Д. Сахаров предлагал разместить у Атлантического побережья США ядерное оружие, при необходимости взорвать его, чтобы образовавшееся цунами затопило США.

Роман Пелевина – это тема для больших внутренних размышлений, относящихся не только к читателю, но и к обществу. Суть вопроса в том, что писатель как бы ведёт диалог с читателем и самим собой, указывая на существующие слабости в социально-политической структуре нашей страны. Очень характерна и наводит на глубокие размышления такая вот его мысль:

«Публичные дебаты, таким образом, лишаются всякого смысла. В них больше нет элементов собственно “дебатов”, то есть выяснения истины – они становятся просто способом предложить себя информационному рынку. (...) И как же одиноко среди этих умных, тонких, красиво говорящих, безукоризненно одетых продавцов души!» (с. 378-379).

Кому одиноко? К сожалению, всем нам.

Вторая половина романа посвящена женскому вопросу. Как всегда, В. Пелевин иронизирует над всеми так называемыми «процессами» в феминистической литературе. Я думаю, станет афоризмом его высказывание:

«Когда играешь в футбол, забываешь, что в мяче пустота» (с. 313). Особенно нам кажется актуальным это замечание в связи с недавним инцидентом футболистов Мамонова и Кокорина. Известная мажорка Багдасарян тоже похожа на футбольный мяч.

Особый вопрос связан с внутренним преображением русской девушки Тани, попадающей под влияние тёмных феминистических сект, где ей внушают, что современная женщина похожа на ящерицу. Их покровительницей будто бы является некая прото-ящерица Святейшая Игуана. Современной женщине внедряются в сознание «такие культурные жетоны, как “ненависть ко злу”, “благородное негодование”, “сострадание к жертвам”, “поддержка меньшинств”, “борьба за женское равноправие” и так далее. Духовная культура надзорного капитализма точно также основана на имитации добра, как порнография основана на имитации оргазма.

Но сегодня недостаточно колебаться вместе с линией партии – надо бежать на полкорпуса впереди. Лицемерие должно быть не пассивным, а активным и «высокоинициативным» (с. 377- 378).

О дальнейших перипетиях героев этого романа читатель узнает сам, когда его прочитает. Я же хотел только подчеркнуть социальную и даже отчасти политическую мысль автора, как она мне представляется.

Санкт-Петербург

Татьяна Лестева **Сказка про Золушку «второй свежести».**

Издательство «Эксмо» пообещало «удивить» читателей новым романом «Единственного и Неповторимого». Сомневаюсь, что в наши дни есть нечто, что может удивить, и даже, по мнению О. Аминовой, *«рассмеить»* и самого угрюмого критика, и даже далёкого от интеллектуальных изысков читателя», но всё же... В первый день появления книги в Петербурге *по традиции* иду её покупать из боязни, как бы не опоздать *посмеяться* в весьма драматические дни нашей страны: и Украина, и санкции, и гибель самолёта с разведчиками, и кризис, и растущая инфляция, и грядущая (не дай бог!) война, не холодная, а по-настоящему горячая... «Смеяться, право, не грешно»... Но как бы не сбылись слова Гордничего из «Ревизора» Гоголя (автор, естественно, появляется на страницах романа о тайнах Фудзи, правда, только в виде памятника): «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!»

Читаю и перечитываю порой. Роман традиционен для В. Пелевина и одновременно не совсем традиционен. Не отходя от своей творческой манеры поиска аналогий между прошлым и современностью, автор не пропускает мимо своего взора ни одного мельчайшего события из жизни не только России, но и всего мирового сообщества. Кстати, не потому ли в последние годы В. Пелевин выпускает свой «ежегодник» – один роман в году – в конце третьего квартала (раньше они выходили весной), чтобы не упустить какие-либо наиважнейшие события вроде «чёрного августа»? Но это к слову. Роман не совсем традиционен в том, что главной героиней является не лисичка А Хули, не Великая Мышь, а обычная русская девушка Таня, естественно, красавица, причём отнюдь не «душевной красотой», спрос на которую в наши дни «примерно такой же, как на ёлки после Нового года». Не совсем традиционно в отечественной литературе и имя героини – Таня: после пушкинской Татьяны Лариной оно нет-нет да и мелькнёт то у двоюродной бабушки главного героя в романе Гончарова «Обрыв», то у горничной в рассказе Бунина, то ...его носительница громко заплачет у Агнии Барто. Правда, аух parenthesis, среди немногочисленных рецензенток, авторов статей на сайте В. Пелевина, *две* Татьяны! Но чтобы главной героиней – это совсем редко, отнюдь не стандартный приём. В романе Таня появляется не в пору её расцвета, а уже в период «второй свежести», с приобретёнными двумя десертными килограмм лишнего веса, недовыщипанной бровью и перспективой, что волшебная карета красавицы станет «тыквой, катящейся по земле к утилизационному рву в компании других несвежих и побитых жизнью овощей». Ей не удалось, несмотря на шанс, стать «трофейной женой» олигарха: «время было мерзкое, и пришлось сыграть по-мелкому». О «кармической жене» и говорить не приходится: «этим ухмыляющимся загорелым тёткам (к тому же «старым, толстым, непривлекательным» – Т.Л.) не надо было бороться за место под солнцем. Они его заслужили. (...) линии судьбы, соединяющие их с мужьями – надёжные и прочные узы, любая попытка порвать которые вела прямо в лондонский суд. Ибо, как было сказано, *за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины, и*

британские юристы отлично умеют переводить эту максиму на язык конкретных цифр» (с.55). Пока ничего смешного не видно. Не потому ли плачет Тая в романе вслед за героиней Агнии Барто?

Мужчины – герои романа – куда более успешны. Их трое. Это олигархи, правда, вошедшие в список Forbs под разными номерами. Пелевин исторически точен в своих аллегориях: в верхних строках списка фигурирует Юрий Соломонович Шмуклер, несколько ниже его Ринат Мусаевич Сулейменов, и совсем уже в конце страницы миллиардеров – Фёдор Семёнович – бывший одноклассник Тани, называемый «ушлёпок» Федя, и её печальный Пьеро. Это олигархическое трио, весьма успешно выжившее в разборках кровавых 90-х годов России и, пользуясь аллегорией Пелевина, ползущее улитками по горе Фудзи, но ещё не достигшее её вершин, пресытившееся всеми доступными им радостями, вдруг озаботилось *поисками счастья*. И на страницах романа появляется менеджер из Сколково Дамиан Улитин (не Демьян, хотя аллюзия с «Демьяновой ухой» весьма допустима), обслуживающий список Форбс стартапом «Фуджи И», «Расшифровывается – “Fuji Experiences”». Вот эти эксперименты один за одним и будет проводить Дамиан с олигархами, дабы познали они «блаженство».

Пелевин не был бы Пелевиным, если бы не акцентировал внимание читателя на стартапах Сколково. В ответ на вопрос Фёдора Семёновича, «рассказать, как там “стартапится”, Дамиан решительно сказал: «... девяносто процентов всех стартапов – это чистой воды кидалово. (...) их начинают с одной целью – создать видимость движухи, чего-то такого многообещающего и рвущегося в небо, и сразу, пока никто не разобрался, эту видимость продать. Продают в таких случаях, по сути, презентацию с картинками, файл программы “power point”, а деньги берут настоящие. (...) То есть люди с самого начала думают не над тем, как повернуть рынок, или хотя бы предложить людям новый продукт или там услугу, а над тем, как склеить эффектное чучело. (...) Можно бюджет пилить, а можно на стартапах поднимать. Суть одна и та же».

Смешно? Отнюдь нет. Откроем хотя бы Интернет: «Проверка Счётной палаты показала колоссальные финансовые злоупотребления в “Сколково”». Да и можно ли было ожидать чего-либо другого, когда председателем ОАО «Роснано» является Чубайс? Увы, ответ однозначен.

Но вернёмся к практике постижения счастья в стартапе Дамиана. Для начала – это хорошо известная со времён Фрейда практика психоанализа. Цель стартапа Дамиана, как отмечено выше, не изобретать что-то новое, а продать старое, приукрасив его свежими фиговыми листиками. Продажа удалась, правда, это самая дешёвая практика. Нереализованная в юности возможность, рождавшая неудовлетворённость в душе «ушлёпка» Федя в течение жизни закрылась, хотя и не принесла ему ожидаемого счастья. А что до страданий униженной и оскорблённой в своих ожиданиях Татьяны, так они были оплачены. Рынок есть рынок. Но олигарх Фёдор Семёнович хочет-таки счастья, причём не сильного, слабого, мимолётного, нечаянного, а *высшего*. И вот здесь всемогущий сколковец направляет всё трио в буддизм, для освоения техник медитации с последующим просветлением. Увлечение буддизмом

стало весьма модным в сферах власть – (то бишь деньги) имущих. Даже Герман Греф «выписал к себе индийского гуру на собрание менеджеров». За Грефа не поручусь, – не знаю, но увлечение Виктора Олеговича восточными религиями достаточно широко обсуждалось в литературе и мировой паутине. Антиклерикальная направленность его произведений общеизвестна, именно ему принадлежит термин «воцерквлённые говнометатели». Но пришла пора дать оценку и буддизму. И он её вкладывает в уста Фёдора Семёновича (стр. 117): «...какой Господь, это же буддизм. Там ни Бога нет, ни чёрта. Или чёрт всё-таки есть? Чёрт у них вроде есть, а Бога нет. Нормальную религию придумали индусы. *Оптимистиченько...*» (Курсив мой – *Т.Л.*) Воистину оптимизм перехлёстывает через край. И, тем не менее, перед каждым из олигархов возникает лысый – тибетский монах с миской для собирания еды и зонтиком в руках, проводник в джану – страну просветления и обретения счастья. Не буду описывать ни технические приспособления – эмо-панораф, шлем, – ни методику работы тибетского монаха с переводчиком, появившегося у каждого из олигархов. Отмечу только их пронизательность, во всяком случае у монаха саядо Ана, сразу поставившего диагноз Фёдору Семёновичу: «Ваш ум, – сказал он, – находится в состоянии постоянного нервного бурления нечистот...» (с. 118). С этим трудно не согласиться, зная историю многострадальной России в пере- и постперестроечный период. Откуда тут взяться чистоте? Но желания посмеяться как-то снова у меня не возникло. Не вызвало у меня желания посмеяться и описание буддийских практик Фёдора, его вхождения в нирвану. Этот *памфлет*, написанный яркими, крупными мазками постмодернистской живописи с включением тончайших лессировок при изложении философии буддизма, читатель прочтёт, надеюсь, с не меньшим удовольствием, чем я. Троица олигархов таки дошла до четвёртой джаны, где даже отдыхает, хотя Ринату «страшно вато иногда делается. (...) Как будто я в храм забрался и шашлык в нём жарю» (с. 143). Опасения Рината оказались не напрасными: в отличие от просветлённых лысых соратникам не удавалось самостоятельно проникнуть в четвёртую джану, а монахи покинули их. Пелевин, блестяще зная психологию капиталиста со времён Карла Маркса, со всем присущим ему саркастическим остроумием отмечает, что Юрий Соломонович во время нахождения в четвёртой джане, «где можно так аккуратно заглядывать во всякие вопросы», постиг, что биток (криптовалюта биткоин – *Т.Л.*), поднявшийся с 6 до 18 тысяч, «дальше он вниз пойдёт. И всё продал». «Я (Фёдор Семёнович – *Т.Л.*) понял, о чём он говорит. Действительно, если Юра отмолил такой номер, честь ему и хвала – но что тогда мешало самим монахам вложиться в биткоин? А они ничего подобного не делали, вместо этого работали у нас чем-то вроде экскурсионных пони» (с. 210 - 211). Да, монахи неподкупны, свято соблюдают запрет «на использование магических сил в мирских интересах». Им не надо другого имущества, кроме миски и зонта. Для подтверждения этого тезиса Пелевин цитирует песню «Русская нирвана» БГ (для непосвящённых, Бориса Гребенщикова – *Т.Л.*): «На что мне жемчуг с золотом, на что мне арт повеау; Мне кроме просветления не нужно ничего». И Виктор Олегович выносит приговор буддизму, естественно, вкладывая его

в уста самого бедного из просветлявшихся олигархов Фёдора: «Я понял, наконец, кем на самом деле был Будда. Он был дилером. Да-да, самым настоящим дилером – и за ним повсюду ходила ватага изощрённейших и опытнейших торчков, которых он посадил на самый изысканный и тонкий кайф в мире. Никто из этих людей не работал: они жили в тёплом климате, собирали бесплатную еду, поглощали её до полудня – чтобы больше времени оставить себе на медитацию – и ежедневно погружались в этот резервуар счастья... А говорили при этом о страдании...»

И ещё Будда был великим хакером. Только хакнул он не сервер Демократической партии с ушами от мёртвого осла (Намёк, надо полагать, не нуждается в специальном разъяснении – *Т.Л.*), а самый совершенный компьютер, который природа создала за пятнадцать миллиардов лет. Он хакнул человеческий мозг» (с. 215).

Вот и вся «философия» буддизма. Коротко и ясно. И если верить Станиславу Гурину, что Пелевин «подолгу жил в буддийском монастыре в Южной Корее», т.е. познавал буддизм *изнутри*, то сразу невольно вспоминается история Лео Таксиля с его «Забавной библией» и «Забавным Евангелием». Он, поработав в архивах, написал первую книгу, после чего был изгнан, через некоторое время покаялся, его простили, он снова поработал в архивах и повторил первый подвиг, правда, после него он не был прощён. Не знаю, будет ли возвращаться Виктор Олегович в буддийский монастырь, увидели ли просветлённые монахи эту книгу, но... аналогия, как мне кажется, имеет место быть.

Но вернёмся к несчастным олигархам, после просветления потерявшим своё «Я» и заболевшим «правдой жизни»: монахи ушли, самостоятельно проникнуть в четвёртую джану герои романа не могут, вместо просветлённого счастья – тьма и мрак и превращение в «иллюзорную личность»: «Был Ринат из списка “Форбс” и всё. Тело живёт, бабло на счетах, бизнес работает, а самого главного уже нет. Да это ведь хуже инсульта! Там будешь хоть и парализованный, но ты сам и с бабками. А здесь...» (стр. 246). Драматические страницы описаний терзаний героев романа, их страдания не только не вызывают желания хотя бы улыбнуться, отнюдь нет. Скорее даже некоторое сочувствие рождается к бедолагам, у которых остался только страх, ощущение, что они проваливаются в какую-то бездну. Но в рыночное время предусмотрительного бизнесмена должен спасти контракт. В контракте Юрия «лечение» предусмотрено. А уж как «лечить», – это забота менеджера и автора, естественно. Неуёмная фантазия Пелевина приведёт на страницы романа и профессора-буддолога, философски отметившего, что раз есть путь вверх к ниббанае, – метафора улитки, ползущей по склону горы Фудзи, – то «должен оставаться и путь вниз. (...) Сверзиться, так сказать, назад в пучину омрачений, из которых перед этим удалось вынырнуть». В специальных программах и процедурах «лечения» олигархов, составленных Генеральным Экзекутивом Дамианом Улитиным, детально описаны основные догматы буддизма от «Пяти неискупимых грехов» до «Десяти заповедей буддизма». Пелевин не только саркастически излагает их сущность, но фактически издевается над применением буддистских практик в наше рыночное время, заканчивая

описание каждой процедуры сакраментальной фразой: «Стоимость и сроки уточняются». Олигархи понимают, что Дамиан и тут хочет нажиться, «надеется попилить», но относятся к этому с пониманием: «Ну, а кто тебе сейчас без пилы что-то делать будет?» (с.308). Увы! Каждый божий день СМИ открывают информацией о новых и новых распилах российского бюджета.

Предоставлю читателю возможность самому ознакомиться с методологией «лечения» и трудным путём вниз по склону. Как говорят французы, *cherchez la femme*, тем более в наше время яркой вспышки мирового феминизма. Естественно, что Пелевин не мог пройти мимо движения МЕТОО, движения за достоинство и неприкосновенность женщины в Америке. Татьяну, после трагической встречи с Фёдором спасает не идеологема девок на картошке, что «мужики сволочи, а счастье в труде», а обращение к феминизму.

Надо сказать, что идеи феминизма периодически мелькали в творчестве Пелевина и раньше, например, в «Смотрителе» он утверждал: «Древний адамов грех не просто жив – он увлекает нас в бездну ежесекундно». Но в этом романе Виктор Олегович не только дал феминистское определение мужчине – «**умразь), не только посвятил откровенно-проникновенные строки представительницам феминистского движения /Ах! Какие женщины! «Перед Таней стоял агрессивно перекачанный мужик в коротких спортивных шортах . (...) Он действительно был перекачан даже по сравнению с другими качками-уродцами, которых Тане приходилось видеть в спортзалах, и напоминал сложную конструкцию из колбас, колбасок и шаров зельца и лоснящейся кожи. (...) А Жизель...(спросила Таня – Т.Л.) – Это я. Я женщина» (с.165-166). « Я алхимическая женщина. Если хочешь, женщина в третьей степени. Патриархия [власть мужчин] во мне достигла предела и обрела свою смерть» (с.171) /; не только изложил (разумеется, в саркастически-мистическом памфлетном жанре) историю феминизма от доисторических времён до наших дней; не только ответил на вечный вопрос о происхождении мира, но и опубликовал *технологию* завоевания женщинами власти в мире.

Кратко по порядку. Во-первых, отнюдь не все феминистки уже достигли третьей степени и внешне подобны Жизели, есть весьма и весьма... Например, Кларисса: «На ней был облегающий серебристый комбинезон, который вместе с выбеленными короткими волосами делал её похожей на космолётчицу из кинофантастики семидесятых. Этот наивный ретро-шарм был так неотразим, что Таня только завистливо вздохнула. Всё-таки научиться смотреть на других привлекательных женщин без ревности было неизмеримо трудно» (с. 257). Я уже не раз отмечала, что Пелевин прекрасно знает женскую психологию. Но главное, что уже не в первый раз уважаемый Виктор Олегович пытается внедрить в мозг женщин мысль об уникальности её индивидуальности: никаких уступок гнусным требованиям "патриархии" (90-60-90). Ещё в «Смотрителе» Киж возмущается тем, что последние сто лет женщины стали «совсем безмясье». Здесь же Пелевин пошёл дальше, вглубь веков, возведя женщину на престол матриархата, доводя до читателя историю мироздания: «Несколько тысяч лет тому назад мезоамериканские женщины, жившие в условиях матриархата и свободы, отчётливо установили, что вес

мир появляется из женской вагины. Они не спорили с мужчинами, они это знали – и держались за своё знание, как за оружие. (...) Они верили, что женская вагина создаёт не только пространство, но и время». И далее: «...никто толком не знает, что такое время и как оно действует. Этого не понимают даже современные физики. Но охотники древней Америки (...) постигли, что время возникает из наших месячных» (с. 263).

Какая глубокая философия! Какое постижение тайн мироздания! Правда, чтобы постичь сии глубины, нужно пройти смертельно опасный путь погружения в кратер вулкана Фудзи и победить саму Святейшую Игуану! Любит Виктор Олегович видеть властителей мира (нет не в масонах, хотя они порой тоже фигурируют в его романах), а в представителях животного мира: то Великая мышь, то Змея, и вот, наконец, огромная красная Игуана. Русская женщина, как известно, «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Вот и Таня выходит победительницей Игуаны в борьбе за «смертельную верёвку» – необходимый атрибут феминистки: «Она опустила руку, провела пальцем по тайному месту – и написала своим соком на грубом коричневом дермантине (двери – Т.Л.): #МЕТОО. Мир ничего не посмел возразить – только испуганно сжался» (с. 288).

Не буду делиться «технологией» завоевания мира женщиной. Не каждая решится пройти путь Тани. Женщина-феминистка, освобождённая от оков "патриархии", становится властительницей мира: «Я – МАТЬ ЭТОГО МИРА!» (с. 261).

Но отмечу главное: если олигархи, достигнув просветления в четвёртой джане, не смогли там остаться и вернулись (через тернии, но без звёзд) к своей привычной пошлой жизни пресыщенных мини-властителей своих маленьких мирков, то, увы! Пелевин развенчивает и свою героиню, которая столько мытарств прошла, чтобы стать охотницей... В аннотации редактор отмечает, что это «берущая за сердце история *подлинного женского успеха*» (курсив мой – Т.Л.). Во имя чего? Во имя обручального кольца на левом пальце в период «второй свежести» и для того, чтобы «господин Фёдор медленно пополз к ней на коленях»? Мелковато для «матери мира».

Резюмируя эту краткую рецензию – осветить все поднятые в романе вопросы и проблемы не представляется возможным, – следует подчеркнуть, что роман является традиционным для Пелевина: в этой постмодернистской тонкой скани переплетаются фантастика, мистика, оккультизм и религия с историей, современностью и политикой. Жанр романа, повторюсь, – это памфлет. Интересный, сочно написанный, познавательный, но *памфлет*. Обещанное в рекламе «Эксмо» удивление читателя, несомненно, присутствует. Но это удивление может вызвать только один аспект: Пелевин попытался стать ближе и доступнее «народу», т.е. массовому читателю, отойдя от бесконечных компьютерных терминов и не заставляя читателя через абзац заглядывать в словари. Это, конечно, удивительно, хотя и приятно.

ЛЮДМИЛА БУБНОВА

Ритмы круговорота.
рассказ



Розанов.
заметка

В кругу мужского вдохновения

Воспоминания

(Виктор Голявкин.
Из записной книжки)



Людмила Бубнова

РИТМЫ КРУГОВОРОТА

Философический рассказ

Часы: 17.59 – ещё полминуты, Она всё отключила, проверила зевы ящиков стола, мгновенно нетерпеливо задвинула их, сбросила одни туфли и встала в другие. 17.59,7 – можно идти: за полминуты успела дойти до вахты и беспрепятственно выскочила на улицу. Устремлённым шагом – быстро-быстро, быстрее – достигает универсама и скрывается за дверь, перед ней и позади никого – выскочишь раньше других, обойдёшься без толпы и очереди.

Выходя, мельком замечает: народ плотно валит в переднюю дверь. Издали видно: на остановке пока просторно – быстро-быстро на подходящий автобус.

Лифт – последний на сегодня транспорт: «Здравствуйте! Здравствуйте!». И дома. Сбрасывает тяжёлые полиэтилены на пол, приставляет их к стене, одновременно меняя туфли на тапки, открывает дверь в комнату сына: он читает за столиком новую книжку:

– Это внеклассное, – показал ей обложку, прежде чем Она спросила название.

– Мой милый, хороший, ты ел после школы? – обнимает его, целует, нежно гладит по голове.

– Нет. Нечего было.

– Почему? Всё же приготовлено!

– Отец заходил с двумя мужиками – они всё съели.

– Ну, сейчас пойдём приготовим, я много купила. Но пол какой грязный! Сначала помою пол, а ты почисти картошечку.

– Они ходили прямо в кирзовых сапогах. И где они берут такие, никто в них не ходит.

– Понятно: не хотели возиться с портянками. – Переодевается, наливает в ведро воды, берётся за тряпку. – Между прочим, в кирзовых сапогах прошла вся война. Отец служил в армии тоже в кирзовых сапогах и после говорил: для работы на стройке нет обуви удобнее кирзовых сапог. Их покупают в магазине рабочей одежды.

Мальчик принимается чистить картошку, вынутую из пакета, ножом с наполовину съеденным не одним поколением семьи лезвием, теперь похожим на серп. Стоя у раковины, провожает игривым взглядом каждую ленту очистка, сползающую с картофелины от своей умелой руки.

На белом раздвижном кухонном столе, в центре, красуется водочная бутылка и три стакана, один недопит – знак-записка о происшедшем. Бутылка пошла в ведро с отходами, стаканы в мойку вместе с тарелками.

– Мама, отец – пьяница!

– Нет! Он инженер на стройке, ему надо было договориться со специалистами: вести их в ресторан, у него нет денег, инженер взятки не берёт. Договаривался у себя дома. Мужики, вообще-то, бывает, пьют водку, но в основном работают. Разве мы видели отца пьяным?

– Нет.

На чистом полу разбирались сумки с продуктами, в кастрюле тушилось мелконарезанное для скорейшей готовности мясо, на сковородке жарились посыпанные сверху чесноком окорочка. Мальчик мыл посуду, Она перетираала одноразовыми полотенцами, срывала их с ролика над раковиной.

– Скажи, сыночек, в школе день благополучно прошёл?

– В общем, нормально. Но... учительница спрашивала Петрова, почему его мать не приходит на её вызов. Он пропускал уроки, двоек получал. Знаешь, что он сказал: его мать в школу не придёт. «Почему?» – «Она пьяная». – «Когда не пьяная, пусть придёт». – «Мама никогда не придёт! Лучше я не буду ходить в школу!» – «Нет, нет, ты, пожалуйста, всегда приходи, не оставляй наш „3 А“ без твоего внимания».

И урок пошёл дальше.

– Ой-ой-ой! – стакан выскочил из рук на пол, разбился, Она осторожно собирала руками по-одному осколки и сбрасывала в ведро под мойкой.

Остальное прошло спокойно. И сели обедать.

– Мама, я не хочу ходить в школу!

– Нельзя не ходить – надо быть образованным человеком.

– Почему надо быть образованным? Я не хочу!

– Надо хорошо закончить школу, поступить в институт, приобрести специальность...

– А дальше что?

– Работать по специальности.

– Как ты и папа? Я не хочу!!!

– Что же ты будешь делать?

– Что-нибудь... значительное...

– Когда ты закончишь институт, будешь на всё смотреть по-другому, чем сейчас. Поверь, преобразование твоё будет сказочным: всё-всё станет интересно тебе самому и окружающим.

– Каким «окружающим», тебе и папе?

– Главное, тебе самому.

– Как в сказке, что ли? Что-то не верится! Мыть пол, ходить в магазин, готовить, с утра уходить на работу – ничего интересного не вижу!

– Образование даёт волшебный кругозор! Твоя детская кровать, школьная тетрадка – как дивное воспоминание! Как небо в окне ежеминутно меняется, деревья – их жизнь очаровательна! Зимой голые прутья, весной вылезают из них зелёные весёлые почки, потом листья шумят, клокочут; когда ветер бьёт по щекам – извини, по листьям, – воют от боли. Шелестенья листьев – обожаю! Птицы с деревьев смотрят в наши квартиры, потом сплетничают между собой...

– Собаки лают – их нельзя унять?..

– На улице дома – удобные машины для жизни людей; автобусы, автомобили – для путешествий – страстно любопытно! Не как пишут в книгах.

– Не «страстно», и «страшно» ты хотела сказать?

– «Страстно» ты поймёшь, когда выйдешь из института...

– Какого института???

– Какой выберешь сам. Устав, бывает, страшно за день, валюсь в кровать совершенно без сил. Утром встаю довольная: справилась с круговоротом, что представляет жизнь. Счастлива: есть ты у меня. Я всегда хотела сына такого, как ты – здоровенького, умного, красивого мальчика, – мой дорогой, милый, любимый – радость моя!

Мальчик смутился: быть «маминой радостью» ему стало неохота.

– Эти прелести я вижу каждый день... Я не хочу ходить в школу!

– А что случилось?

– Я не хочу ходить ни в какой институт!

– Не ходи. Как хочешь! – Она встала и отошла от стола: рано что-то началась у него возрастная ломка. – Знаешь: справляться с трудностью жизни – моя цель, как говорится, моя философия, иначе не выдержали бы нервы. А у тебя какая философия?

– Мы философию не проходили.

– Вот то-то: где «проходить» будешь?

– А ты не справишься: что делать будешь?

– Не говори так: не справлюсь – заболую... или запью... Это, конечно, для тебя сложно. Извини: я не умею говорить, как детский писатель...

Мальчик нахмурился и пошёл дочитывать книжку детского писателя. Через стены своей комнаты он слышал: Она мылась в душе, потом пришёл отец и тоже шёл в душ, потом они обедали, долго неторопливо беседовали, конечно, про него – невозможно представить, как они могут говорить не про него – он погружён в себя глубоко, сосредоточенно. Если не про него, пусть точно знают: им никто не мешает разговаривать.

Потом мать позвала его к чаю.

– Я не хочу! – про себя засмеялся: «мамина радость» не хочет чаю.

– Он не хочет, – сказала Она отцу.

Отец заходил к нему, обнимал, целовал в макушку, что-то спрашивал – не дождался ответа и ушёл к себе на диван смотреть новости по телевизору. Мальчик наклонялся над книжкой, но задумчивость не давала читать, иногда он смеялся сам с собой, сдерживался и оглядывался на дверь: спросят, чему смеешься, но то, что он знает, стыдно говорить вслух. Подумают: с ума сошёл.

Она снова мыла, стирала, готовила еду на завтра, гладила стираное вчера, строчила на швейной машинке – одно и то же каждый день. Не только запить, спать можно! Он видеть их не мог, не то что обедать или чай пить вместе с ними. И стыдно было: они к нему хорошо относятся, а он хочет от них убежать куда глаза глядят. Трудно было думать: тяжёлый день – он страшно

устал, отложил книжку (и никогда не дочитал её до конца), разделся, свалился в постель и сразу уснул.

Ему снилось: кто-то где-то жалобно стонет или тихо поет. Он пошёл искать, откуда несутся звуки. Шёл по чужим окрестностям, идти мешали колдобины, овраги, кучи песка, как в районе новостроек... котлован – и он в него свалился. И проснулся, и понял: сам он ныл и стонал – подушка промокла от слёз и слюны, перевернул подушечку и снова уснул...

Утром Она подошла к кровати, погладила но голове:

– Ты в школу НЕ пойдёшь?

– Пойду! Пойду! – проснулся мальчик.

– Значит – вставай, всё готово, – Она улыbnулась и пожала его тёплую руку.

Теперь всегда при встрече с матерью сын внимательно вглядывался в её лицо: не пьяная ли Она? Как у неё с «круговоротом»? Может, надо помочь – спасти человека. Но время для подвига не приходило.

Уже инженером «мостовых сооружений и опор» он снова не заметил ничего тревожного, обнимал, целовал её нежно и страстно.

– Какой ты стал сентиментальный, сынок. Прежде ты страшно пугал меня своей жестокостью. – И позвала его в кухню кормить. Он уже не считал, что «страшно» надоела ему «эта кормёжка».

– Зарплату выплачивают? – спрашивает Она.

– Да. Но мне нужно больше.

– Сколько есть – столько и хватит. Не хотите ли отметить встречу выпивкой?

– Я бы не против, – обрадовался отец.

– А тебе, сынок, при твоей работе надо уметь «держатъ стакан».

– Что это значит? – игриво сказал молодой человек.

– Не валиться с ног от стакана водки и не делаться дураком.

Она настежь открыла сервант. И увидели внушительную коллекцию бутылок вина, коньяка, несколько водок...

– Так, значит, вы всё-таки выпиваете? – удивился молодой человек.

– Если бы мы пили – тут бы не стояло. Всю жизнь собираю коллекцию разных бутылок.

– Надо же! А я ничего не знал?! Как же так? Я не знал... – засуетился муж.

– Правильно: зачем тебе мои увлечения.

Налили хорошей водки в стаканы. Выпили. Закусили...

Тут подходящее место описать, чем закусывали. Но... люди у нас стандартные: живут в одинаковых квартирах, ходят в одни и те же магазины. Вообще неприятно смотреть, как люди слащаво едят: забрасывают в топну желудка магазинные припасы, оставляют объедки. В круговороте превращений от наслаждения едением мысль ведёт прямо к очистным сооружениям – получается не простая беллетристика, не для короткого рассказа. С тех пор как мир воспринимает человека не как самостоятельную личность, а звеном в производственной цепи цивилизации, проблема годится для трагикомического романа...

– Как вы смотрите: не превратилась ли я в семейный робот-автомат?

– Что ты? Что ты? Мы не... – испугался муж.

– Правильно: не «чтогы-чтогы» – я автоматическая машина. Хотелось бы поменять ритм и стиль...

– Ты что, влюбилась в кого?..

– Не влюбилась ни в кого другого, кроме вас двоих. Ни сил, ни времени не остаётся на другое. Себя некогда полюбить... – подозрительно проговорила Она. У мужиков возникло видимо подозрительное беспокойство. У автора – беспокойное любопытство.

– И что?

– Ты хочешь путешествовать? – догадался сын.

– И я с тобой! – воскликнул муж.

Она больше ничего не сказала, естественно, повисла загадка, интересно бы спросить, разгадать, но и тот и другой опасались нарваться на упреки – не спрашивали.

В последующие дни ничего непривычного не происходило. Загадка рассеялась сама собой: мать пошутила. Бывает. Напряжение растряслось.

И всё-таки однажды Она ушла из дома и не вернулась: осталась винная коллекция и записка: «Не ищите – прошу! Со мной всё в порядке. Я не приду».

Можно бы целый роман писать, куда делась Она. Но автору рассказ ничто не заменит. Пусть брошенные мужики сами ищут. Надеюсь, соблазн в виде винной коллекции их не погубит, ведь они воспитаны философической женщиной. Её природное предназначение выполнено с честью. Хорошо жить стали: квартира, работа, зарплата, машины... Любви, говорят, не хватает. В шоу, в эстрадную попсу ей идти уже поздно, но писать о любви теперь самое милое дело – уж, конечно, полегче, чем обеспечивать бесконечным трудом простую обычную каждодневную опрятную жизнь семьи. Да, может, уже и пишет воображаемый роман о превосходной любви в свободное от работы время.

А может... А может... Интересно, пока неизвестное молчит.

Людмила Бубнова о В.В. Розанове

Василий. Васильевич Розанов (1856–1919) – человек-интуиция, явление природы, превратил свою жизнь в литературу. Писал он то непотребно «плохо», то с гениальным предвидением НОВИЗНЫ в литературе – НОВАТОР-модернист.

Его «ругали» товарищи-литераторы за необычайную обнажённость своего внутреннего мира – а это и было открытием для литературы. Его хвалили за самобытность и выразительность стиля.

Теперь его писания все в комплексе можно (нужно) воспринимать как цельный роман-модерн с главным «реалити»-героем Автором.

Его не понимали «постояльцы» «серебряного века» – явления в литературе во многом салонного.

Только теперь, в начале XXI века, В. Розанов пришёл к нам ко двору, стал понятен и оценён за открытия: Пол – движитель жизни; неопределённость, противоречивость, разные точки зрения на любой предмет должны быть и происходят в естестве самой жизни, отражённой в литературе, вопреки привычным литературным усилиям приводить её к определённому порядку.

Мы доросли до Розановой философии – В. В. Розанов был, оказывается, писателем будущего (нашего времени).

Все, кто были в литературе до него и в его время, ему мешали: от всех влияний литературных, общественных, религиозных он избавлялся как мог.

Естественная «инсталляция» жизни Автора завершается «реалити эксклюзивом» его кончины...

Людмила БУБНОВА

Юбилейная речь навстречу 90-летиям

В КРУГУ МУЖСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

Радости, надежды, печали – и противоположные нюансы характера, – заблуждения, разного рода фантазии вплоть до сексуальных средств обольщения; мудрость, неожиданная дурость несусветная, хитрость, авантюризм без героизма, злоба, нетерпение к себе подобным, искреннее самопожертвование где надо и не надо, милейшие, страшнейшие видения – всё у меня есть, всего полно в душе, в крови, в нутре – свойственно мне в полной мере и разнообразии.

Русские женщины достойно заменяют мужчин, когда они слабеют, когда уходят служить в армию или на войну. (Слова «женщина – мужчина» по форме представляются оба женского рода и будто друг от друга не отличаются. Я знаю: отличаются, потому вместо «мужчина» буду писать «мужик».) Мне приходилось заменять мужика в безвыходной для него ситуации, потому с полным правом могу называться русской. Про женщин мне неинтересно: я вижу насквозь, открыть в них новые грани мне не удастся – они набиты вековым природным старьём, как и я, разумеется.

А вот мужики... в них интересное есть. По мере интеллектуальных возможностей и внутренних сил, представляется, смогу на жизненных примерах показать мужскую разность. Может быть, получится, а может, нет – но попробовать можно.

Я – крестьянского происхождения – родилась до Великой Отечественной войны в деревне, километрах в ста от Москвы. Отца своего увидела только после войны, после разгрома Квантунской армии – он пришёл сильно раненный в ногу – потому живой. Я родилась – он был на действительной службе, потом сразу ушёл на войну. Видимо, какой-то период после срочной службы он побывал дома – брат родился в самом начале войны, – я была мала и отца совершенно не заметила.

Деревень в округе много, и все они соединены наезженными грунтовыми дорогами. Деревни старые, ещё из крепостного права, принадлежали прежде одному богатому помещику (может быть, графу Шереметеву), спланированы все одинаково без малейших излишеств: один посад из десятка одинаковых деревянных рубленых домов – напротив другой посад: 13 точно таких «теремов» в три-четыре окна, посередине, между посадками, дорога; «на задах» хозяйственный пруд, за ним бревенчатая конюшня с тёплыми стойлами, сбоку «лошадиный пруд». Дома и конюшня выстроены мужиками: значит, хозяин полей и лесов выделял определённое количество стволов своего леса, и мужики сами валили деревья, обрубали сучки, ошкуривали, свозили на телегах брёвна и строили своими руками дома под присмотром –

чтобы без излишеств. Внутри избы мужик выстраивал сам: стол, лавки, шкапчики, полки, диван и кровать – необходимую мебель. Обязательно в округе жил великий печник: в каждой избе он выкладывал кирпичную печь чтоб не дымила и держала тепло – ценное ремесло на деревне. Потом мужик пахал лошадьё и плугом поля, сеял, растил, убирал урожай, часть хозяин выделял ему на прокорм, также и огородом кормились семья. Заводили корову, кур... часть молока и яиц относили хозяйину и т.д.

Совершилась революция, сменилась власть – дома остались те же, а поля и леса стали государственными: мясо, молоко, яйца, шерсть с овец, шкуру с коровы по норме отдавались государству, так и называлось – «в госпоставки». Дома и деревня держались мужиками, самые тяжёлые работы доставались им – деревенские мужики знали свою ипостась с рождения: мужик родился для тяжёлой работы, мужик ходил на действительную службу на семь, на пять лет, в войну сразу уходил на фронт, семья своими силами держала хозяйство в его отсутствие.

Не только деревня держалась на мужике – страна и государство крепились на мужичьей основе. Образование три-четыре класса: умели писать и читать, книг не было, да и не до них было совершенно.

В 1941-м началась Великая Отечественная война – мужики ушли на фронт. Победили. Вернулись трое раненых, остальные убиты. Но мужик, уходя, в обязательном порядке оставлял наследника, за войну тот подросток. Сын погибшего солдата мальчик-семиклассник выстругал лыжи на всю ребячью ораву, мальчикам и девочкам, и они на лыжах катили по сугробам за два с половиной километра в школу. На половине пути метрах в двухстах передний увидал: «Ребята, волк!». Поняли: «Голодный! С поджарыми боками...»

Остановились: испугались. Четвероклассник выехал вперёд и засвистел пронзительно, страшно, непрерывно. По гладкому блестящему насту звук дошёл до волка, он остановился и поглядел в сторону, откуда несётся противный звук и повторяется, повторяется, ужасный, не прекращается. Мальчик отделился от группы и со свистом поехал на волка. Он, наверно, читал былинку про Соловья-Разбойника. Волк повернулся и побежал в обратную сторону к лесу, откуда вышел на охоту.

Ребята двинулись к школе, утро светлело, на небе вылезало из тучи жёлтое солнце – испуг ребят превратился в радость: все начали подсвистывать как могли и оживлённые подъехали к школе. На пути домой они снова всех дождались и группой понеслись в ожидании волка. Волк не встретился, охотился в другом месте.

Это не анекдот: я сама катила на лыжах вместе с мальчишками во второй класс...

В деревне я видела: мужики умеют всё – пахут уже на тракторах, сеют сеялками, косят хлеба и травы косилками, молотят комбайном, а не цепями. В конюшне мужик коновал, в кузнице подковывает лошадей, осенью режет откормленную скотину, освежёвывает тушу; ловит рыбу вершей (сам её плетёт), чинит свою и чужую обувь по просьбе, сучит дратву, тачает сапоги, подшивает валенки всей деревне.

Телится корова, ягнится овца или коза, поросится свинья – он первый акушер, у родильницы принимает приплод в тёплые ладони.

Чинит старую крышу, заново строит дом.

Кроме всего прочего он детей производит, создаёт народ для всякой работы в своей стране.

Мужик вышел поутру посмотреть огород и видит на яблоне большую гирю пчелиного роя, от тряски не слетает. Хозяин всё понял; принёс из сеней грибной короб, недавно самим сплетённый из луба, нашёл пчелу-матку и положил её из роя в короб, а всех пчёл смёл мягкой щёткой со ствола; пчёлы не разлетались, покорно стекали к матке. Крепко обвязал короб марлей и начал собирать материал для улья. Построил улей и посадил в него слётков.

Откуда он знал, как повелевать пчёлами? Я знаю от него, а он почти мальчишкой полмира пробуровил солдатскими сапогами, небось, повидал и пасечника, и побеседовал во время привала...

Через какое-то время проходил по деревне чужой мужик, из другой деревни, поговорил с кем-то из деревенских и подошёл к хозяину улья, тот подвел его к пчелиному домику и говорит:

– Подгоняй дроги – забирай. Твой!

– Что ты, мил человек, я хотел узнать, в какие руки попал мой порок. Теперь он твой! Разводи пасеку, и с богом!..

Руки деревенского – большие, разработанные, ладони шершавые как наждак, ногти почти железные, ножницы не берут, приходится подрезать острым кинжалом, кулаки – кувалды.

Непременное добродушие, отзывчивость – тонкость души, оттого что всё могут.

Именно деревенские мужики отстраивали разбитые в войну города и селения, построили многие новые «спальные районы». Во имя новостроек пришлось оставить деревню. И она, бедная, увяла, угасла, хотя к ней подвели электричество.

Не знаю, чего не умел бы деревенский мужик. Мой отец, приехав в Ленинград, устроился в ЖАКТ (жилищно-коммунальное хозяйство) и сразу полез чинить проржавевшие за войну и после кровли; сложную крышу немецкой кирхи с неудобными готическими выступами покрывал заново.

Простым деревенским мужикам обязаны города признательностью – бесконечным уважением...

Мастер короткого рассказа.

Мы встретились в Соловьёвском садике у тёмно-зелёной скамейки на львиных чугунных ножках (десятилетиями позже вместо скамейки поставили памятник-бюст И. Репину) и пошли по садику вдоль ограды к выходу. На противоположном углу теперь стоит памятник-бюст В. Сурикову, тогда была свободная площадка, там девочки и мальчики скакали по двое и в одиночку через верёвочку. Крутили скакалку двое мальчиков. Крик и визг поднимались, когда кто норовил скакнуть без очереди (очередь в послевоенной стране была законом жизни, известным каждому с детства).

Он, молодой коренастый парень, направился прямо к детям и попросил верёвочку. Один мальчик дал свой конец сразу, а второй насторожился и спросил зачем, но всё же нехотя дал.

Он начал скакать в быстром темпе, от скорости вращения верёвочку становилось не видно. Дети мигали, моргали, щурились, пучили глазки, следя за быстрой верёвочкой, один мальчик подсвистывал, другой подпрыгивал от удовольствия кое-как, не в такт, девочка закружилась на одной ножке, упала, две подружки, хихикая, её поднимали, самая маленькая притопывала ножкой в сандалике, а ручкой прикрывала ротик ладошкой: мало зубов ещё выросло, и она стеснялась.

Он выделял фигуры: два прыжка на один оборот, на один прыжок два оборота, скрещивал руки, размахивал скакалкой, перепрыгивал – не перепрыгивая, верёвка снова взлетала, делалась невидимой...

Он остановил скакалку, взял оба конца в правую руку и передал тому, у кого взял.

– Спасибо, ребята! Вот ТАК надо скакать!

Я увидела его со скакалкой впервые, хотя мы дружили давно, и выясняла что и как, и откуда взялось.

– Одна из тренировок боксёра – со скакалкой.

– Ты боксёр?

– Мастер спорта по боксу. В соревнованиях на первенство города Баку взял второе место...

– А теперь?

– Теперь художник. Бокс был вначале.

– Почему, почему ушёл из бокса – так интересно быть боксёром!

– Тебе интересно?

– Раньше я никогда не видела живого боксёра.

– Так нам лучше сходить на Зимний стадион – на тренировочные бои на ринге...

И мы ходили на тренировки, на соревнования по боксу, когда они проводились в Ленинграде. Появились показы боёв на первенствах Европы и Олимпийских игр по телевидению – мы сидели у экрана – это были годы 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 – он комментировал удары. Наши кумиры: мастера бокса Г. Шатков, Б. Лагутин, В. Попенченко, С. Степашкин... Он вспоминал работу на ринге своего любимого боксёра в тяжёлом весе Джо Луиса (Льюиса), где-то он видел его бой на ринге – артистический танец по рингу, чёткие, точные, мгновенные серии, фигура спортсмена словно литая – пластична. Однажды по телевизору увидели Джо Луиса на зрительской трибуне – он уже не работал на ринге, только смотрел. Я погружалась в неведомый доселе абсолютно надземный романтический мир бокса и боксёров, знала серии ударов, уязвимые места на теле: нижняя челюсть, сонная артерия, область сердца, солнечное сплетение, правое подреберье (печень). Если боксёр точно попадёт в одну из уязвимых точек, противник уйдёт в нокаунт или в нокаут. Различала серии защиты: уклоны, подставы, отбивы рукой, нырки, просто отходы – главное в бою на ринге тактические

замыслы нападения и защиты. «Главное в боксе и предугадывание мысли противника», – говорил он.

Мне тогда казалось, да и сейчас представляется: кто бы подошёл ко мне «не с той стороны» – получил бы удар в челюсть и был нокаутирован, – узнал бы, что значит «жена боксёра».

Постепенно я поняла, почему он ушёл из бокса. Он говорил: «Одного бокса мало». У нас тогда было коллективистское, командное сознание. Ему, ярому индивидуалисту, требовалась другая стихия для мужества.

Я и теперь, когда никого нет на свете, смотрю, по возможности, боксёрские бои. Раньше позволялись три раунда по три минуты – в нашей стране бокс был любительский (красивая работа на ринге). Теперь на первенство мира: Мурат Гассиев, чемпион мира, «Айрон-железный», с Александром Усиком – двенадцать раундов до победы. 2018 год.

Он был русский парень из города Баку, старший из трёх сыновей боевого офицера родом из Москвы, окончившего Александровское военное училище до революции, освобождавшего Баку от интервентов в Гражданскую войну, участника трёх войн, музыканта, выпускника Бакинской консерватории и «призванного повышать музыкальную культуру Азербайджанской республики».

Ленинград в 50-е (XX в.) был наполнен приезжими: студенты из всех краёв Советского Союза, из всех стран народной демократии. После победы над фашизмом мир был чётко поделён на сферы влияния: под покровительством Советского Союза было полмира. Рабочие всех профессий на заводах, на фабриках, на стройках – приезжие. Во время войны и блокады город был обескровлен, люди ослаблены – город жил приезжими.

Я тоже была приезжей: из крестьян Ярославской области, семья выехала из родных мест по госпрограмме переселения в освобождённые районы Ленинградской области. Студентам-мальчикам давалась отсрочка от службы в армии. Учились все, читали все книги русских, советских, зарубежных авторов – много тогда переводили, издавали, переводческая школа была лучшей в мире. Светло жили в 1950-е гг. после победы над врагами: летали в космос, растили пшеницу на целинных землях, строили новые города, ледоколы, подводные лодки – страна была самодостаточно во всех смыслах.

Мой друг уверенным твёрдым, неторопливым шагом будто останавливал себя от бега. Он не курил, не пил, не матерился, не болтал просто так, говорил только по делу и совсем не то, что ожидалось и о чём конкретно спрашивали. Я видела: кто с ним встречался, разговаривал, начинал ему подражать; непреодолимое внутреннее обаяние склоняло почти к обожанию. Он сосредоточен на своём, казалось, ему скучно со всеми. Человек его спрашивает, поглаживает свои хорошие мысли, ждёт согласия. А он отвечает совсем другое, русским языком, но неожиданными словами. В его

сдержанности и сосредоточенности таилось что-то глубокое, похожее на высокомерие. За собой уже замечаю: слова не трепещут у меня на губах – я подражаю ему в сдержанности. Этого ещё не хватает – «всякое подражание противно» был вычитанный из книг лозунг. Не буду поддаваться его влиянию и соглашаться.

– Нет. Завтра некогда, у меня много дел... – поворачивалась и уходила.

Он догонял, останавливал, иронически улыбался и говорил:

– Ну что ты! Мы с тобой будем долго... – улыбка обещала и преображала его лицо: от обаяния улыбки сразу треснуло моё сопротивление, и разбились в осколки сомнения – хочу ли я прожить с таким сложным человеком вечно.

А я думала: у него тонкие крепко сжатые губы...

Про ГУЛАГ в 1950-е, кроме непосредственно пострадавших, поколений детей победителей в ВОВ ещё неизвестно: власти не обнародовали свои планы и методы подавления любого подозрения и недовольства в стране, и «железный занавес», отделяющий страну от всего мира, надёжно служил правящему коммунистическому режиму, только-только начинал приподниматься.

Дело в том, что заниматься боксёрской работой и совершенствовать эстетику боксёрского боя вечно он не собирался. С самого начала видно: мечтал стать художником, потому в 1954 году поступил в Академию художеств в Ленинграде, а всё время до того было основательной подготовкой для претворения в жизнь художественного мировоззрения. Новый взгляд на живопись к 1950-м годам в нём уже «сидел». Он проштудировал мировые живописные течения в художественных училищах: в Самарканде, Ташкенте, Сталинабаде (Душанбе) проходил ученическую школу не сопротивляясь, но впитывая отовсюду – от созерцания искусства, от художников, от окружающей жизни. А жизнь в южных республиках была более вольной и сытой, чем в Ленинграде, послевоенном и пережившем 900-дневную блокаду, а в 40-х послевоенных ещё и террор по «Ленинградскому делу», но сосредоточии западноевропейского искусства; оно представлялось ему самым живым, подвижным в области художественной мысли и приёмов воплощения замыслов разных художников. Надо сказать: в 1950-е годы не было так много художников, писателей, журналистов, как сейчас, но перепроизводство этих специальностей уже готовилось в академиях, институтах, училищах, казалось, в расчёте на то, что жизнь от этого станет радостнее, красивее, добрее, свободнее, а кризиса для приложения художественных и гуманитарных талантов не будет, тем более: художник и писатель – профессии свободные. Но... Ему, например, не нравились тематические рисованные картины-романы, якобы «отражающие жизнь народа», советского народа, надо подчеркнуть. Он любил краски и надеялся красками, мазком кисти, композицией красочного строя выражать собственные мысли, настроения и степень мастерства. То есть, он приехал в Академию художеств уже в какой-то степени сложившимся индивидуалистом, а попал в остро выраженную коллективистскую идеологию. За индивидуализм уже со второго курса из Академии начали «отчислять», называлось, «за формализм».

Каким-то образом он всё-таки удержался: стал послушным и перестал «воротить своё».

– Что вы, молодой человек, – доброжелательно говорил ему профессор, – наши кумиры передвижники, мы продолжаем их традиции.

Значило: в художественной среде развиваться его живописным воззрениям не дадут. Но закончить обучение в Академии он страстно хотел. И в Ленинград приехал с «красным дипломом» об окончании художественного училища, и всегда любил заканчивать начатое дело. Я непосредственный свидетель его деловой активности и сама склонна к тому же ему в подражание – не всегда получалось. Итак, индивидуальный художественный порыв остановлен чисто официально.

Молодой энергичный художник, русский парень, давно уехал из семейного дома, с опытом жизни в Азербайджанской республике, прозондировал, профильтровал Среднюю Азию (ныне – Центральную) – Узбекистан, Таджикистан – долго сидеть в художественном застое в «культурной столице» не будет, просто не сможет: приобретённый в скитаниях по стране жизненный и художественный опыт не даст смиренно сидеть и ждать, что будет. «Будет» он брал полностью на себя, никому и ничему не доверял. Живя в академическом общежитии в комнате на 10 коек, каким-то образом он начинает писать рассказы, поскольку негде и некогда долго рассиживаться – вообще известно: писал он лёжа на койке – рассказы получаются короткие или сверхкороткие. «Привет вам, птицы!», «Художник», «Скачки в горах», «Пристани», « Всё будет неплохо», «Чёрт меня дёрнул туда полететь», «Это было вчера», «Гвоздь в столе», «Любовь и зеркало», «Музыкальная история», «Дверь», «Из Невы в Неву», «Ничего тут странного не было» – в общем, были первые. И так далее. Поскольку кругом товарищи-студенты на своих койках, он прочёл рассказ соседу проверить на слух. Тот позвал послушать другого. Скоро всем было интересно послушать ни на что не похожие рассказы. Приводили студентов из других комнат послушать рассказы Голявкина, из других институтов начали приходить...

Наконец Голявкина вызвали в Отдел культуры («на ковёр»): его рассказы оказались напечатанными в «плохом» журнале «Посев». Объяснений: никуда не посылал, никому не давал, они в тетрадке написаны от руки, тетрадка в чемодане, чемодан под кроватью в общежитии – оказалось пока достаточно. Но предупредили: «Вы больше не пишите таких рассказов! Мы ведь тоже можем писать рассказы: материалов у нас полно. Но нам некогда». Это была уже оттепель, потому «зимних вьюг» не последовало.

Однажды Илья Глазунов, тогда он тоже был студентом Академии, всегда первый, самый известный в обществе любой ценой, привёл Бориса Вахтина послушать рассказы студента Академии художеств. Голявкин достал из чемодана тетрадку и почитал рассказы. А надо сказать: читал он свои рассказы выразительно, как никто другой впоследствии. Борис Бахтин ему говорит:

– Дай рассказы. Я покажу матери.

– Какой матери?! Они у меня написаны от руки в тетрадке в одном экземпляре. Нечего дать. Не могу дать.

– Дай тетрадку. Моя мать – Вера Панова, трижды Лауреат Сталинской премии. – Он взял тетрадку. (Сам он был учёный-китаевед).

Вера Фёдоровна Панова пригласила Голявкина к себе домой.

– Я – писатель!?! – То ли упреждая возражения, то ли надеясь на подтверждение самосознания.

– И ещё какой писатель! В Америке вы бы уже миллионер. – Вера Фёдоровна только что вернулась из Америки с группой советских писателей. Она сама отпечатала все рассказы на пишущей машинке и предложила дать подборку в альманах «Прибой», который в данный момент составляла в редакции издательства «Советский писатель».

В редакции «Сов. пис.» Голявкину выдали аванс – первый гонорар. Но редсовет отказался печатать рассказы (именно потому, что ни на что не похоже). Вера Фёдоровна убеждала, настаивала, грозилась покинуть редакцию, если не примут отобранные ею рассказы. Уходить демонстративно не пришлось: альманах издавать не стали – он так и не вышел в свет (из-за рассказов В. Голявкина).

Послушать рассказы Голявкина стали приезжать из Москвы (Е. Евтушенко, Ю. Казаков, артисты, кинематографисты, читатели) – устно? что ли, они распространялись?

Но в Ленинграде было глухо. Голявкин начал писать дипломные эскизы постановки к пьесе Ю. Принцева «Всадник, скачущий впереди».

Из Детгиза поступило предложение: не может ли В. Голявкин написать рассказы для детей – сборник предварительно запланировали. Так же лёжа на студенческой койке, он написал детские рассказы для сборника под названием «Тетрадки под дождём» – в 1959 году он вышел с рисунками автора. А в 1960-м В. Г. окончил Академию художеств – стал свободным художником – живописцем и графиком, а в 1961-м был принят в Союз писателей СССР.

В конце 50-х был ещё один предупредительный эпизод. Учась в ЛГУ на филфаке, я тогда подрабатывала на книжной базе: там подбирали заказы на книги и рассылали почтой в книжные магазины городов и посёлков Северо-Западного региона. В начале рабочей смены меня вдруг попросили «спуститься вниз», вежливо попросили сесть в чёрную «волгу» и доставили... в Большой дом. Спрашивали не о рассказах Голявкина в этот раз, а где и с кем я была вчера вечером.

– Была с Голявкиным, в гостях у писателя Кирилла Владимировича Косцинского.

– Правильно: мы знаем, – сказали двое молодых людей комсомольского вида. – Что там делали и что говорили?

– Пили чай. Разговаривали об искусстве.

– Напишите, что именно говорили, подробнее!– дали бумагу и карандаш. Я совершенно не помнила, что говорили, долго была в кухне с женой писателя.

Целый день просидела над чистым листом. Стало смеркаться. За окнами потемнело. На работу уже поздно. Дверь открылась и... впустили Голявкина: он сразу посмотрел мой чистый лист и погладил меня по голове.

И нас выпустили на этот раз. Пока...

Но Кирилл Владимирович Косцинский, офицер советской армии и писатель, был осуждён за «антисоветскую пропаганду и агитацию» на 4 года лагерей.

Меня уволили с работы за тот самый «прогул», ИСКЛЮЧИЛИ на полгода из университета.

Оттепель называется! И мы в ней, но не «со всеми потрохами», а другие со «всеми». Я понимаю почему «странность» в рассказах была, но политики и антисоветчины не находили, как ни старались, другого просто не понимали. В рассказах копошились люди со своими «странностями».

Быть «под колпаком» пришлось всю оставшуюся Голявкину жизнь. Он, взведённый отзывом профессионала, писал рассказы заведённый – они выходили из него, словно из «телетайпной машины», заметил Г. Горышин (до компьютеров было ещё далеко).

Что же это были за рассказы, интуитивно оценённые профессиональной писательницей Верой Фёдоровной Пановой, я разбираюсь до сих пор. Вышло несколько сборников при жизни автора (раз в десять лет «взрослый» сборник выходил). Детские рассказы, повести выходили ежегодно, они и теперь, как на конвейере, выпускаются в коммерческих издательствах Москвы постоянно. «Взрослые» теперь издавать нерентабельно – они не стали так называемой «массовой литературой» – «масскультом». Меня это не огорчает, скажу почему. В конце 50-х – начале 60-х XX века В. Голявкин говорил: «Я пишу странные рассказы». Лёжа на студенческой койке, писал непрерывно: детские для издательства Детгиз, позже переименованного в «Детскую литературу» ЛО (Ленинградское отделение), «взрослые» складывал в чемодан под кроватью.

Много позже, через 20 лет, среди писателей возникла игривая стандартная фраза: «Я пишу в стол», – ею даже бахвалились, преувеличивая своё значение в литературе. В. Г. писал «в чемодан», пока Союз писателей (Литфонд) не наградил квартирой – тогда появился письменный стол.

Рассказы были короткие или сверхкороткие. Таких тогда не писали. И не все понимали: почему так мало написано? В них читать нечего. Но это только на неискушённый взгляд. Те, что приходили «послушать» – понимали как следует и чувствовали дерзкую новизну – она и привлекала. Рассказы были ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ. Без чувства юмора их действительно не поймёшь. Люди от юмора были отучены – с 1946 года после изгнания М. Зощенко из литературы. Рассказы СИМВОЛИЧЕСКИЕ, философски провидческие – каждая строка, каждое слово и весь мысленно сконцентрированный сюжет. Где ещё здесь такое выдали! В предыдущих статьях я писала, как, например, надо читать и понимать рассказ в несколько строк «Ничего тут странного не было»: придёт новое поколение, новые Васи подпилят старую культуру под корень – никто и ничто не сможет воспрепятствовать. Через 50 лет так и

вышло: новые Васи с «пьефонаушниками» – мобильниками, смартфонами толпами пляшут перед нашими глазами с поднятыми руками (будто «мы сдадимся на милость всему на свете»).

В трёх фразах «Флажки, кругом флажки...» создана картина общественного состояния 50-х гг. XX века – так и понимали его слушатели.

В рассказе «Прохожий» вопреки идеологическому строю любой человек, набравший храбрости родиться, интересен Литературе, и не надо ему больше ничего заслуживать – выслуживать, весь опыт человечества у него в генах – автор привлекал внимание литературы к любому человеку в обществе.

Наконец можно сказать: концентратом мысли в коротких рассказах писатель возвращает простым словам и фразам русского языка определённую и глубину исконных смыслов.

Писатель в начале 60-х гг. XX века принёс в русскую литературу НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. И не в декларациях, а в готовой СВОЕЙ форме короткого юмористического рассказа. В самых коротких: рассказах он демонстративно отказывается от бытового, житейского, «жизненного» сюжета. Но и в самых коротких рассказах сюжет: развитие МЫСЛИ автора. В более «длинных» рассказах главным читается ХАРАКТЕР персонажа. Писатель выработал свой приём: он провоцирует, заставляет персонажа говорить – и через несколько слов его характер весь, словно на мониторе компьютера, со всеми достоинствами, недостатками развития и психологическими особенностями. Автор смотрит на персонажа с лёгким юмором и позволяет ему таковым быть, такое явление – признак настоящей литературы. Именно рассказ, я считаю, искони движет русскую литературу. Романы, повести XIX века, которым подражали писатели XX века, были под неуклонным влиянием духовной библейской культуры, на все лады расписывали христианские заповеди в лицах, в образах, в сюжетах, или «совписы» создавали «агитки» соцстрою. Только в рассказе иногда можно было найти другой взгляд на мировую окружающую жизнь. Такой рассказ мог остаться втуне: уровень и настрой читающего общества был к 60-м годам вполне приучен к марксизму-ленинизму и соответственно обучен с рождения – все были советскими людьми, ничего не допускалось незапланированного в мыслях. Христианство в своё время внедрило в мир свою культуру и крепко держало народы в своих жёстких рамках. Во все времена репрессировали за «другие» взгляды.

А РАЗНЫЕ взгляды нужны для духовного освобождения и разностороннего развития народов. В крепостном строе или в рабовладельческом у людей воспитывается и умственное развитие в этом «праве», иначе «побьют» – насилия в истории народов слишком много. Критики почему-то об этом не говорят: сами не понимают или боятся репрессий.

Весь XX век люди неумело, грубо, неуклюже пытались расширить христианские нравственные рамки, они вполне устраивали и советский строй. А зачем? Говорят: в каждом теплится другое моральное бытие, готовое вырваться наружу.

Нравственность животных определяется пищевым ресурсом и природным инстинктом размножения.

Сейчас сытое человечество пытается раззять рамки, определённые природой и христианским богом: энергетические возможности человека от сытости возросли, и он похваляется свободами, что сдерживаются госрежимом, якобы человеку хочется иметь право быть некрасивым, уродливым, безобразным, выставить наружу сокровенное, прежде скрываемое, позорное, даже поганое. Демократические идеи пошли на поводу и якобы дают такое неправое. Оттого человек глупо поёт, пляшет, кривляется и раздевается, плюёт на ограничения – хуже животного и доволен собой. Пока отвращение к себе и другие необходимости не заставят выработать новые строгие правила нравственного поведения, видно, будет длиться мерзкая мода.

Только в 1969 году вышел сборник В. Голявкина «Привет вам, птицы!» (через 10 лет после написания).

Молодые писатели приободрились: значит, всё-таки МОЖНО писать СВОЁ. И литература оживилась, стала разнообразнее, современнее, появились юмор, ирония, самоирония и разные новые формы – парадокс и абсурд стали приёмом литературного повествования.

В. Голявкина снова «поймали» в 1981 году: в 12 номере журнала «Аврора», вышедшего в дни юбилея Генерального секретаря КПСС, среди рассказов других писателей его юмористический рассказ «Юбилейная речь» был сочтён «идеологической диверсией». Юморист засмеялся. Похихикал и жутко испугался, и правильно: можно было и горько плакать. Разогнали редакцию. Пять лет писателя не печатали нигде. «Надо же вам было вляпаться в такую историю!» – сказала редактор детского журнала в Москве и детские рассказы не напечатала. Он правильно понял: «вляпался» кто-то другой... скоро время показало кто.

Застопорился рассказ, он развернул складной походный мольберт и стал писать по холсту 60x80 масляными красками. (Пошли все к чёрту, дураки несчастные!)

И когда не печатают, он пишет для взрослых, для детей, для самого себя. Всё у него СВОЁ, оригинальное – гуманное. В книгах – людей целое население: живые, разные, чудаковатые, у каждого особая черта характера, двигаются, смеются, горюют, неуверенно оглядываются. Много нарисовано – без работы автор не сидит.

Быть «свободным художником» вообще-то невыносимо, мучительно. Но он никогда не искал госслужбы с зарплатой, не рассчитывал на награды, звания. Сам нашёл себе рабочее место – за письменным столом, за мольбертом: в каждой фразе, в красочном мазке – его индивидуальный стиль.

«У писателя нет понятий «нормированный рабочий день», «обеденный перерыв», «зарплата», «больничный лист» – у него «свободная» профессия: сам он может устраивать себе обеды, болеть сколько угодно, «отпуск» гуляет, когда запивает. Но литературе до всего житейского обихода нет никакого

дела, ей нужен результат. Не можешь – ты уже не писатель, умер – значит бывший». Однажды я слышала такое чудесное соображение от постороннего человека. Сам писатель такого не скажет – скрывает на всякий случай. Видеть мне приходилось своими глазами. «Бывает, бывает, всё бывает» – фраза из одного рассказа. О достоинстве человека в обществе он написал в рассказах. Достоинство писателя-художника утверждал своей работой.

Время показало: красивой и добротной жизнь делают не «свобода» и не картины, а скорее деньги (их почему-то всем мало). Художников и картин на любой вкус сколько угодно, любого художественного стиля – традиционного или авангардного, но спрос на них ограничен как никогда – несчастных художников больше чем когда-либо. Заказа никакого нет: государство свободно от внимания к свободному творчеству художественных индивидуальностей, совершенно не знает, что делать с художниками; слой любителей, коллекционеров тонок (они больше интересуются антиквариатом) – государство и художник в тупике.

Несчастный художник готов на любую работу, но производственные сферы не развиты – безработица: многим не хватает работы и её ищут. Молодой художник дожидается какой угодно малой пенсии по старости.

Тем не менее, картины пишут и пишут, хотя бы для самовыражения.

Возможно, со временем в стихийном самовыражении окажется необходимый гуманистический смысл: по картинам станут изучать не окружающую жизнь (она неизбежно меняется), а самого человека, его внутреннее состояние, психическое здоровье, размах воображения, технологию изготовления красок. То есть, историю страны и мира станут изучать не по количеству войн, побед и поражений, а по состоянию здоровья человека в определённый период истории (как сейчас по ископаемым артефактам составляют культурную историю прошлых веков).

В 60-70-е гг. что бы ни делал В. Голявкин в литературе или в живописи – было провидческим с дальним прицелом. Ирония в его рассказах, вновь введённая в 60-е гг. XX-го, сильно откликнулась в начале XXI века: сейчас – все-все пишут, а никто не читает – крайне недоверчивое отношение к мировой истории, к литературе особенно: не верят в подлинность и правду описываемых фактов, не верят в искренность написанного. Ирония 60-х привела к скептицизму во всём в начале XXI века.

Ливни слов и текстов каждодневно выпускаются в свет. Это обязательно? Присмотреться внимательнее: повторы начитанного, словесные штампы, усвоенные в учебных заведениях, ложные сведения – их никогда никто не проверит, наличие подлинности факта несущественно; наивные размышления от недостатка интеллектуального опыта («а я считаю!!!», «на мой взгляд»).

На самом деле: если бы провозглашаемое, требуемое, содеянное было правильным, не развалились бы миры и государства, что и породило всеобъемлющее сомнение в истории, в литературе, в политике.

«Шестидесятники» плохому не учили: скептицизм «работал» на воспитание Личности – смотреть и мыслить глубже и шире.

Но подсуетилась Америка с империалистической жадностью – мир заполнили идеи Глобализма, приспособленного для более выгодного существования крупных международных корпораций. Глобалистский практицизм «перекупил» сразу все мировые философии, обесмыслил религии, дискредитировал таланты, причём самой недорогой ценой: джинсы, куртка, кеды и противная кепка с козырьком (всем на бейсбол, дураки несчастные!) – сразу на всём Земном шаре превратили в одинаковую серую массу людей, лишённых индивидуальности; сунули в руки электронные игрушки – мобильники, смартфоны, – каждый принуждён рекламой носить на себе в любое время суток, словно могильную плиту душевно–духовному своеобразию.

Из коммерческой паутины, представляется, нескоро возможно выпутаться.

Выходя из 60-х XX века, мне представлялся О. Целков самым злым на свете художником, и я ждала: он всё-таки подаст руку человеку и вытянет его из безнадежно жестокого безобразия – тогда художника станет можно назвать великим (гуманистом). Я зря надеялась.

Художники конца XX – начала XXI века наперегонки упражняются в столь усиленной жестокости по уничтожению Человека – якобы обстоятельства лишают его человеческого вида и достоинства, – какого ни в одну войну не бывало, и никто не озабочен подать человеку мысль во спасение в новой реальности.

В 60-е XX века у людей надежда на жизнь была.

В 2019-м Виктору Голявкину исполнилось бы 90, он скончался в 2001 – на 72-м году жизни. Он назван классиком детской литературы, рассказы и повести для детей постоянно издаются московскими издательствами. Значит: несмотря на своё отсутствие на земле, он продолжает быть исправным налогоплательщиком. Произведения для взрослых – роман «Арфа и бокс» о трудном становлении юноши и «взрослые» рассказы выходят в свет реже. Они не стали коммерческой литературой, зато достоинство оригинального писателя не размывается «маскультом».

Интересный мужик-индивидуалист мне попался!

Появились-таки в 1960-е XX века в СССР индивидуалисты! Если бы социалистический режим в стране продолжался – а он окончился в 1991-м году – мне бы не сдобровать: от одного названия «индивидуалист» быстро бы вернули к такому коллективизму, что различать индивидуалистов не осталось бы духу. В. Голявкина я знала в Ленинграде лично и кое-что о нём рассказала. Другого, московского индивида, известного всем и каждому в стране и в мире, мне пришлось наблюдать отстранённо по мере его мелькания в печати, по радио и телеэфирам, своё впечатление и мнение о нём я тоже расскажу, но В. Голявкин был с ним лично знаком и дружелюбен, встречался, и запись в его дневнике-блокноте о Е. Евтушенко я приведу в первую очередь.

Людмила Бубнова

Из Записных книжек В. . Голявкина.

«О Евтушенко.

Первая встреча. С Ерёминым и Виноградовым в Москве. (Ерёмин и Виноградов были тогда молодыми писателями – Л.Б.) Евтушенко перевел чью-то поэзию. Ахмадулина читала свои стихи. Я сказал ей, что это чисто женские стихи. Она обиделась.

Выпить у него было нечего. Чуть-чуть коньяка. Читать он не стал. Вид у него был усталый. Он много, видимо, работал. Он произвел на меня впечатление очень трудолюбивого человека.

Ахмадулина вышла провожать нас с собакой. Это была очень красивая собака, и на Ахмадулиной была очень красивая шуба...

Вторая встреча во Дворце культуры связи в Ленинграде. Я видел, как он читал стихи. Было шумно. Кто-то собирался его бить. Были враждебные выкрики. Он читал прекрасно. Стихи мне не очень нравились. Но читал он их и держался великолепно. После выступления он ушел через чёрный ход. Его собирались бить.

На другой день он приехал ко мне в дипломную мастерскую. Я встретил его на улице в условленное время (я не помню, как мы договаривались о встрече). Он вышел из такси в сопровождении какого-то типа (А. Наймана – Л.Б.) и кашлял в большой белый красивый шарф, которым был укутан. У него был вид самого настоящего кашляющего поэта, согбенного под тяжестью своих стихов, – усталый, но непоколебимый. Я приготовил бутылку коньяку.

Я читал ему свою человеческую комедию, по моему мнению, произведение, превосходившее всё, что когда-либо было до этого.

Он слушал и выкрикивал:

– Гениально! Бесподобно! Удивительно! – и прочее.

Он читал свои стихи. За перегородкой из драпировки слушали нас студенты из соседней мастерской.

Потом мы встали, и он обнял меня сзади, и как-то, мне показалось, вдруг и слегка приподнял меня – умышленно сделал это, как бы вроде он «несёт» меня, ухлит надменно и всем этим говорит:

– Ну вот, я и понёс тебя! И в буквальном и не в буквальном смысле.

Я оттолкнул его и два раза ударил его в живот, но он успел закрыться, и: я попал ему по рукам.

– Мне не нравится всё это, – сказал я.

Я не помню тогдашнее его состояние. Но мне не казалось, что для него всё это неожиданно, что он удивлён и обескуражен, хотя таким выглядел бы любой человек, подняв меня ненамеренно, без умысла, как это сделал он.

Мы вышли, по дороге сели в такси, поехали к художнику, я сидел сзади, он – рядом с шофёром. Проехав некоторое расстояние, я сказал:

– Женя, посмотри на меня!

Он повернулся и посмотрел на меня.

И в этот момент я ударил его с размаху в лицо пятернёй.

– Бывают самые разные светские штучки, – сказал я.

Очень неожиданно! Если бы небо перевернулось – не было бы более неожиданно. Он подался назад и посмотрел на меня удивительно удивлённо.

– Витя, ты что?! – сказал он. – Что это значит? – сказал он опять.

– Остановите машину! – заорал он.

Машина резко остановилась, я вышел, хлопнув дверцей. Машина развернулась и помчалась в обратную сторону...

Следующая встреча. Ресторан Дома писателя в Москве. За столом – я, мой брат Борис с женой, Коринец, Казаков. Я видел, как вошёл Евтушенко, как он сел за столик к кому-то. Но я отвернулся. Можно понять меня.

– Вон Евтушенко! – сказал Казаков.

– Ну и пусть, – сказал я.

– Вы же знакомы, – сказал он.

– Ну и что, – сказал я. Мне не хотелось, чтобы он о нём говорил. Но он не знал ничего, он продолжал говорить, почему я не хочу подойти к тому столику.

– Пусть он сам подходит, – сказал я.

– Какая ерунда! – сказал Казаков. – Какие церемонии! – Он встал и подошёл к Евтушенко и сказал ему что-то, вероятно, что вон, мол, сидит Голявкин. Или что-то в этом роде.

Евтушенко встал и направился ко мне, и я повернулся, видя сбоку, что он идёт ко мне.

– Рад приветствовать моего самого любимого великого русского писателя! – сказал он, протягивая мне руку.

Я привстал, протянул ему руку и, глядя ему в глаза, сказал:

– Я тоже рад приветствовать.

Мы улыбнулись друг другу, он спросил у меня что-то вроде «как дела», и я что-то вроде тоже спросил. Он пошёл на своё место, а я сел на своё. Мне показалось, он был слегка напуган, и его можно было понять: он не гарантировал себя от какого-нибудь неожиданного удара с моей стороны, он не был уверен, что, скажи он что-нибудь мне не по вкусу, не получил бы за это удар, даже палкой по голове в самый неожиданный для него момент. Но я был несколько удивлён его столь любезным ко мне отношением.

В «Восточном» ресторане. Это было после Нового года, в 1964 г. Я уходил и увидел его за столиком в ярком свитере, с опущенной головой. Светлый клоч волос свисал ему на глаза, он был крепко пьян.

Я подошёл к нему.

– Женья! – сказал я.

Он встал, обхватил меня за плечи и сказал:

– А у тебя ведь грех передо мной...

Он был прочен. Мы стояли посреди ресторана, и я сказал ему, что рад его видеть, и он мне сказал то же самое, да пьян был не только он, но и я.

Мы стояли пошатываясь и хлопали друг друга по плечам, потом сели за пустой столик и взяли бутылку шампанского.

Мы выпили эту бутылку, ему передали какую-то записку, и он стал читать её, и я прочёл, но не помню, что там было написано. По-моему, его хвалили в ней за его автобиографию.

– Ты читал мою автобиографию? – спросил он меня.

Я сказал, не читал. Потом мы попрощались.

Я позвонил ему на следующий день в «Европейскую», как мы договаривались.

– Приезжай, позавтракаем вместе, – сказал он.

Я приехал к нему.

Он стоял посреди номера, чем-то расстроенный и мрачный. Валялись на полу не то валенки, не то ботинки диковинной формы. И что-то ещё. Висело на стульях что-то заграничное, яркое и кричащее, кажется, свитер.

Я только сейчас заметил, насколько он худ и тонок. У него удивительно тонкая талия, но он гибок, и не было впечатления, что он вот-вот переломится.

– Ты знаешь, что они мне говорят? – сказал он, как только я вошёл. – Они выражаются примерно так, как в твоих рассказах... Они спросили меня: «Когда вы собираетесь уехать из номера, нет, нет, вы не подумайте, я не потому спрашиваю, не почему-либо, я спрашиваю это в связи с графиком движения белья...»

– Как это? – не понял я.

– А вот так, они хотели что-нибудь придумать, хотели деликатно спросить, когда я уберусь отсюда, им, вероятно, звонят, спрашивают, ну и они придумали...

– Я плохо себя чувствую после вчерашнего, – сказал я.

– А я чёрт знает куда попал, – сказал он. – Шёл какими-то переулками, какая-то баба вела меня коммунальными коридорами. Была чья-то мать, был скандал, какие-то дурацкие разговоры... сплошная Достоевщина...

– Последнее время я часто пью, – сказал я.

– Нужно съесть харчо, – сказал он. – Это отлично – съесть утром харчо...

– Суп? – сказал я, – разве это хорошо?

– Это отлично, – сказал он, – вот увидишь, что это отлично...

Мы взяли харчо. Ещё что-то. Взяли шампанское. Это тоже было его предложение.

– Я пью только шампанское, – сказал он.

Я пил не только шампанское, но стал пить с ним шампанское. Мы выпили с ним восемь бутылок шампанского, мы сидели и беседовали целый день обо всём. И всё время он ожидал от меня неожиданности, а может быть, и удара. Я чувствовал всё это, и было мне неприятно. И даже обидно. Я хорошо был расположен к нему в этот день.

Я поворачивался на стуле, и он заметно отклонялся назад, как бы страхуясь от всякого с моей стороны жеста. Я, каждый раз принимая другое положение за столом, делал это с неохотой и стремился двигаться как можно мягче и незаметней. Но он замечал и отклонялся.

И всё-таки я спросил:

– Послушай, почему ты всё-таки поднял меня тогда? Можешь ли ты ответить на это?

Я постарался произнести как можно мягче и как бы случайно. Он отклонился назад ещё больше и быстро сказал:

– Не будем, не будем об этом говорить...

– Почему же, – сказал я, – интересно, просто интересно.

Он смотрел на меня внимательно.

Хотелось мне знать, интересно мне было, вот и всё.

– Не помню, – сказал он.

– Ничего не помнишь? – спросил я.

– Нет, я всё помню, но как поднял, не помню... Никто в мире мне не давал по морде...»

Последнее утверждение действовало до 1964 года. В радионовостях однажды прозвучало: во время лекции Е. Евтушенко в одном из американских университетов некий молодой человек подскочил к поэту и ударил по лицу. Евтушенко в 60-е гг. часто хвастливо высказывался в печати, что побывал в 64 странах мира. За границу тогда просто так не выпускали, а он, видно, по агентскому заданию КГБ (ГРУ?) – об атом никогда не говорят и не пишут, поэзия для этого была хорошей ширмой. Может, увлёкся слишком о себе, любимом, что невыносимо стало слушать, и получил... Зарекаться не надо при такой публичности. Известность, как только появился на свет, стала целью его жизни, но проворачивал свою известность неспроста – его современникам в СССР было очевидно, что он «служит». Были и другие люди среди московских «шестидесятников»: за тщеславием специально ехали в Москву и все похожи друг на друга лицами, нутром и поведением в обществе – поэты, писатели и некоторые художники... Я помню в 60-е наизусть произносили его стихотворение «Постель была расстелена, а ты была растеряна...» с разной интонацией в голосе: восторженной или ехидной (как бульварщина). После разных революционных перипетий 1990-х можно было получить не только пощёчину, но и пулю, Евтушенко жил уже не в СССР и не в России, а в городе Талса штата Оклахома США. Но и там не спасся – заболел.

В 2016 он организовал сериал телефильмов о себе – напомнить о своём существовании, чтобы серии крутились о нём на экранах, и в современных конъюнктурных обстоятельствах о своих услугах государству – получить за это кое-какую плату.

Он старательно и упорно шагал на американском телеэкране слева

направо длинный, худой, словно скелет, но в пиджаке последней моды, при галстукке попугайской расцветки, в кепке, слишком большой для его высохшей головы, ритмично переставлял палку – свою вторую ногу, позже пояснил: одна нога ампутирована. Он шёл один по большой дороге: так его снимали, будто он в мире единственный, а дорога последняя. Он спешил на свой очередной «пиар», что тоже может оказаться последним, а возможно, предпоследним – неважно: без известности он жить не мог. Не зря он хлопотал перед знаменитым продюсером: надо было показаться публике – он жив, а вся предыдущая эпопея его жизни стоит не только сериала, но и достойной награды.

Это шёл Евтушенко, Евгений Александрович, известный с шестидесятых годов поэт, любивший артистично выступать в СССР перед аудиторией в больших залах и на стадионах с чтением своих стихов.

Когда он скинул пиджак и кепку, лицо обнажилось, и он предстал перед камерами; смотреть на его лицо-череп под тщательным макияжем было жутковато: глаза смотрели с экрана, будто с того света – зачем он снимается?

Не все, в отличие от меня, назовут его явление удручающим, при современной неоднозначности мнений некоторым может показаться лихорадочное появление старого поэта на одной ноге мужественным, даже героическим.

На Российском телевидении ему уже объявили награду: получит орден «За заслуги», президент, как водится, поздравит нового американца.

И вот он уже на телеканале «Культура» в России, в Москве. Пальцы в кольцах, плешь, грим – умиляется самому себе, живому классику, присутствию в литературе 65 лет.

Беседа.

В. – Что такое Евтушенко в наше время?

С. – Трубадур послесталинской эпохи.

Е. – Моя фамилия Россия, а Евтушенко псевдоним.

С. – Нет больше такого общественного темперамента в мире и в России.

Г. – Поэзия Евтушенко – публицистика.

Е. – Я первый поймал говор у народа, новое поэтическое ощущение... Я у всех всему учился. Мои стихи нравились многим писателям и читателям...

В. – Никто не обладал такой известностью – неслыханная слава!

Ф. – Это и есть *новый герой*. *Новый тип литературного поведения*. Сравнивают с Пушкиным.

Е. – Я люблю жизнь! – читает стихотворение картинно, как всегда.

С. – Он воспринимает звуки и слова, и всё, всё – его мир: человек, судьбы...

В. – Какие недостатки?

С. – Я его люблю. Не хочу говорить о недостатках...

Ф. – 70 процентов в корзину, 30 процентов – в книгу. Замечательна любовная лирика, эротика – «Шубка соскользнёт...»

В. – Ты – поэт женщин, женское начало.

Е. – Это правда! Женщина – мать... Любовь была в 1968 году... Когда я стал депутатом, я говорил: надо уничтожить комиссии по выезду граждан за рубеж.

В. – Современный живой классик!»

Одним словом, обожаемый! Популярный!

Стих «Хотят ли русские войны», превращённый в песню, похож на неудачную рекламу – перестарался. Бывает...

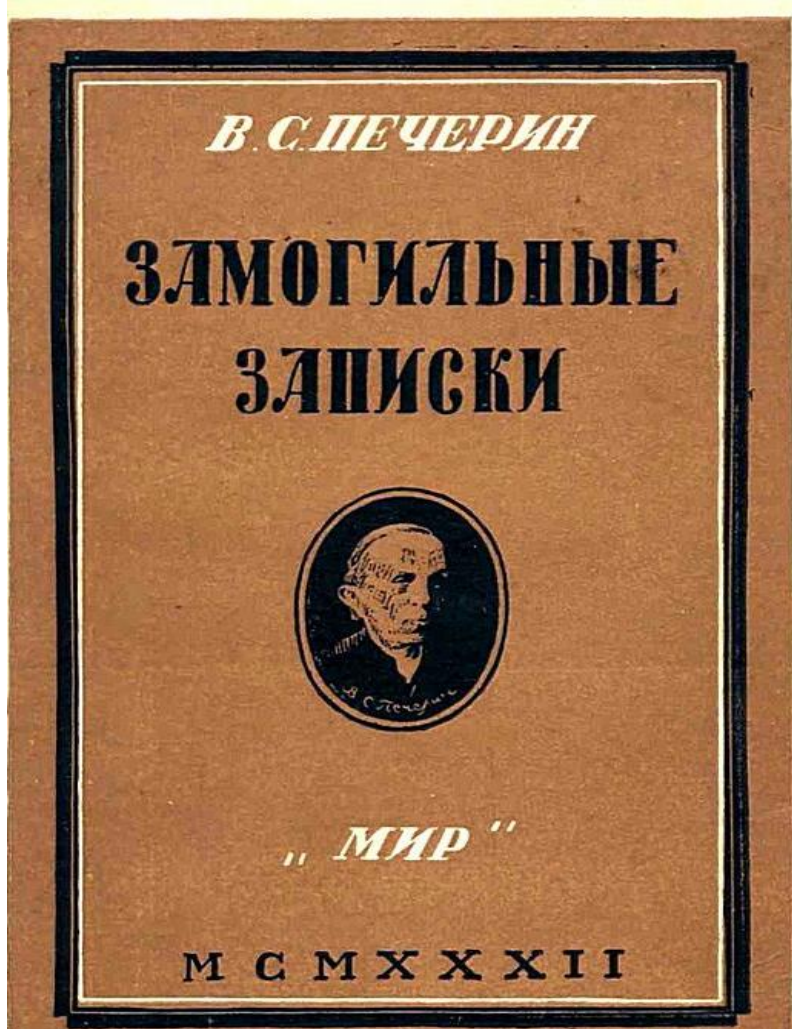
О себе он говорил величественно: вполне возможно, так и думал – он поэт с большой буквы, со страстью убеждал в том весь мир с тщательностью необыкновенной. Понятие «пиар» появилось к концу 90-х, Евтушенко владел им мастерски, артистично. В фильме об учёном К. Циолковском он сыграл главную роль не хуже профессионального артиста, быть бы ему киноартистом.

Родной страной ему было предоставлено невозможное и даже больше. Люди старшего поколения, пережившие войну и ГУЛАГ, видели каждого человека насквозь, относились к его славе сомнительно, а к нему насторожённо. Молодые – безудержно аплодировали. Вероятно, ему самому представлялось: словно эльф он ступает по земным мирам, везде нужен, и всюду успевал-мелькал, где что-нибудь заметное происходило. Его авантюрная жизнь вмещала много интересного для занимательной беллетристики.

Я знаю не только то, что написала. Но больше не скажу. Пока хватит.

сентябрь, 2018

III. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ
("Лишние" русские люди)



Продолжение. Начало в №8

Предисловие человека, вообразившего себя Редактором мира.

Записки Печерина я читал более пятидесяти лет назад (когда я еще читал), потом я на пятьдесят лет читать перестал, ныне возобновляю чтение, надеюсь, что не только я сам что-то измысливаю, но и в других смогу найти продуктивное измышление. Правда, возможно либо **измышление**, либо **жизнь**, их совмещение (по Аполлону Григорьеву) почти никому не удастся.

Тогда еще меня поразила одна фраза из Записок: «христианство объявило войну человечеству и всему миру».

Так как нам и необходимо и суждено **во всём** разобраться (нам передал Господь «висяк», и мы – следователи, которым нечего терять, он пообещал нас выгнать с работы (то есть из жизни), если мы не разберемся в окончательной правде – то вот и приступаем. Пока я бригадир следственной группы, остальные скоро подойдут, им тоже терять нечего.

Но неужели только дело этих Записок касается одного христианства – ведь, кажется, и я столько о нем книг написал, что все пережевано? – нет, тут соединяются вместе и **Россия и Европа**, и **либерализм и коммунизм**. В трех номерах Записки и комментарии к ним и наши отклики исчерпаются, а далее мы будем копать по плану (план у меня есть).

Второе, кроме важной фразы, состоит в удивительном совпадении моей судьбы и личности с личностью «автора Записок». О нем писал Герцен (вождь либерализма, русского социализма и революционства) в «Былом и думах», они встречались и даже сотрудничали. Один из Аксаковых (вождь славянофильства) встрепенулся, узнав о его воскресении, и обещал напечатать все, что будет оттуда прислано. Напечатал Записки Лев Каменев, вскоре расстрелянный, один из вождей большевизма. Дружил Печерин с Никитенко, которому мы посвятили в нашем журнале немало страниц, и не случайно – это представитель той более широкой оппозиции, включая и Пушкина, и Вяземского, и декабристов, и Чаадаева (а Пушкин с ними со всеми дружил), и Достоевского, и Розанова – которая неотделима от России и от всех нас, выросших из Революции и коммунизма, продолжающих расти уже после них, пропитанных этим марксистским коммунизмом даже более чем христианством, мечущихся между Россией и Европой, между коленопреклонением перед любым земным царьком и отрицанием небесного. Я с ними со всеми не дружил и не был даже знаком, но я из них из всех вырос. Именно в этом смысле я тождествен интеллигенту 19-го столетия.

Ужас современных споров (о Ленине, Сталине, Николае, Столыпине, Цицероне и Христе, Аристотеле и Игнатии Брянчанинове) состоит в том, что в мысль пытаются впрячь несовместимости. Если принимаешь Революцию, Чекизм, физическое уничтожение образованных сословий, **ненависть к национальной идее** (в частности, к русской), то обходи церковь стороной, переплавляй кресты на орала, закапывай и оставшихся священников в землю, какую мировую революцию вы возвещаете с "белым венчиком из роз", уже давно и глубоко это все исследовано Блоком (отчасти евреем, поэтому умным, но все же русским, поэтому мистиком).

Революция была **против** России, она не только залила ее кровью и всех умных и тонких русских либо уничтожила, либо изгнала, либо уморила, либо раздавила (а у меня и здесь и раньше каждое слово выверено вплоть до ударения, нет ни одного лишнего и все необходимые, так же и с понятиями и с именами, я бы это мог показать на примере каждой фразы, которую я измеряю и взвешиваю, пересчитывая буквы и проверяя их *«на прокол»* – а знаете ли вы, что это значит? Если спросите, я потом расскажу) – и вот: какие споры о революции, коммунизме, масонах, великих князьях, чекисте – муже Цветасовой, белом генерале, завербованном красными, муже гениальной Плевицкой, нерешительном Корнилове в августе 17-го, когда и генерал Алексеев был в заговоре (против кого?), Колчаке, Деникине, Махно... пока мы их всех не вызовем на допрос?.. А мы не знаем даже, почему монархист Шульгин 23 февраля (8 марта) 1917 г. подписал и принял у царя карандашное отречение от престола, и внятного объяснения не дал ни он сам, ни его секретарь. Гениальная актриса Елизавета Тиме крутит роман с Керенским, гениальная певица Липковская в любовницах у Урицкого, "гимназистка" Ирочка Одоевцева кружит голову пронизательному Гумилеву... революция – это не национальные катаклизмы, и не социальные, это сдвиг тектонических масс, это поиск новой логики бытия, это всеобщее безумие, и личностей, и народов, и бесформенных масс! Но каково богатство личностного содержания, и за тысячу лет не охватить всех! А произойди революция сегодня – о ком мы вспомним даже через пять лет? Кто напишет мемуарный листок? Я слушал дебаты при выборах нового царя, я ужаснулся оскудению бытия!!!

Но хватит, далее – в третьих. Начинаю с Печерина из-за поразительного сходства в чем-то личном, в характере или в судьбе? Печерин бежал и стремился бежать, **ПОБЕГ** был вмещен как потенция и в меня тоже. Печерин, блестящий выпускник Московского университета, убежал от профессорской должности, от благополучного быта, от ученых занятий, он добежал до Дублина, до монастыря, до монаха, до Герцена, до коммунистов, до сиделки при больнице для бедных, добежал до своих Записок и умер – смерть его наступила в конце концов. (К слову сказать, и знаменитые русские, с **благополучной судьбой**, пытались от нее убежать, Вяземский проиграл в карты миллионы, царь его спас, Толстой проиграл в карты Ясную Поляну, Пушкин играл в карты, стрелялся на дуэлях, наконец застрелился – это ли не побег? Лермонтов застрелился на Тереке, пытался подставить себя под чеченские пули, застрелился ничтожным хлыщом Маргъиновым; Достоевский стрелялся каторгой, неудачной женитьбой, удачной любовницей, игрой в рулетку, двумя журналами... Чего им всем было надо, дворянам?)

Но я бежал от отчаяния. В седьмом классе меня выставили на позор в школе, назвав чуть не новым Гитлером, исключили из школы, я побежал в "Южную Америку", добежал до Красноярска, влюбился на вокзале в цыганскую девчонку, неожиданно вскочил в проходящий поезд и вернулся домой. Потом меня начали любить все, и что-то со мною происходило, но пока меня одни притесняли, другие бросались на помощь. Я бежал уже не из-за притеснений, а по внутренней потребности, в 20 лет вышел из дому, пошел пешком в монастырь, почему-то надо было зайти сначала в Пулковскую обсерваторию (я был астрономом), зашел несколько дальше, посидел у

речушки, сел в проезжающий грузовик и вернулся. Потом меня бросила девчонка, другая носила ей мои письма, уговаривала меня одуматься, потому что у нее, мол, поцелуй даже слаще. Потом я пытался бежать из жизни, медсестра или врачиха меня поцеловала, когда я вернулся. Потом я бежал из университета (а был не самым ли блестящим тогда студентом, многие меня помнят до сих пор). И вдруг начал писать диссертацию – но в решительный момент сбежал в тюрьму и в сумасшедший дом. Пожив счастливой жизнью лет 20, сбежал от себя в издание книг и журналов, в "политику", бежал в сумасшедший дом на экспертизу, месяц был за решеткой, получил – единственный в России – справку о «благонадежности» и **вменяемости**, заремел в тюрьму, не догремел до конца (не забывайте, что и жизнь и люди меня отчаянно любили, не знаю, за что), и вот уже 14-й год живу на воле и почти счастлив, копаю огород, построил баню, бросил наконец пить (точнее сказать, «питие» меня бросило), издаю журналы, умеренно спорю и поучаю... Кого? Народ? Писателей?

И вот тут-то самое главное в моей жизни, в чем и с Печериным у меня тоже большое сходство.

Итак, в четвертых. Сказано было когда-то легковерными: **Стучите – и обрящете**. Вернее было бы сказать: ИЩИТЕ! Ибо стучать – это надеяться на халяву, а **поиск** включает в себя и ученье и труд. Но я *и искал и стучал*, требуя открыть дверь, добрал я однажды до какой-то кельи в лесу. Наконец дверь открылась, вышел с большой бородой сурового вида, спрашивает: Ну чего тебе? Я ему изложил все наши обвинения, мол, создатель ты никудышный, мир построил плохой, и люди не все как надо, и жить почти невозможно, и все несчастливы. Тебе нас не жалко? – зло я его спросил (почти как Иван Карамазов). Жалко – с грустью он мне ответил. Пробовал я вас сделать счастливыми, так вы впадает в такое свинство, что хуже некуда, вот посмотри, полный огород поросят, я уж огород засадил сладкими буряками, резвятся, визжат, жрут буряки и валяются в лужах – и это всё бывшие люди?!

Я помягчел. Знаешь, у меня баня тоже дымит, из всех щелей прет, но я же ее *редактирую!* И писателей тоже, иной такое несет, вычеркиваю, исправляю! Да и собственные писания перечитываю, хотя времени совсем нет, переписываю, сокращаю, пишу лучше, а ты вот мне не помогаешь, не совершенствуешь мои речь и письмо!

Ну, не ври! Сколько раз я тебя мордой в грязь и об стену, тугой ты ученик, трудно тебя учить, девушки одни на уме – и все же вспомни, за 60 лет, после первых писаний, разве ты не поднялся повыше? И час я тебя не еложу ль по крапиве и даже ночью в постели уже охаешь, домашним спать не даешь, редко вдруг спохватишься, вскочишь, сделаешь зарядку, запишешь, что мои волхвы тебе нашептали, и снова ложишься. Ну а что мое Творение нуждается в редактировании – кто ж с этим спорит, кроме безмозглых писарей, которые зарабатывают на хлеб только переписыванием чужого? Ты мой *избранный Редактор, читай, думай, вычеркивай, вписывай от себя!!!*

Итак, я – **Редактор мира**, Бог мне сие поручил, но мне в этом НЕ помогает, я один, время вытекает, жизнь тоже, я написал Исповедь, ее не читают, остался Журнал, топор, пишу, машу... **Надо редактировать Бога. Редактор, ВИ.**

В. С. Печерин. ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

(продолжение. Начало см. в №8)

Бегство из Цюриха

*В страницах этого рассказа,
Любезный друг, узнаешь ты
Соединенные черты
И Дон-Кихота и Жилблаза.*

*Terra marique profugus.
Verg.¹.*

Однажды вечером, в начале мая 1838 года, я сидел в кофейне Баура, бывшей тогда притоном всех политических беглецов. Подходит ко мне итальянский выходец:

«Слышали Вы новость?»

– Какую?

«А вот, что случилось с бедным Краузе».

– Как? что такое?

«А то, что его посадили в тюрьму».

– Помилуйте, да за что же?

«Как за что? за долги. Разве Вы не знаете, что когда дело коснется денег, Цюрихцы шутить не любят. Они, ужасно как жестокосерды».

Тут нечего было долго размышлять. На другой же день я заложил у Жида² славный петербургский плащ, – он дал мне 12 франков. Дня за два перед тем у меня была сцена с хозяйкою. Рано по утру она вошла в мою комнату с раздраженным видом. «Ну что же это значит, Monsieur Фуссгэнгер? Вы целый день сидите в кофейне с итальянскими графами да банкирскими сыновьями, вовсе не по вашему состоянию, а мне за квартиру не платите!»

Я побледнел, как полотно: в первый раз в жизни мне говорили подобные речи. Я сказал ей отрывисто, чтоб она оставила меня в покое с своими замечаниями, а если уже на то пошло, то лучше уже прямо послать за полицию.

Промаялся еще день или два, истратил часть денег, вырученных у Жида, и наконец решился. Я написал отчаянное, романтическое, лживое письмо, от которого теперь еще краснею, и оставил его на столе с прочими бумагами. Рано по утру, было прекрасное майское утро, я вышел прогуляться по

¹ Скиталец по суше и морю (Вергилий).

² Вплоть до середины 50-х гг. это слово не носило презрительно-бранного характера и употреблялось в прогрессивной печати. Лишь впоследствии оно приобрело антисемитский характер и стало употребляться, исключительно в реакционных и контр-революционных, а также в малосознательных кругах населения.

большой дороге в Базель. На мне был щегольской сюртук, жилет и панталоны совершенно новые, только с иголки (разумеется в долг). Я был совершенно налегке, вовсе не по дорожному, а так просто *фланирующий* господин.

Базель, знаете, окружен стеною, и уж там не знаю сколько ворот. Миновав главные ворота, я вышел боковыми, небрежно размахивая носовым платком. Но мошенник полицейский тотчас подметил, что тут что-то не спроста, спросил паспорт и повел меня в полицейское бюро. Я немножко струхнул. У меня был старый русский паспорт, да сверх того *feuille de route*³, данный мне французским посланником для прохода чрез Францию в Бельгию. Но все это было давно просрочено. Я думал: что как они спохватятся, да пожалуй еще пошлют в Цюрих собрать справки? Ведь плохо будет. Старший чиновник, глядя на меня, сказал в полголоса своему товарищу: «Этот господин как-то слишком торопится перебраться во Францию». Но я принял самый хладнокровный и равнодушный вид, как будто ни в чем не бывало. Все благополучно сошло с рук: паспорт мой подписали, и я тотчас же выбрался из Базеля. Чрез несколько шагов вот и Франция. Вот и жандарм в треуголке гуляет по дороге! Вот она, обетованная земля, таинственный предел мечтаний и надежд моего детства и моей юности! Я едва-едва не облобызал этой, тогда священной для меня почвы.

Пограничное Сор-Луи прекрощечное местечко: едва ли там насчитается «более десяти домов. Я приютился в крошечной гостинице, но не сел за общий стол ужинать, опасаясь за свой карман, а только приказал дать себе чашку кофе. По утру я отправился к мэру, который принял меня очень учтиво, расспрашивал о России, где у него какая-то родственница была гувернанткою, – подписал мой паспорт и за это потребовал два франка. Мне стыдно было признаться в бедности, – вот так я ему и отдал последние два франка.

Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане, ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звезда сияет предо мною! Я не хуже Цезаря имею право веровать в свою *форту*. Итак, вперед! En avant! marchons!⁴ Солнце ярко блистало на голубом небосклоне, птички пели в кустах, воздух был наполнен майскими благоуханиями. Вот истинная поэзия жизни! Наслаждаться природою, когда есть деньги в кармане – это просто грубая проза! Тут вдруг представилось мне новое неожиданное зрелище: большой крестный ход, священник с причтом под балдахинем, церковное песнопение, запах ладана и толпа народа. С ироническою улыбкою я слегка приподнял шляпу и прошел мимо. Главною целью моего пути в этот день был – *Алткирх*, грязный городишко полу-французский, полу-немецкий и весь наполненный Жидами. От этих-то сынов Израиля я чаял спасения. *Salus ex Judaeis est!*⁵

³ Дорожное свидетельство.

⁴ Вперед! идем!

⁵ Спасение – из Иудей!

Алткирх.

Я тотчас отыскал нечто в роде толкучего рынка, то есть ряд полутемных лавок, где продавался всякий хлам, а особенно старое платье, и немедленно вступил в переговоры с Жидом. Я отдаю ему все, что на мне есть: сюртук, жилет и панталоны, а он должен мне дать белую блузу, с жилетом и панталонами того же материала и придать деньгами, сообразно с качеством и свежестью моей одежды. Злодей! Варвар! Он дал всего 8 франков! Тут некогда было долго торговаться; был третий или четвертый час по-полудни, а я еще ничего не ел.

Вот так я и нарядился в белую блузу (надобно заметить, что во Франции белая блуза нечто *distingue*⁶; очень порядочные люди в ней путешествуют; но зато *синяя* блуза исключительно принадлежит рабочему классу) и с осью франками в кармане, с веселою беззаботностью отправился в кофейню выпить un petit verre⁷ и закурить сигарку, – потом хорошенько пообедал и, не дожидаясь захождения солнца, прямо бухнул в постель. Здесь я помещу все путевые анекдоты между *Алткирхом* и *Нанси*.

В то самое утро, когда я вышел из Алткирха, я остановился позавтракать safaу lait⁸ в деревушке Germagny. Служанка принесла сдачи медные деньги; я все их великодушно отдал ей. Она так и выпучила глаза и, вероятно, приняла меня за какого-нибудь эксцентричного англичанина. И действительно, скоро после этого, иду по большой дороге; крестьянин, работавший на поле, приподнял голову и, взглянув на меня, воскликнул: «Sont ils dr les ces anglais!»⁹ Так видно уже мне на руду написано быть англичанином. Суженого конем не обведешь.

Где-то недалеко от *Бефора* (Bfort) около полудня я зашел в маленький кабачок отдохнуть и выпить стакан вина. Хозяин, простой мужик в синем балахоне и деревянных башмаках, тотчас вступил со мною в разговор. Ему ужасно хотелось узнать весь мой формулярный список: кто неоткуда, и что, и как, особенно какого ремесла человек. Краткости ради, я отвечал: «Je suis un homme de lettres»¹⁰. Хозяин тотчас встал, поклонился мне в пояс и с каким-то благоговейным восхищением беспрестанно повторял: «Ah! monsieur est un homme de lettres! Ah! monsieur est un homme de lettres!»¹¹ Заметьте эту характеристическую черту Франции: ни в какой другой стране не отдадут такой почести литературному ремеслу.

Между *Эпиналем* и *Нанси* застал меня дождь на большой дороге, я поспешил укрыться под маленьким деревцом, стоявшим среди поля. Тут же

⁶ Приличное.

⁷ Рюмочку.

⁸ Кофе с молоком

⁹ Ну и смешны же эти англичане!

¹⁰ Я – литератор.

¹¹ О! вы – литератор! О! вы – литератор!

подбежал и молодой крестьянин (это было в Лоррене). «Ну, уж дождь!» сказал я: «тут весь промокнешь до костей, да и какое же дрянное дерево, что и от дождя-то защитить не может!» Молодой человек так и вспыхнул и с негодованием сказал: «Ну да у вас-то деревья разве лучше здешних?» (Et les arbres de votre pays sont ils meilleurs que a?) Неоцененная черта французского патриотизма.

Нанси.

Я пришел в Нанси в самый разгар большой годовой ярмарки. Везде толпа народа в праздничном наряде. Гремела полковая музыка, играли шарманки, бандуры, арфы; фокусники и шарлатаны выкидывали разные штуки. Нет ничего ужаснее, безнравственнее, как быть без приюта в большом городе, шляться без цели по улицам, чувствовать голод и видеть пред собою зрелища довольства и роскоши. Чтобы укрыться от дождя, я стал у большого подъезда губернаторского дворца. У префекта в этот день был какой-то большой прием: беспрестанно подъезжали кареты, из них выходили одна за другою прелестные дамы, разряженные впух, господа в мундирах или черных фраках с ленточкою почетного легиона, в шелковых чулках и башмаках... Каждый из них, или какой-нибудь их лакей, имел право сказать мне: «Что ты тут стоишь, бродяга?» А тут еще подошел слепой с шарманкою и жалобным голосом начал оплакивать несчастья великого Наполеона, измену его генералов –

Si Raguse et aime la France
Comme Montholon, Bertrand, Montmorancy,
Contre toutes les puissances
Napoleon serait encore ici¹²

Какая-то глупая трагикомическая мысль о героических бедствиях вошла мне в голову; слезы выступили на глазах; я ужасно как упал духом. Чувствовал себя покинутым, забытым, без друзей и без приюта; в голове был какой-то лихорадочный бред, я не умел связать двух мыслей, и припомнил стих Хомякова:

И сынов твоих покинет
Мысли светлой благодать!

А между тем на груди моей покоилось сокровище, письмо Г. С...ва¹³, дававшее мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Но даже и в эту страшную пору испытания, ни на одну минуту, ни на одну секунду я не имел поползновения воспользоваться этим документом. Что ж это такое? Непреклонная ли воля? или неизбежная судьба? Как хотите; но вот этак-то я видел и испытал все стороны жизни.

¹² Если бы герцог Рагузский так же любил Францию, как Монтолон, Бертран, Монморанси, – несмотря на все сопротивление держав, Наполеон был бы здесь.

¹³ Гр. С. Г. Строганова.

Бродя по улицам, я отыскал агента, доставлявшего места служанкам, учителям и проч. Он очень хорошо меня принял и, увидев из моего пашпорта, что я был профессором, он тотчас повел меня к директору какого-то пансиона. Этот добрый человек тут же сунул мне в руку 3 франка (огромную для меня сумму!). Со слезами благодарности я сказал: «Ah! monsieur! ce n'est qu'en France qu'on trouve des gens si charitables!» – «Ne dites pas cela, mon enfant, il y a de braves gens partout»¹⁴. Он также дал мне платье из своего гардероба; но к несчастью оно было слишком объемисто для меня, так что я должен был променять его на другое, которому суждено было играть важную роль в последующих событиях. Но вакантного места у него вовсе не было. Что ж тут делать? Вот еще день пропал! А ведь надобно же жить как-нибудь! Нельзя же приостановить течение жизни, пока найдется место.

«Ну, уж вы не беспокойтесь!» сказал мне агент; «у меня есть место для вас, но только не здесь, а в *Меце*. В пансион аббата *Бюро* требуется преподаватель греческого и латинского языков. Я тотчас же к нему напишу. Вам не противно быть у священника?»

– Нимало; мне совершенно все равно.

«Ну, так очень хорошо, приходите ко мне завтра поутру, а от меня вы отправитесь в *Мец*».

Путешествие в Мец и следующие за тем события

*Что слава? яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Пушкин.*

В восьмом часу утра мой агент попотчивал меня чашкою *café lait* с французским калачом, называемым *pistolet*, и с этим легким завтраком на желудке мне надлежало маршировать 10 льё, то-есть 40 верст, без копейки в кармане. Сначала все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная. Ландшафт беспрестанно изменялся по берегам извилистой Мозели; мелькали деревушки, дачи. Вот белый домик с зелеными ставнями: он как-то скромно приютился в тополевой рощице; из окон несутся звуки фортепьяно. Воображение рисует милую женщину, счастливую семью и напоминает мне малороссийскую песню:

У сосида хата била,
У сосида жинка мила,
А у мене ни хатинки,
Нема счастья, нема жинки!

Но к вечеру все как-то *опрозялось*. Я начал чувствовать усталость и

¹⁴ «Ах, сударь, только во Франции люди так добры!» – «Не говорите так, сын мой, всюду есть хорошие люди.»

голод... Вижу прекрасный господский дом (chateau), барин с барынею гуляют на самой окраине дороги. «Ну что же?» думал я, «дай подойду, поклонюсь, скажу...» Нет, невозможно! Есть нравственные невозможности! Несмотря на голод и усталость, у меня не стало духу просить милостыню.

Солнце садилось, когда я увидел пред собою серые башни *Понта-Муссона* с их долгими черными шпицами. Ночь настает, а до Меца еще далеко! Нечего было и думать искать ночлега в городе. «Там, где-нибудь за городом, в какой-нибудь деревушке, в какой-нибудь лачужке может быть найду приют».

В сумерки я подошел к мызе какого-то зажиточного фермера. Тут стояли огромные стога сена. Я присел на скамеечке у ворот. «Авось здесь удастся отдохнуть». Но тут вдруг залаяла огромная собака, и сам хозяин явился вслед за возом соломы. Наружность его мне не понравилась. «Нет! пойдём дальше!» Стало совершенно темно. Вот деревушка плетется длиною улицею под гору. Везде мрак и тишина, только на другом конце, в самом последнем домишке по левую сторону теплился огонек. Поровнявшись с этим домиком, я остановился: «Ну, что ж тут делать? Если я пойду дальше, то мне придется ночевать на поле». Я тихонько постучался у двери. Женщина отперла... «Что вам угодно?»

– Позвольте мне, Мадам, присесть немножко отдохнуть.

«Извольте, садитесь».

– Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, я ужасно как устал.

«Ах, Боже мой! Да как же это стакан воды! Ведь для молодого человека надо бы чего-нибудь покрепче».

– Что ж делать, *ma bonne femme*¹⁵ у меня нет ни копейки денег.

Она принесла стакан воды и поставила передо мною. Молчание. Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал – *Je suis un pauvre polonais!*¹⁶

«Ах! ты господи боже мой! какой же у вас король-то такой суровый, что он вас этак по миру пускает».

– *Helas!*¹⁷

После нескольких минут молчания – «Однако ж», сказала она: «ведь уж становится поздно, мне надобно дверь запереть, да и вам же нельзя тут оставаться всю ночь».

Пришла критическая минута, надобно было решиться.

«Послушай-ка, голубушка; подойди пожалуйста, да посмотри на мои панталоны, они совершенно новые, клетчатые; может быть они пригодятся твоему мужу; а ты мне, знаешь, дашь какие-нибудь его старые изношенные, – понимаешь?» Хозяйка взяла свечку, подошла, стала на колени передо мною, тщательно осмотрела и ощупала мои панталоны. «Ну, так, очень хорошо! Вот я вам за это дам ночлег и ужин!» Торг заключен. Она тотчас же притащила огромный сыр, целый хлеб и целую бутылку вина. Чего же тут больше

¹⁵ Добрая женщина.

¹⁶ Я – бедный польский эмигрант!

¹⁷ Увы!

желать? Это просто крезовский, сарданапаловский пир! Ешь не хочу. Я наелся и напился до сыта и, без малейшей думы о завтра, лег на мягкую постель и заснул тихим блаженным сном, какого ни Наполеон III, ни граф фон-Бисмарк никогда не вкушали. Проснувшись поутру, гляжу, панталоны мои исчезли, а на месте их лежали на стуле какие-то тряпки, но я не мог их хорошенько рассмотреть в полусвете комнаты. Лишь только вышел на улицу, как посмотрел на себя, да так и обомлел от ужаса: ведь эти штаны были просто составлены из разноцветных тряпок, – заплатка на заплатке... Что ж тут делать? Как же показаться в люди в этом арлекинском наряде? Тут едва не покинула меня вся моя стоическая философия. Ну что ж? Была не была – *le vin est tir il faut le boire!*¹⁸

Тут я предложу вопрос, или задачу на разрешение: где требуется более мужества: идти ли на приступ к неприятельской крепости, или пройти по большой дороге в черном изношенном фраке с панталонами из разноцветных заплаток? Вооружась этим второго разряда мужеством и скрепя сердце, я поплелся по дороге в Мец, и через два часа был уже у городских ворот. Мец, как известно, важная крепость. Тут была гаупвахта; стоял офицер с несколькими солдатами под ружьем. Они ни слова мне не сказали, а только смотрели на меня очень пристально. К вечной чести французского воина я должен записать здесь выражение их глаз. Что ж такое выражалось в глазах офицера и солдат? Благороднейшая, чистейшая христианская любовь, нежнейшее сострадание, – нет, скажу больше: благоговение пред несчастием. Этих взглядов я никогда не забуду.

Я тотчас же отыскал пансион аббата Бюро и сказал привратнику, что я де тот *refugi russe*¹⁹, о котором ему писали из Нанси. Аббат выбежал мне навстречу: «Ах, боже мой! да зачем же вы себя назвали *re fugi*?²⁰, ведь это здесь вовсе не рекомендация. Садитесь, садитесь! Вы греческого исповедания? Ну да это все одно и то же с нами! Это просто политическое разделение церквей. Вы можете преподавать греческий и латинский языки? Очень хорошо. Теперь только старайтесь приютиться где-нибудь, да принарядитесь немножко (указывая на мою бороду и намекая на панталоны). Вот вам маленькое пособие (15 франков) и приходите ко мне ровно чрез неделю. А между тем никому ни слова, что вы были у меня».

Первым делом было купить более приличные панталоны. Выхожу из лавки, гляжу, вот вывеска, – на доске мелом: *Logement et nourriture – six sous par jour*²¹. Это было для рабочих. Вот этого мне и надо! Теперь мой идеал осуществился. Доселе я был теоретическим республиканцем, а *proigi* разглагольствовавшим о нуждах рабочего класса, теперь я буду жить между работниками их собственной жизнью! Лишь только вошел я в комнату, хозяйка, с удивительным женским тактом, взяла меня за руку и посадила на

¹⁸ «Бутылка открыта, надо ее допивать» – французская пословица.

¹⁹ Русский эмигрант.

²⁰ Эмигрантом.

²¹ Помещение и пропитание – шесть су в день. Су – около 2 коп.

почетном месте у камина, сказав прочим гостям: «Faites place! je vois, que c'est un enfant de bonne maison!»²²

Нет ничего любезнее французского ремесленника: удивительная гибкость языка, отличные манеры, утонченная вежливость. Мне пришлось спать в одной постели с каменщиком, а напротив нас спал прекрасный мальчик, не помню какого ремесла. Вот мы трое почти всю ночь протолковали об устройстве будущей республики, о распределении работ, при чем мальчик заметил: «Nous travaillerons chacun notre me tier et vous, Monsieur, vous nous instruirez et nous aiderez de vos bons conseils».²³ Это комплимент мне как грамотею, homme de lettres. Но все это была риторика, милая болтовня, а практического смысла, какой, например у англичан, у них ни капли не было. Тут также можно было видеть различие народностей. Между ними был рабочий немец, очень красивый парень; но он все как-то глядел из подлобья и вовсе не мешался в наши разговоры. Он чрезвычайно занят был своим я (Das Ich). Обыкновенно он сидел в уголку и, держа зеркальце в одной руке, другою беспрестанно поправлял свои темнорусые кудры.

Наконец у меня спросили пашпорт и мне пришлось итти в полицейское бюро. Сколько я ни умолял их, они никак не хотели позволить мне остаться в Меце. «Вот ваш маршрут, feuille de route, – ведь вам предписано идти через Лонгви в Бельгию, ну так и ступайте! А то пожалуй, если вы останетесь здесь, вы будете просить вспоможения у правительства». Я давал им честное слово, что ни в каком случае ни копейки от правительства требовать не буду. «Ну да уж это мы знаем! Извольте-ка. отправляться. А если вы заупрямитесь, так мы пожалуй вас и с жандармами отправим за границу».

Точь-в-точь как у нас, на святой Руси, подумал я, и снова отправился в путь. Звезда моя – вела меня в Бельгию.

Несколько дней до пребывания в Цюрихе

*Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
Пушкин.*

Как подобает благочестивому республиканцу, первым делом моим было итти на поклонение святым местам в *Лагранж*. Что такое *Лагранж* или *Гранж*? – Небольшая гостиница или пансион в самой глухой и незначительной части Швейцарии, куда едва ли кто заезжает. – Ну так что ж тут любопытного? – Как что? Какой вопрос! Вот что значит не иметь живой

²² Дайте место! я вижу, что он из хорошей семьи!

²³ Мы будем работать каждый в своей отрасли, а вы, сударь, будете нас учить и помогать своими советами.

веры! Знайте ж, малoverы, что Лагранж или Гранж это – скиток преподобного иже во святых отца нашего Джузеппе Маццини, где он спасался и укрывался несколько месяцев от преследований французской полиции²⁴. Об этом Лагранже я читал еще в Москве, в гамбургских газетах, в швейцарской кондитерской, что близ университета, и как тогда уже душа рвалась к этой святыне! И эту святыню я осмотрел с благоговейным вниманием: сначала все окрестности и потом весь дом от чердака до погреба. В общей зале были развешены портреты итальянских патриотов и рисунок идеального памятника павшим героям с знаменитым изречением: *Non vincerete in un giorno!*²⁵ В простоте сердца и с детским любопытством я расспрашивал у хозяина и прислуги обо всем, касающемся Маццини.

На следующий день прихожу на ночлег в другое местечко, развертываю свежую газету и читаю:

«Вчера ночевал в Лагранже молодой французский шпион, un missaire du gouvernement de Louis Philippe²⁶ и тщательно собирал подробные сведения о пребывании там г. Маццини. Avis aux r publicans!²⁷»

Вот тебе и по делом! Не суйся, куда не просят! Не спросившись броду, не пускайся в воду. Куда конь с копытом, туда и рак с клешнею... Приветствую тебя, возлюбленная тень Дон-Кихота Ламанчского! Мир праху твоему, рыцарь печального образа! С самого детства я любил тебя. Читая твои подвиги в переводе Жуковского, я никогда не смеялся над тобою; нет! я все принимал за чистые деньги, и об одном только думал: как бы и мне сделаться странствующим рыцарем и бродить по свету, поправляя все неправды! И вот идеал осуществился и я пошел по твоим следам. Сколько ветреных мельниц я принял за исполинов! Сколько дульциней я обожал как идеальных принцесс!

²⁴ Маццини (1805–1872) – виднейший идеолог и практический руководитель революционного крыла буржуазного национально-освободительного движения в Италии XIX века; с начала 30-х годов Маццини выступил, как организатор революционно-республиканского заговорщического движения сначала в Италии, а затем, очутившись в эмиграции, распространил свою деятельность и на другие страны Европы, пытаясь связать в единую организацию («Молодая Европа») национальные революционные организации буржуазной молодежи в других европейских странах. В 30-х гг., к которым относится рассказ Печерина, Маццини и в глазах своих сторонников, и в глазах противников - реакционных европейских правительств был воплощением революции. В революционную эпоху 1848–1849 г. Маццини стоял во главе Римской республики, а после ее поражения вновь оказался в эмиграции, в которой оставался до конца жизни, неустанно продолжая свою деятельность, направленную к освобождению и объединению Италии на республиканских началах.

²⁵ Вы победите, но не в один день.

²⁶ Эмиссар правительства Луи-Филиппа.

²⁷ К сведению республиканцев!

Теперь понятно, для чего я поселился в Лугано. Лугано был фокусом революции, сборным местом маццинистов. Кто не знает Лугано с его черным амфитеатром, и что его нижние слои покрыты роскошным каштановым лесом, а вершины увенчаны альпийскими снегами? Кто не помнит этого волшебного зеркала озера, замкнутого отвесными скалами и высокою горою Сан-Сальвадоре, где на вершине стоит часовня с могилою польского изгнанника!? Природа очаровательная, но люди никуда не годятся: они ни то швейцарцы, ни то итальянцы. Добрых качеств этих двух народов они не имеют; но счастливо соединяют в себе все их пороки: швейцарское пьянство с итальянскою ленью, коварством и мстительностью. Одни люди, достойные внимания в Лугано, были – итальянские выходцы из северной Италии, люди хороших фамилий и отличного воспитания. Они составляли *élite*²⁸ тамошнего общества. Я особенно сблизился с молодым человеком задумчивой и грустной наружности. Мы часто вместе гуляли по берегу озера, беседуя о политике, о литературе, а иногда и о *сумрачной* России,

Где я страдал, где я любил,
Где счастье я похоронил.

Он рассказывал мне, как часто мать его умоляла не мешаться в политические дела: «Guarda ti figlio! Ti ammazzaranno»²⁹. Если не ошибаюсь, это тот самый *Грилленцони*, что впоследствии сидел в парламенте недолговечной римской республики³⁰. Он сослужил мне службу в черный день.

В этих маленьких швейцарских республиках с государственными людьми всякий запанибрата. Их встречаешь каждый день в трактире или в кофейне. В *Беллинцоне* я обедал за общим столом с целым Государственным Советом. Они, казалось, не слишком блистали умом, а были просто добродушные мещане. Таково по крайней мере было мнение моего попутчика, известного итальянца Руджиери, хорошо их знавшего. – В Лугано я каждый день обедал в трактире с президентом Республики, полковником *Лувини*. Заметив в глазах моих тоску одиночества, он очень ласково пригласил меня в их *казино* или клуб, где впрочем ничего особенного не было, кроме бильярда, газет и нескольких карбонариев. Этот *Лувини* был большой музыкант, и когда приехала оперная группа в ноябре, то он каждый вечер председательствовал в оркестре за контрабасом. Это ему припомнили в 1846 году, когда у него душа ушла в пятки, т.-е. когда он с своим отрядом пустился в бегство с вершины

²⁸ Избранная часть.

²⁹ Берегись, сын! Тебя убьют.

³⁰ *Grillenzoni Giovanni* (1796–1868) – итальянский революционер, карбонарий, был присужден к смертной казни и эмигрировал в Швейцарию; вернулся в 1848 г. и был членом Учредительного собрания в Риме, после поражения революции вновь эмигрировал, писал по вопросам итальянского национально-освободительного движения; после объединения Италии был депутатом парламента.

Сен-Готарда. «А! Синьор Лувини!» – кричали ему люди Зондербунда³¹, – «это не то, что играть на контрабасе: questa la gran musica del canone!»³².

Когда мой кошелек истощился, я принужден был заложить мои часы; я открыл свое положение г. Грилленцони, и он тотчас же собрал для меня подписку между своими товарищами и меня отправили в Цюрих, где была возможность давать уроки.

* * *

Благо есть место, я припомню здесь кое-что о Цюрихе. В мае 1837 г. готовилось гулянье по озеру из Цюриха в Раппершвилль. Пароход, изукрашенный разноцветными флагами, стоял в пристани и ожидал гостей. Туг толпились туристы разных наций и итальянские выходцы. Дам было немного. Какой-то рыжий француз играл роль глубокого последователя системы Галля и шупал все черепы, особенно итальянские. Вдруг входит на пароход долговязый, смуглый мужчина с ужасно багровым носом и очень замечательною физиономиею. «Скажите пожалуйста», – сказал я графу Угони³³ – «что это за личность? Ведь вы здесь всех знаете». «Помилуйте, как же его не знать? Это министр финансов здешнего кантона. Он вечно пьян. Об нем рассказывают презабавные шуточки. Однажды он пропил почти всю государственную казну. Оказался ужасный дефицит. Не знали, как и сладить с бюджетом на следующий год».

Мне кажется, это поучительный анекдот для государственных людей, ежели ты с ними знаком.

Путешествие из Меца в Льеж *(по нашему Литтих).*

Итак я оставил знаменитый Мец – теперь вдвойне прославленный и моим там пребыванием, и теперешнею осадюю. Не знаю, сколько у меня денег оставалось от подаяния почтенного аббата Бюро. Было, может быть, два франка или больше – не знаю. Помню только, что мне достало поужинать и переночевать в первой деревушке за бельгийскою границею. На следующее утро я пришел в пограничный городок *Арлон* (Arlon). Никто мне ни слова не

³¹ Зондербунд – особый союз, организованный реакционными, находившимися под влиянием иезуитов кантонами Швейцарии для борьбы с властью швейцарского федерального правительства, оказавшегося в руках буржуазных радикалов. Столкновение между радикальными и реакционными кантонами привело в ноябре 1847 г. к войне, которая быстро закончилась полным разгромом вооруженных сил Зондербунда, а вслед затем и изгнанием его руководителей-иезуитов из Швейцарии.

³² Это – великая музыка пушек.

³³ По-видимому, Филипп Угони, друг Маццини, организовавший его отъезд из Швейцарии после декрета правительства, изгонявшего его из этой страны.

сказал. Я прямо отправился в цирюльню выбриться (pour me raser un peu, как говорят французы) и потом перехватил кое-что, и спокойно направлялся в путь, как вдруг у самой заставы, как будто из-под земли выскочили два огромные жандарма с ужасными медвежьими шапками, спросили паспорт, взглянули и тотчас схватили меня под руки и повели по той же улице, где я прошел несколько минут перед тем. Мирные арлонские граждане высунулись из окон, выбежали за двери и вероятно спрашивали самих себя: какого это государственного преступника ведут? Жандармы привели меня на гауптвахту и оставили там, а сами отправились донести начальству. Небрежно развалившись на скамье, лежал молодой солдат. Он тотчас завел разговор со мною. «Да за что же это вас посадили сюда? Разве вы беглый солдат, deserteur?» – Я вовсе не солдат и не дезертер, и никак не могу понять, за что они меня арестовали. – Через несколько минут жандармы возвратились и тем же порядком повели меня к королевскому прокурору. Monsieur le Procureur du roi взял мой паспорт, посмотрел, улыбнулся и сказал: «Que voulez-vous? Ведь наши жандармы дураки, они ничего не понимают: они вас арестовали за то, что у вас нет визы бельгийского посланника. Тьфу, какой вздор!» – Однако ж что с ними делать? – «Для избежания неприятностей, я бы вам советовал взять здешний паспорт. Вот я вижу, что за ваш feuille de route вы заплатили 2 франка: на этих же условиях мы вам выдадим свежий паспорт». Я молчаливо отклонил его предложение; опять мне стыдно было признаться, что у меня ни копейки за душою. Даже теперь досаду на себя, что не объявил о своей бедности: я уверен, что мне выдали бы паспорт безденежно, и сверх того дали бы еще вспоможение, а может быть и постоянное занятие в этом местечке. Бельгийские франмасы очень человеколюбивы. Еще в Нанси мне говорили: «Ах боже мой! да зачем же вы не франмасон. Ведь все поляки франмасы. Вы бы скорее могли получить пособие». – Мне очень странным казалось это предложение в моих обстоятельствах. Ни за что на свете я не согласился бы из корыстных видов вступить в тайное общество, которого притязания на глубокую древность и таинственные обряды всегда казались мне смешными. В 19-м столетии, где все исследовано, все открыто, все наголо – к чему все эти таинства? и какая в них нужда? Мне кажется, это значит просто, что мы никак не можем отвязаться от средневековых понятий.

Королевский прокурор отпустил меня с миром, а жандармы удалились поджавши хвост. – Но этих жандармов я никак забыть не мог. Даже теперь трепещу при одной мысли об них. Проживши целый год в Льеже, когда мне случалось встречать их на улице, я тотчас смущался, краснел, как будто была какая вина за мною, думал: вот как схватят!

Погода переменилась, пошел проливной дождь. Передо мною расстилалась беспредельная однообразно-плоская равнина – точно в России. У дороги стоял кабачек, содержимый отставным солдатом: он же заведывал и поправками на шоссе. Надобно было опять пуститься на спекуляцию. Я продал ему свой фрак и панталоны, а он мне в замену синюю блузу (я упал одним градусом ниже) и соответствующие штаны, да прибавил деньгами три или четыре франка. Да сверх того этот добрый человек (да наградит его бог!)

дал мне на дорогу кусок хлеба с маслом. А дождь все идет. Промокнувши до костей, я пришел на ночлег в порядочную гостиницу. К счастью тут рделась раскаленная железная печка, где приготовлялся ужин. От нее так и пышило жаром. Славно меня осушила и обогрела! У печки сидел кружок рабочих, большею частью немцев. Думая, что я не понимаю их языка, они сделали меня предметом своего разговора. «Ну скажи-ка, брат, что ты думаешь: что это за человек?» – Ну что ж. Верно он какой-нибудь рабочий! – «Какой тут рабочий! Посмотри-ка на его руки! руки-то у него вовсе не рабочие!» – Ну так он должен быть чей-нибудь лакей! – сказал третий, и все, казалось, остались довольными этим разрешением задачи. После ужина мне отвели постель на чердаке под окном, без стекол, притворенным деревянною ставнею, через которую дул ветер и бил дождь, а на мне, заметь, едва просохлая рубашка. Вот что значит энергия, живучесть молодости! Я, наверное, теперь схватил бы горячку после этакого ночлега, а тогда все это сошло, как с гуся вода. По утру я проснулся свеж, как роза и *gai comme un pinson*³⁴, и снова пустился как исполнил тещи путь.

В Бастоне случилась со мною странная встреча. Вижу – идет молодой человек в белой блузе.

Познакомиться не долго
Пешеходам меж собой!

(Это пели в старые годы на Большом театре в водевиле *Ломоносов* или *Рекрут-стихотворец*, имевшем на меня огромное влияние³⁵). Белая блуза очень учтиво спросила меня, куда я иду. Я отвечал, что иду через Намюр в Брюссель. Да! действительно я шел в Брюссель: там жил знаменитый Лелевель³⁶: я воображал, что он там профессором, занимает важное место, я хотел прибегнуть к его покровительству, а после узнал, что он жил в крайней бедности, питаясь одним хлебом и сыром. – «Помилуйте», сказала белая

³⁴ Весел, как зяблик.

³⁵ Опера-водевиль известного в начале XIX в. драматурга кн. А. А. Шаховского (1777–1846), впервые поставленная на сцене в 1814 г.

³⁶ Лелевель (1786–1861) – польский политический деятель, профессор, член временного правительства, организованного в Варшаве после революции 29 ноября 1830 г.; Лелевель был в последнем представителем демократического, революционного крыла движения; после поражения восстания Лелевель эмигрировал, продолжая и в эмиграции возглавлять демократические элементы польского национального движения. В январе 1833 г. Лелевель был изгнан из Парижа, а в августе – из Франции и поселился в Брюсселе. Несмотря на ряд ошибок, допущенных Лелевелем в дни восстания, в первые годы эмиграции он считался признанным главой демократических групп польской эмиграции и пользовался громадным авторитетом в международном революционном движении того времени. Вскоре, однако, неопределенность позиции Лелевеля заставила подлинно-революционные элементы польской эмиграции отделиться от него и организовать на более последовательной демократической платформе»

блуза: «да зачем же вы делаете такой ужасный круг? Ведь вам прямая дорога через Льеж; отсюда до Льежа только десять льё, а оттуда вы возьмете железную дорогу и в каких-нибудь 5 часов будете в Брюсселе». – Ну, уж что касается до железной дороги, думал я, то это не по нашему карману; а все ж таки лучше идти в Льеж – оно гораздо ближе, да и тоже значительный городок. – Клянусь богом, что я никогда не думал о Льеже, даже на карте его не замечал, и в голову он мне не приходил и во сне не грезился, тем более, что его у нас обыкновенно называли Литтихом. Это было для меня совершенно новое открытие. Кто ж был этот молодой человек в белой блузе? Был ли он добрый или злой гений? Не знаю; но в том дело, что слова его поворотили поток моей жизни в новое русло и окончательно решили судьбу мою на веки веков. Этот таинственный посланник, совершив свою роковую миссию, учтиво со мною раскланялся и исчез!

Льеж (Liege).

Тучи разошлись, вся природа оживилась под яркими лучами полуденного солнца, в первых числах июня. Сделалась удивительная геологическая перемена декорации! После однообразной плоской равнины я вдруг неожиданно очутился на краю ужасного обрыва и передо мною расстилалась меж высоких холмов прелестная долина, орошаемая Мёзою, и вдаль виднелся город Льеж.

Меня перевезли через реку за несколько сантимов и вот я уж в предместиях. Народ тут вовсе не так был учтив, как французские солдаты в Меце. Рабочие просто смеялись надо мною. «Посмотри-ка, вот идет беглый поляк! C'est un polonais!» Почему, и как, и по каким этнологическим приметам они приняли меня за поляка – я вовсе не понимаю.

Город Льеж был в праздничном наряде: на балконах были вывешены ковры и шелковые ткани, в окнах стояли цветы и разноцветные восковые свечи. Это был *Fe te Dieu, Corpus Christi* или как поляки говорят *Boze cialo*³⁷. По улице шел огромный крестный ход с духовой музыкою и пением. Мне ужасно как было стыдно показать себя в лохмотьях среди этого торжества. Я свернул с большой улицы и начал разными переулками и закоулками пробираться к улице *Rue de la Madeleine*.

На последнем ночлеге перед Льежем я встретил *жидка-разносчика*, он путешествовал с женою и осликом. Мы очень приятно провели вечер в разных разговорах. Узнавши, что я иду в *Льеж*, он сказал: «Я вам советую остановиться в эстамине *au coq*³⁸: они очень добрые люди, я всегда у них останавливаюсь: поклонитесь им от меня». – Ну что ж, думал я: это очень хорошо, лучше иметь определенную цель, итти в знакомое место с какою-нибудь, хоть с жидовскою рекомендацією.

Когда я пришел в *rue de la Madeleine*, у меня от жару и усталости голова

³⁷ Праздник тела господня.

³⁸ Кофейня под вывеской петуха,

кружилась; я совершенно потерял память: никак не мог припомнить адреса этого трактирчика. Прошел всю улицу взад и вперед – нет! все незнакомые вывески. Что тут делать? Я начал уже отчаиваться и готов уже был завернуть в первый попавшийся кабачек. Вдруг поднимаю глаза – гляжу – вывеска, на ней изображение петуха с надписью: *au soq*. Слава богу! да, да! *Au soq!* Теперь припомнил. Вот мой любезный петушек! вот приют для утомленного странника, пристань после крушения! Вхожу – за конторкою сидела женщина средних лет довольно приятной наружности. Я отдал ей поклон от *жидка*, но она, казалось, не слишком высокое понятие имела о моем покровителе; не сказала ни слова и несколько минут пристально смотрела на меня, после, как бы обдумавшись, сказала: «очень хорошо, вы можете здесь остановиться». Она была добрейшая женщина. Я после с ней был очень дружен и давал уроки ее детям. Она передо мной созналась, что сначала не доверяла мне, но всмотревшись хорошенько в черты моего лица, сказала самой себе: «я уверена, что он меня не обманет». Вот опять женщина с непогрешимым тактом.

Есть ли здесь какой поляк профессор в Университете или в *College*³⁹? – Есть – в *Gollege*. – «Как его имя?» – Не знаю. – «Дайте мне пожалуйста листок бумаги написать письмо». – Вот лавочка тут напротив: там можете купить. – К счастью у меня оставался полуфранк: я купил бумаги, написал трогательное письмо с большою потратою риторики, завернул в конверт и отправился в *College*. Мне пришлось идти мимо церкви. Из нее неслись звуки органа. Вхожу – церковь битком набита. Алтарь пылал разноцветными огнями, вазы с цветами распространяли благоухание, дым ладана вился голубую струю и терялся под готическим сводом. В то время я все мерил республиканским масштабом. Что я, оборванный, небритый, нечесанный, запыленный, грязный, что я в этом нищенском образе мог войти в этот *великолепный храм*, наполненный изящным людом (*beau monde*) и мог найти место между ними и наравне с ними имел право наслаждаться звуками очаровательной музыки, – все это в глазах моих обличало глубоко-демократический характер католической церкви. Это было первое зерно, брошенное в хорошо подготовленную почву.

А теперь позвольте по-шекспировски соединить высокую драму с комическим элементом и заметить, что впоследствии, когда я обжился в *Льеже*, одна хорошенькая гризетка назначала мне *рандеву* именно в этой самой церкви *Сен-Дени*. Это была моя последняя шалость. Но все ж и это доказывает, что *во всех отношениях* католическая церковь очень либеральна и демократична.

И вот как совершаются судьбы человеческие!

Звуки органа и гризетки! ха-ха-ха!

(Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Bravo! Bravo! Фора! фора!)

³⁹ Среднее учебное заведение, гимназия.

 ОГЛАВЛЕНИЕ всех отрывков, уже напечатанных и предполагаемых к печати

Введение

Замогильные записки

1812 год. Первые воспоминания

1815. Одесса в казармах

Мой Роман

Мать и отец

1823–1825

Эпизод из петербургской жизни (1830–1833). **НАПЕЧАТАНЫ в Ч1.**

Бегство из Цюриха

Путешествие в Мец и следующие за тем события

Несколько дней до пребывания в Цюрихе

Путешествие из Меца в Льеж (по нашему Литтих).

Льеж (Liège)

НАПЕЧАТАНЫ в Ч2.

Апостол Коммунизма и «Conspiration de Baboeuf».

Сказание о Капитане Файоте и его Камердинере

Макналли и К^о (иллюстрированное издание).

Перелом

Из рук вон! Пред расставаньем вернемся назад.

Фурдрен — Лекуант — Потоцкий.

Легенда о монахе и бесе (Из Чегьи-Минен)

Жорж Занд. — Мишле. — Religion saintsimonienne.

Страх России — роман жизни

Пустыня и воля

Льеж (1838–1840)

Блаженни алчущие и жаждущие правды...

Льеж (1840)

Принятие в орден редемптористов

Новициат (1840–1841)

Римский папа и русский генерал фон-Берг

Первая проповедь

Переезд в Англию (1844–1845)

Фальмут (1845–1848)

Лондон От мая до августа 1848.

Указатель имен. Примечания ...

Надежда Полякова



Библейская образность и библейские сюжеты в русской поэзии (под редакцией Галины Дюмонд)

Надежда Полякова родилась 15 декабря 1923 года в деревне Басутино Боровичского уезда (Новгородской области) в крестьянской семье. Окончив 7 классов, переехала в Ленинград, где окончила среднюю школу в 1941 году. Была направлена на оборонные работы, три месяца рыла окопы и противотанковые рвы под Малой Вишерой. С марта 1942 года работала зав. избой-читальней, налоговым агентом, фининспектором. В феврале 1943 года призвана в армию, служила в пехотной части зав. делопроизводством штаба полка. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Первое стихотворение напечатано в 1940 г. в журнале «Смена».

В 1949 году окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала в газетах «Ленинградская правда», «Смена», «Крылья Советов». Член Союза писателей СССР.

В «перестроечные» годы пошла работать в школу учителем русского языка и литературы. Но до последних дней продолжала писать и стихи, и прозу.

Скончалась 19.10.2007 г. Похоронена на Смоленском кладбище в С-Петербурге.

М. Цветаева

К нашей теме имеет отношение и творчество Марины Цветаевой.

Душа М.Цветаевой – этот чуткий инструмент – впитывала звуки мира не только окружающего её, но и того мира, который был задолго до неё.

Она широко и свободно пользовалась образами из античной литературы и искусства. В её стихах, иногда совсем рядом, упоминаются и Ариадна и Федра, и Орфей и Эвридика и вдруг – Иродиада.

Федра – персонаж греческой мифологии. Молодая жена Тесея, влюблённая в своего пасынка Ипполита, покончившая с собой и погубившая отвергнувшего её Ипполита. А Иродиада – жена евангельского царя Филиппа, которая ушла от мужа к его брату Ироду Антипе. За это её стыдил неистовый аскет Иоанн Креститель и стал её злейшим врагом.

На пиру царя Ирода дочь Иродиады Саломея исполняла танец, который понравился всем гостям. Ирод хотел наградить её. Он спросил: чего она хочет? Саломея спросила у матери: чего просить?

– Голову Иоанна Крестителя, – сказала Иродиада.

Саломея сказала об этом Ироду. Он послал стражников, они отрубили голову закованному в цепи Иоанну и принесли голову на золочёном блюде Саломее.

*Стой! Не Федры ли под небом
Плац? Не Федрин ли взвился
В эти марафонским бегом
Мчащиеся небеса?
Стой! Иродиады с чубом –
Блуд... Не бубен ли взвился
В эти иерихонским трубом
Рвущиеся небеса?*

В этом маленьком стихотворении перебор образов. Перегрузка, которая не даёт ясной картины, а затрудняет понимание этих восьми строчек.

Для молодых людей, плохо знающих или совсем не знающих упомянутые ею имена, все эти перечисления, все эти нагромождения кажутся колдовством, волхованием, очаровывают и опьяняют.

Но если относиться к этой слишком усложнённой образности без гипнотического экстаза, то она кажется неоправданной.

Существуют авторитеты, перед которыми мы склоняемся и все их неудачи считаем гениальными, кровотечениями.

Но если отказаться от слепого поклонения, то стихи, перегруженные античными именами и одновременно именами из Ветхого и Нового завета, покажутся просто взрывчатой смесью и мало понятной мешаниной.

В данном случае это маленькое стихотворение М. Цветаевой мне не кажется удачным из-за перегрузки.

Широта, всеохватность Цветаевой требует большого напряжения при

чтении. Кроме того, необходимо обладать знаниями для того, чтобы её сложная образность стала понятной.

Так, например, в одном коротком стихотворении она может писать и о кресте своём, и о плахе, куда её поведут архангелы. Но, как известно, архангелы не ведут на плаху. А кого распинали, тому голову не отрубали.

В более поздних стихах образность Цветаевой становится строже, точнее. Вот как она пишет о Блоке:

*Было так ясно на лице его:
Царство моё не от мира сего./* «Стихи к Блоку»/

«Царство моё не от мира сего» – слова Иисуса Христа из Евангелия. Этими словами, этой строкой Цветаева сравнивает Блока с сыном Божиим, сошедшим на землю, чтобы снова уйти.

*Так, Господи! И мой обол
Прими на утвержденье храма.*

В Евангельские времена (да и до сих пор) собирают с верующих деньги на постройку и ремонт храмов.

По Евангелию – Иисус увидел, как бедная женщина положила одну монету. И сказал, что её монета – обол – дороже золота, которое приносят и жертвуют богатые люди.

Цветаева уподобляется этой женщине, и приносит свою лепту, свой обол, но не на построение и не на ремонт, а на утверждение храма. Потому, что по евангельской легенде Иисус не строил материальный, каменный храм, а утверждал храм духа, храм души.

В стихотворении «Подруга» М. Цветаева пишет о дружбе. И истинной дружбой называет такую дружбу, которая будет сильна до смертного дня, до Голгофы, до распятия, до последнего издыхания.

*Последнюю дружбой, –
Так сонмы восславят.
Да та вот, что пить подавала,
Да та вот –
У врат его царских
Последняя смена.
Уста, с синевы
Сцеловавшие пену.
.....
Ты, заповеди растоптавшая спесь,
На хрип его: – Мама! Солгавшая: – Здесь!*

В этом стихотворении сливаются понятия обычной земной женщины, преданной своему любимому, с евангельским образом Марии Магдалины, излюбленным образом многих поэтов и художников.

В евангельской легенде говорится, что Мария из Магдалы была застигнута в момент блуда, и правоверные иудеи хотели побить её камнями. По закону Моисея женщину за блуд до смерти забивали камнями. Мария

бежала, а толпа гналась за ней. В это время Иисус сидел и чертил на земле прутиком какие-то знаки. Увидев эту погоню и растерзанную загнанную женщину, он спросил: «Кто из вас безгрешен? Пусть первый бросит камень в эту женщину». Безгрешных не нашлось.

Это выражение стало идиоматическим выражением: кто безгрешный – пусть первым бросит камень.

С этой минуты Мария из Магдалы, или Мария Магдалина, стала ходить за Иисусом и служить ему. Она, как многие другие женщины, любила этого обаятельного человека, верила ему, полностью изменила образ жизни. В Евангелии сказано, что Иисус изгнал из неё бесов, которые подстрекали её на блудодеяния.

Образ Марии Магдалина, омывающей ароматными маслами ноги Иисуса, широко использован поэтами вообще и Цветаевой в частности.

У М. Цветаевой есть цикл из трёх стихотворений, который так и называется «Магдалина». В этих стихах она пишет, что в евангельские времена была бы, как Магдалина, омывала маслами ноги любимому и обтирала их своими волосами.

Использован в стихах М. Цветаевой и образ юной Агари, служанки Авраама, родившей ему сына Измаила и изгнанной женой Авраама Саррой в пустыню.

Так Агарь в своей пустыне

Шепчет Измаилу:

– «Позабыл отец твой милый

О прекрасном сыне!»/ «У камина, у камина»/

Привлекает Цветаеву и образ библейского царя Саула, который страдал тяжёлой болезнью, граничившей с безумием. И когда наступали минуты безумия, призывали юного красавца Давида, который хорошо играл на музыкальных инструментах. От музыки царю Саулу становилось легче.

Царь Саул не мог обойтись без Давида, выдал замуж за него свою дочь Мелхолу, и всё-таки завидовал его молодости, храбрости и хотел убить его.

Как уже упоминалось, Давид убил Голиафа камнем, брошенным из пращи, и слава Давида превзошла славу Саула. Саул ещё не знал, что Давид призван Богом заменить его, Саула, на царском троне. Но интуитивно боялся его.

Образ Саула и Давида Цветаева использует даже для описания деревьев, которые сильно качаются от ветра. Они так качаются, как будто Саул гонится за Давидом...

Поскольку, говоря о поэтах, я не могу обойти молчанием их пророческого дара, то не могу удержаться, чтобы не привести слова М. Цветаевой о сыне А. Ахматовой и Н. Гумилёва – Льве Николаевиче Гумилёве:

Бог, внимательно

За ним присматривай:

Царский сын – гадательней

Остальных сынов.

*Рыжий львёныш
С глазами зелёными,
Страшное наследие тебе нести!* /«Ахматовой»/

Шел 1916 год. Маленькому сыну А. А. Ахматовой было всего четыре года. Как могла провидеть М. Цветаева его судьбу «через горы времени»? – его аресты, ссылку, его тяжёлую судьбу, которую он вынес на своих плечах и стал крупным учёным с мировым именем.

Марина Цветаева не была знакома лично с Анной Ахматовой. М. Цветаева посылала Ахматовой её книги, которые Анна Андреевна подписывала и отсылала Марине Ивановне.

Марина Цветаева написала большой цикл стихов, посвященный Анне Ахматовой. И у Анны Ахматовой есть стихи, посвященные Марине Цветаевой.

Но встретились они впервые только в 40-м году, в Москве, когда М. Цветаева вернулась из-за границы в Россию.

При их встрече никто не присутствовал.

Но всеведущие журналисты вывели у обеих гениальных женщин их впечатления друг о друге.

– В её стихах много безвкусицы, – сказала А. Ахматова, сторонница точного лаконичного классического стиха.

– За столько лет жизни в России она не создала ничего значительного! – сказала М. Цветаева об Ахматовой.

Не нам их судить.

Бог им судья.

А. Ахматова, Б. Пастернак, И. Бродский

Отдельно выделяю этих трех авторов, которые не только использовали библейские образы, но и брали целиком сюжеты из Ветхого и Нового завета и перекладывали их прекрасным русским языком, превращая в высокую поэзию.

Анна Ахматова написала небольшой цикл, состоящий из трёх стихотворений и назвала этот цикл «Библейские стихи»:

1. Рахиль, 2. Логова жена, 3. Мелхола.

Эпиграфом к первому стихотворению поставлен стих из книги Бытия: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил её».

Но Лаван, отец Рахили, нарушил своё слово и привёл в брачный покой другую свою дочь, старшую, незрячую Лию. Иаков так любил Рахиль, что готов был служить за неё Лавану ещё столько же лет. Наконец, он женился на ней, но у них долго не было детей, вероятно, это было наказание божье за плохое отношение Рахили к сестре Лии, ставшей в результате обмана первой женой Иакова. Но по прошествии времени она родила Иакову сына, которого назвали Иосифом. Рахиль умерла от родов, когда рожала второго сына, Вениамина.

Библия устами пророка Иеремии трактует Рахиль, как праматерь израильтян.

К стихотворению «Лотова жена» поставлен эпитафия из книги Бытия: «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом».

Как известно из Ветхого завета, город Содом был сожжён и полностью уничтожен Богом за грехи и разврат горожан.

Спаслась только семья праведника Лота, племянника прародителя Авраама. Но Ангел, который вывел Лота с женой и двумя дочерьми из Содома, не велел им оглядываться. Жена же Лота оглянулась на свой город.

*На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.*

И стала соляным столбом.

Своим проникновением в суть этой легенды и поэтическим словом А. Ахматова как бы примеряет судьбу Лотовой жены на себя:

*Лишь сердце моё никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.*

Это стихотворение написано 24 февраля 1934 года.

Кто знает, может быть, в это время поэтесса решала трудный вопрос: остаться в России или покинуть её?

Не мешает напомнить, что одновременно с городом Содомом за такие же грехи был полностью уничтожен город Гоморра.

Названия этих городов вошли в нашу речь, как идиоматические выражения. Мы говорим «Содом и Гоморра», когда хотим сказать о полном беспорядке где-нибудь.

В стихотворении «Мелхола» рассказывается, как юный Давид услаждал музыкой слух царя Саула, когда на Саула напали приступы его безумия. И как дочь Саула Мелхола полюбила прекрасного Давида. И сама себя ругает за то, что полюбила юношу не царского рода.

По библии эта история имеет своё продолжение. Мелхола с согласия отца становится женой Давида. Но Саул, завидовавший славе Давида, решил его убить. Он до самой своей смерти преследовал Давида.

Судьба Мелхолы оказалась незавидной. Отец Саул отдал её замуж второй раз. И когда Давид стал царём, он потребовал её назад. Её привели к нему. Однажды Мелхола увидела, как царь Давид пляшет перед ковчегом, как простолоудин. Ей не понравилось это, и она сказала Давиду. Давид рассердился и отправил её на женскую половину с тем, чтобы она никогда не появлялась ему на глаза. Детей у Мелхолы от Давида не было. Давид сказал, что её наказал Бог за то, что она осудила Давида.

Следует отметить, что пляска перед Ковчегом, когда его переносили с места на место, была ритуальной.

У **Бориса Пастернака** в конце романа «Доктор Живаго» приведены стихи, якобы написанные доктором Живаго.

В книгу Б. Пастернака большинство этих стихов входило под названием «Стихи из романа». Но в цикле с этим названием не было стихов на библейские темы.

Это пять стихотворений, которые полны высокого поэтического очарования. Стихотворение «Магдалина» состоит из двух частей.

«Рождённая звезда» посвящено библейской легенде о рождении Иисуса. Эта легенда рассказана уже в этой статье.

Стихотворение «Чудо» посвящено такому эпизоду из Нового завета: Иисус, следуя из одного селения в другое, почувствовал жажду. Подошёл к смоковнице и хотел сорвать плод. Но в это время года на смоковнице плодов ещё не было. Иисус, обычно добрый и отзывчивый, почему-то всплил и сказал смоковнице: останься такой бесплодной до скончания лет. На этой смоковнице никогда не было плодов после этих слов.

Выражение «бесплодная смоковница» так же вошло в наш язык, как идиоматическое выражение.

В стихотворении «Дурные дни» рассказывается о последних днях Иисуса, когда он вспоминает свою жизнь и пребывание в пустыне, и соблазны Сатаны, и превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, и море, по которому он шёл, как по суку, и воскрешение Лазаря...

В двух стихотворениях под одним названием «Магдалина» поэт говорит от женского имени о беспредельной любви Марии Магдалины к учителю и спасителю – Иисусу.

Как уже было сказано, эта тема, этот сюжет широко использовался и в поэзии, и в живописи. Но каждый поэт и каждый художник привносит в этот сюжет своё отношение, своё очарование.

Своё отношение к этой теме выражено и в стихотворениях Б. Пастернака.

Не исключено, что Мария любила Иисуса чисто по-женски, так, как любили его и другие женщины, которые считали за счастье служить ему и следовать за ним, помогать его апостолам.

В стихотворении Б. Пастернака Мария Магдалина рассуждает, кем бы она была, если бы не встретила на своём жизненном пути, полном невзгод и унижений, Иисуса? И за трое суток от распятия Иисуса до его воскресения самой Магдалине кажется, что она сама так меняется, преобразается, что дорастает до Воскресения.

В стихотворении «Гефсиманский сад» рассказывается, как Иисус молился Богу, зная, что это его последняя ночь на свободе.

*Он отказался от противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.*

Просил Бога-отца, чтобы его миновала чаша страдания, чаша смерти. Но если это нельзя сделать, то пусть Бог пошлёт терпения и силы духа.

*Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он просил Отца.*

Эта молитва называется «Моление о чаше».

И пока Иисус молился, с него капал кровавый пот, и трава у его колен становилась красной.

Он просил своих учеников бодрствовать, пока он молится, ведь он был с ними последние часы, но ученики уснули, чем огорчили своего учителя.

Среди ночи пришла стража, которую возглавлял Иуда. Иуда своим поцелуем указал страже, кого надо арестовать.

«Поцелуй Иуды» – предательский поцелуй, тоже стало идиоматическим выражением.

Иисус у Б. Пастернака говорит поэтические слова, которых нет в Евангелии:

*Я в гроб сойду и в третий день воскресну,
И, как сплавляют по воде плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.*

Сплав леса и караваны барж не характерны для израильских пейзажей. Этим художественным образом Б. Пастернак осовременил эпизод, приблизил к нашему времени и к нашему географическому положению. Причём придал второе значение: как будто он писал о себе, к которому через много лет придёт мировая слава.

Такая поэтическая вольность, художественное домыслие расширяет границы стихотворения.

Этим отличается поэтическое произведение от исторического повествования или сухого пересказа Священного писания.

Самый молодой из всех поэтов, о которых я пишу и которых объединила одной темой, это наш современник, бывший ленинградец, ныне гражданин США, лауреат Нобелевской премии **Иосиф Бродский**.

Анна Андреевна принимала деятельное участие в его нелегкой судьбе, помогала ему и морально, и материально, когда он был в ссылке, и называла стихи Бродского «волшебными».

Действительно, стихи Бродского можно сравнить со сложной чарующей симфонией.

Не могу с определённой точностью сказать, с какого времени, но в последние годы Иосиф Бродский каждый год пишет стихотворение, посвященное Рождеству Христову или Сочельнику, дню, предшествующему Рождеству.

Есть у него стихи и на другие библейские темы, выполненные с той высокой торжественностью, какой требует эта тема.

Примеры из стихов И. Бродского приводить не буду.

Рекомендую учащимся самим ознакомиться с его творчеством, тем более, что в последнее время его книги активно издавались и издаются в нашей стране.

* * *

Что касается следующих трёх лекций: «М. Булгаков. "Мастер и Маргарита". Роман», «Ф. М. Достоевский. "Преступление и наказание"», «Достоевский и христианство» (*На примере романа "Братья Карамазовы"*), они связаны уже не с библейскими мотивами, а с христианскими. Намеревалась ли Надежда Полякова написать еще что-либо на эту тему, я не знаю, но опубликованы они должны были быть под одной обложкой, во второй части. Также не знаю, как бы эту вторую часть она озаглавила. Полностью у меня сохранилась только лекция по «Преступлению и наказанию», по «Братьям Карамазовым – только наброски»; полный вариант предоставила Нина Борисовна Паркаева, также как и лекцию «М. Булгаков. Мастер и Маргарита».

Галина Дюмонд

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Роман

Об этом романе так много написано и так много сказано, что трудно сказать что-нибудь новое, открыть какую-то сторону, прочесть какую-то страницу, которая ещё не изучена литературоведами.

Основная мысль литературоведов сконцентрирована в следующих определениях: это роман о любви, о нравственном долге, о бесчеловечности зла, об истинном творчестве, о зависти и недоброжелательности в литературных кругах. Некоторые литературоведы, осторожничая, пишут не в литературных, а околотитулярных кругах, несколько сглаживая остроту определения, как будто боясь кого-то обидеть...

Подчеркивается, естественно, и то, что в романе присутствуют тени Гофмана, Гоголя, Достоевского, а также Данте, Гёте и других великих писателей, писавших о бесовщине, о загробном мире, об аде и рае...

Всё это действительно так. Вспомните бесовщину Гофмана, чёрта из гоголевских рассказов, его ведьму, Вия, вспомните чёрта, который приходил к Ивану Карамазову у Достоевского, а так же дантовский ад, гётевского Фауста, продавшего душу Сатане Мефистофелю, который явился к нему в чёрном плаще и с чёрным пуделем.

Чёрт, который явился к Ивану Карамазову, очень похож на Коровьева, такой же клетчатый и неопрятный. Может быть, это тот же самый чёрт? Мало изменяющийся образ незначительной потусторонней силы. Воланд же приходит без чёрного пуделя, только набалдашник на его трости изображает чёрную собачью голову. Но зато у Воланда огромный чёрный говорящий кот.

Продолжение классических традиций не принижает достоинств произведения, а наоборот, связывает замысел булгаковского романа с мировой культурой. Истинное произведение высокого класса всегда уходит корнями в прошлое, независимо от того, какая у него литературная форма и какой сюжет.

Всё зависит от таланта автора и от его нового взгляда на вечные вопросы, которые волновали и волнуют человечество.

Коснёмся мы этих вопросов и попробуем, не ссылаясь на учёные статьи, прочитать роман как бы в первый раз, но внимательно и вдумчиво.

Вспомним, что ещё до «Мастера и Маргариты» М. Булгаков написал рассказ «Дьяволиада», где в виде дьявольских проделок показан бюрократизм и неразбериха в советских учреждениях. Вспомним и стихотворение «Прозаседавшиеся», написанное В. Маяковским в это самое время. Вспомним и «Историю города Глупова», когда увидим в кабинете пустой костюм, подписывающий приказы...

Основная сложность романа заключается в том, что он построен как два романа: один о сегодняшнем – для Булгакова – дне, второй, вставной – о далёком прошлом, о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, или Иисусе Христе. Этот второй роман пишет Мастер, имя которого не названо и который сильно пострадал из-за своего романа: сначала был арестован, потом посажен в сумасшедший дом.

Идея включить один роман в другой в истории литературы не нова. Этот приём использовался писателями.

Ближе всего к нашей теме – вставная новелла из романа «Братья Карамазовы» Достоевского «Великий Инквизитор». Там тоже был Иисус Христос, а так же Великий Инквизитор, вошедший в сделку с Сатаной и получивший власть над миром.

Вставной сюжет в любом случае, так же как и в случае булгаковского романа, даёт глубину основному роману, как бы высвечивает события и столкновения человеческих характеров на протяжении многих веков.

Роман, его действие, его развитие становится значительно шире во времени и пространстве.

Нельзя забывать о том, в какое время писался роман. Какие писатели работали в то время, когда создавался роман Булгакова. Я имею в виду писателей-сатириков, потому что важный элемент в основном романе «Мастер и Маргарита» именно сатирический. Перо Булгакова-сатирика было отточено писанием фельетонов, он видел много людей, которые как бы сами просились в сатирический роман или фельетон.

В то время работали И. Ильф и Е. Петров, создавая свои бессмертные романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», с этими писателями Булгаков был хорошо знаком. В Ленинграде в это время работал М. Зощенко, писал свои сатирические рассказы, за которые жестоко поплатился, вспомним доклад А. Жданова и постановление ЦК о творчестве Зощенко и Ахматовой. Но это уже было после войны, в 1946 году.

Ильф и Петрову повезло, их романы были изданы, приобрели широкую известность, но бывали периоды, когда эти романы не рекомендовались к переизданию и считались вредными, очернительскими.

С точки зрения официальной критики тридцатых-сороковых годов роман Булгакова не только очернительский, но и недопустимо вредный, антисоветский.

Ведь в этом романе нет положительных героев, вся Москва, которую изображает писатель, населена жадными, злыми, завистливыми людьми, следящими друг за другом.

Правда, основные персонажи принадлежат к театральному и литературному миру. Но многие персонажи к этому миру не имеют никакого отношения. Вот, например, Аннушка, по прозвищу «Чума».

Это действительно чумное порождение коммунальных квартир, склочница, врунья, жадная, да пожалуй, нет отрицательных качеств, которые ей не свойственны. Её можно целиком с её кошёлкой и с её бидончиком пересадить в любой рассказ М. Зощенко или выпустить сейчас, сегодня, в город и она побежит по магазинам, выскивая, где что достать, перекупить, перепродать, кому-то что-то сообщить, какую-нибудь новость, поганенькую клевету.

Такой же простой человек и Никанор Иванович, возглавлявший жилищное товарищество и не отказавшийся от взятки, которую всучил ему Коровьев за квартиру, занятую Воландом со своей свитой.

Более сложный человек Алоизий Могарыч. Но он получил специальную подготовку «там», в том учреждении, которое не названо, но всёвидящие и всёслышающие сотрудники которого присутствуют незримо при всех сделках, как Воланд присутствовал при разговоре Пилата с Га-Ноцри.

В те годы, когда Булгаков писал свой роман, партия и правительство приказывали показывать нового человека, благородного, доброго, доброжелательного, отзывчивого. То есть нового человека, которого создала революция. Все отрицательные качества считались «пережитками капитализма» и «отрыжками НЭПа».

Посмотреть на этих новых, благородных людей, с душами, очищенными огнём и кровью революции, и явился Сатана Воланд со своей свитой в Москву. Свита его состояла из Коровьева в клетчатом костюме, в пенсне с одним стеклом, Азazelло с бельмом на глазу и выступающим изо рта клыкком, прелестной ведьмы Геллы, когда-то казнённой и сохранившей шрам на шее, и огромного чёрного говорящего кота, которого звали Бегемотом за его огромность.

И тут начались невероятные истории...

Роман открывается сценой на Патриарших прудах, где беседуют на скамейке председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой МАССОЛИТ, он же редактор толстого литературного журнала, и молодой поэт Иван Николаевич Поньрев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

По поводу псевдонимов следует напомнить, что было время, когда писатели брали псевдонимы, как бы определяющие их происхождение или направление их творчества: Горький, Бедный, Скиталец, Голодный, Бытовой, Горев, Беспощадный, Светлов, Гайдар, и многие другие.

Так что псевдоним Бездомный был вполне в духе того времени.

Редактор толстого журнала наделён изысканной фамилией Берлиоз. С таким же успехом его можно было назвать Бетховеном или Гайдном. Было бы одинаково забавно. Но он назван именем знаменитого французского композитора прошлого века, который обладал большой эрудицией и был музыкальным писателем. Сочетание двух фамилий – Берлиоз и Бездомный, без сомнения, вызвало смех.

И этот самый Берлиоз, тёзка знаменитого французского композитора, заказал Ивану Бездомному поэму об Иисусе Христе. Иван написал поэму, но Берлиозу она не понравилась, потому что Иван написал так, как будто Иисус в самом деле существовал. А от Бездомного требовалась полностью атеистическая поэма, в которой бы доказывалось, что никакого Иисуса никогда не было, и легенда о его рождении и его учении придумана церковниками, чтобы обманывать народ.

Берлиоз показан человеком начитанным, знающим, образованным. Иван – простаком, может быть, недавно приехавшим из деревни завоёвывать Москву своим творчеством. Речь Берлиоза и речь Ивана очень отличаются друг от друга. Речь Берлиоза пересыпана именами древних философов, ссылками на легенды древних народов, населявших землю. Иван же невежественен и простодушен. Он – дитя своего времени и своего класса. Он восклицает: «На все сто!», «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!» и так далее. Кстати, шуточка Ивана о Соловках не столь безобидна и не так случайна: такие шуточки бытовали в разговорах, такими шуточками припугивали противников в спорах, а частенько эти угрозы исполнялись.

Всё это происходило, как сказано в романе, «в час небывалого жаркого заката». Собеседникам хотелось пить.

Обратите внимание на этот эпизод. Он не случаен и в дальнейшем получит своё развитие. Воланд сделает из него вывод, который станет как бы ключиком к роману.

Берлиоз подошёл к ларьку и попросил нарзану.

« – Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

– Пиво есть? – сильным голосом осведомился Бездомный.

– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.

– А что есть? – спросил Берлиоз.

– Абрикосовая, только тёплая, – сказала женщина.»

Напившись этой тёплой абрикосовой, они стали дико икать.

В это время и появился Воланд, которого они приняли сначала за иностранца, потом за шпиона, что было в то время характерно для людей нашей страны – все люди ловили шпионов.

Воланд включается в разговор Берлиоза и Бездомного.

Говорит о Боге и о Чёрте. Есть ли Бог? Есть ли Чёрт? Московские литераторы, конечно, воинствующие атеисты. Они определённо отвечают, что нет!

И тут Воланд произносит фразу, которая до сих пор не потеряла своей остроты:

– Что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!

То есть, ни Бога, ни Чёрта, ни нарзана, ни пива.

Эта фраза назначена на роль камертона и направляет полифоническое звучание романа.

Читатель поражается: всё не так просто и не так смешно. Что-то будет дальше?

Воланд уверенно говорит, что Иисус существовал. И в доказательство

рассказывает историю Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, так по древне-еврейски звучало имя Иисуса.

Так начинается вставной роман, сначала рассказанный Воландом, то есть Сатаной, потом, оказывается, написанный Мастером.

Не Сатана ли написал Мастеру этот роман? Не исключено. Вспомните, как Мастер собрался писать этот роман. Сначала мастер тихо работал в музее, потом выиграл большую сумму денег на облигацию от займа. Бросил музей и сел писать роман. Большая сумма денег, не заработанных, а свалившихся неожиданно, тоже наводит на мысль о нечистой силе.

Иногда читатели спрашивают, был ли верующим сам М. Булгаков, потому что многим кажется, что только религиозный писатель может писать на такую тему, о Боге и Сатане, или об Иисусе и Понтии Пилате.

Булгаков был верующим постольку-поскольку. Он происходил из русской дворянской семьи, кончил гимназию, где в то время проходили Закон Божий. Конечно, фанатиком писатель не был. Но священное писание знал. Знал и произведения, написанные на эту тему другими писателями. Для того, чтобы писать на эти темы, не обязательно быть религиозным. Достоевский тоже не был фанатиком, хотя был крещёным православным, всю жизнь сомневающимся в существовании Бога, а значит и противодействующей ему силы – Сатаны. Если Бог создаёт только добро, то откуда берётся зло на земле?

Достоевский заставляет чёрта придти к Ивану Карамазову в романе «Братья Карамазовы» пишет о втором пришествии Иисуса в главе «Великий Инквизитор».

Вставной роман у М. Булгакова по началу кажется своеобразным переложением Евангелия.

Но таким он не является.

Ничего евангельского в нём нет, кроме имён собственных и названий.

Главным действующим лицом в романе является Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, назначенный Римом. И от этого прокуратора зависит – утвердить или не утвердить смертный приговор некоему Иешуа Га-Ноцри, бродяге, смущающему народ своими высказываниями, которые подрывают авторитет иудейской веры.

Смертный приговор был вынесен Синедрионом, еврейским религиозным начальством Ерусалима, который в романе назван по древне-еврейски Ершалаимом.

Еврейские старейшины решили, что Га-Ноцри своими речами вносит смуту, могло возникнуть восстание, в результате которого усилился бы гнёт Римской империи над Ерусалимом. А если бы это произошло, то старейшины потеряли бы свои высокопоставленные и высокодоходные места.

Для того, чтобы скрыть свои истинные страхи перед Га-Ноцри, старейшины решили обвинить его в том, что он хотел разрушить храм и считал себя царём Иудейским, то есть собирався выступить против Цезаря.

Это было уже политическое обвинение, обвинение в государственном преступлении.

При таком обвинении приговор должен был подписать Понтий Пилат, как представитель римской власти, против которой якобы замышлялось преступление.

Понтий Пилат, поговорив с Га-Ноцри, решил, что тот ни в чём не виновен, в действиях его он не видел никаких преступлений.

Ежегодно на праздник еврейской Пасхи освобождался от казни один преступник. Понтий Пилат хотел освободить Га-Ноцри. Но народ потребовал освободить Варравву, или Вар-Раввана, обвинённого в убийстве человека.

Понтий Пилат не в состоянии справиться с кричащей толпой, требующей освобождения Вар-Раввана и казни Га-Ноцри, «умывает руки» и утверждает приговор. Именно отсюда пошло выражение «я умываю руки», которое означает: я остаюсь в стороне, делайте, как хотите.

Так сказано в Евангелии и так сказано в романе.

Похоже на евангельское и описание казни, и поведение народа.

Похоже, но не совсем.

В Евангелии от Иоанна сказано, что при совершении казни присутствовали женщины, в том числе мать Иисуса Мария, и что Иисус сказал матери: «вот твой сын», указав на любимого ученика. А любимому ученику сказал: «вот твоя мать», как бы передав ему Марию, чтобы он заботился о ней, как сын.

Во вставном романе Га-Ноцри говорит, что он не имеет родителей и не знает своей национальности. В то же время, что он знает греческий язык, что не подтверждается в Евангелии, и, конечно, мать при казни не присутствует.

Казнь видит только один ученик Левий Матвей, бывший сборщик податей, человек лет сорока, который, встретившись с Га-Ноцри, бросил деньги и всё, что связано с его работой, и пошёл за Га-Ноцри, стал его учеником, записывая каждое слово и каждый поступок своего любимого учителя.

Левий Матвей украл в хлебной лавке острый нож и хотел этим ножом ускорить смерть Га-Ноцри, то есть сократить его страшные мучения на кресте. Спрятавшись на другом, более крутом склоне холма, Левий Матвей плакал и не мог подкрасться к кресту, на котором распяли Га-Ноцри, плакал от своей беспомощности. Но когда Га-Ноцри скончался, он подкрался, перерезал верёвки, снял труп с креста и спрятал в пещёре.

В Евангелии же труп снимает тайный ученик Христа – Иосиф, причём снимает с разрешения Понтия Пилата, которому было доложено, что Иисус уже умер. И Понтий Пилат удивился, что казненный умер так быстро.

Итак, Левий Матвей спрятал труп в пещере. Стражники находят его, отнимают труп, а самого Левия Матвея арестовывают. И приводят к Понтию Пилату.

Понтий Пилат переживает, что он утвердил приговор о казни невинного человека. Утвердил из трусости перед еврейскими старейшинами, которые могли пожаловаться на него в Рим, оклеветать перед Цезарем.

Пилату кажется, что у него получился бы очень интересный разговор с Га-

Ноцри, если бы они поговорили подольше, хотя Га-Ноцри был немногословен. Но даже за несколько минут разговора Га-Ноцри снял головную боль, которой маялся Пилат.

Всё это видел Воланд, то есть Сатана, который незримо присутствовал при разговоре от первого до последнего слова.

Таким образом, хотим мы этого или нет, получается ещё одно Евангелие – Евангелие от Сатаны.

Дальше.

По Евангельской версии Иуда, предавший Христа, повесился.

По Евангелию от Сатаны всё происходит куда сложнее.

С огромной силой психологического раскрытия Булгаков показывает, как Пилат, желая искупить свою вину, хотя уже искупить ничего невозможно, но все-таки боясь того, что ждёт его за пределами земной жизни, решает уничтожить Иуду.

Глава, в которой описывается этот жест, это решение Пилата, называется «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа». Уже в одном названии таится страшный двойной смысл этого «спасения».

Гениально написан разговор Пилата с начальником тайной стражи Афранием, человеком умным, хитрым, проницательным, этаким предшественником будущих гелеушников и кегебистов, который понимает тайное намерение Понтия Пилата убить Иуду и в то же время ни словом не обмолвиться об этом.

Приказание, истинное приказание, не названо словами. Вслух идёт речь о предотвращении возможного убийства Иуды, которое замышляется последователями Га-Ноцри именно этой ночью.

Но Афраний понимает больше, чем сказано вслух.

Он понимает подтекст в разговоре.

За это его ценит, уважает и награждает Пилат.

Когда читаешь эту главу, невольно думаешь, что такой же разговор мог быть у Сталина с Берией. Один говорит намёками, другой понимает с полуслова.

Афраний исполняет волю Пилата. И во второй половине ночи докладывает Пилату, что спасти Иуду не удалось, так как кто-то из друзей Га-Ноцри уже убил предателя, опередил тайных сотрудников Афрания, посланных следить за Иудой и охранять его.

Пилат и Афраний остаются довольны друг другом. Пилат приказывает наказать тайных сотрудников, которые прокараулили убийство Иуды, но наказать не очень сильно.

Итак, всё сделано, как хотел Понтий Пилат, и в то же время сохранены внешние приличия, хотя при разговоре никто не присутствовал, кроме незримого Сатаны, Воланда.

Захваченный стражниками Левий Матвей, такой же жалкий бродяга, как его друг и учитель Га-Ноцри, доставлен к Понтию Пилату. В руках у Левия острый нож, украденный в хлебной лавке, за пазухой – свиток, в который он записывал всё, что делал и говорил его друг и учитель.

Пилат спрашивает, откуда у него нож и для какой цели.

Левий Матвей признаётся в том, что он хотел сделать – убить Иуду.

Пилат говорит Левию, что Иуда уже убит. И сознаётся, что убил его он, Пилат.

Пилат не боится, что Левий Матвей кому-нибудь расскажет о его словах, о его поступке. Кто же поверит жалкому бродяге? И всё-таки на всякий случай, пусть об этом знает грамотный человек, который что-то там записывает в свой свиток. Аوصь пригодится для будущего, и кто-то там, в далёком будущем, поймёт, что Пилат частично искупил свою вину...

Понтий Пилат освобождает Левию из-под стражи.

Но мучения и угрызения совести Понтия Пилата не проходят. Много веков он мучается тем, что не смог сделать так, как ему хотелось, а испугался, струсил и поступил, как требовала толпа.

И только в конце романа вина его была снята Воландом... Подразумевается, что вина снята по просьбе другой, доброй силы. И душа Понтия Пилата получает успокоение.

Такова в общих чертах фабула вставного романа, рассказанного Воландом и написанного Мастером, имя которого, как уже было сказано, не называется. Роман был предложен в издательство и был отвергнут, но отрывок его был напечатан в одной из газет.

После этого начинается литературная травля Мастера. Одна за другой появляются разгромные критические статьи, в которых Мастер обвиняется в воспевании Понтия Пилата и в отходе от жизненных задач.

Всё это происходит в Москве в конце двадцатых и начале тридцатых годов, накануне того, как туда со своей свитой явился Сатана, чтобы посмотреть, изменились ли люди за много веков?

Из дальнейшего повествования мы видим, что, к сожалению, не изменились. Остались злорадия, зависть, корысть, стяжательство. Правда, Булгакова, как уже было сказано, упрекали в том, что он не показал простых людей, тружеников, преобразующих жизнь. Но разве не те же люди были в театре и бросались, давя и отталкивая друг друга, когда по велению Мага и Волшебника в зал посыпались червонцы, которые потом оказались наклейками от нарзанных бутылок? Разве не те же люди бежали на сцену за даровыми платьями и костюмами, туфлями и французскими духами? Достаточно одной Аннушки, прозванной «Чумой». Этот тип людей жив до сих пор. И вряд ли когда-нибудь вымрет. Таких же людей изображал в своих рассказах М. Зощенко.

Весь город и все люди, с которыми нас знакомит писатель, пронизаны трусостью и страхом.

В конце романа Воланд говорит, что самый страшный порок – трусость. Теперь мы можем подтвердить, что это так, но кроме того, самое страшное чувство, не преодоленное в течение многих веков, более сильное, чем трусость, это чувство страха. Страх за свою жизнь, за жизнь своих детей, за своё имущество... Мастер сравнивает это чувство страха со страшным спрутом, который опутывает его, глядит во все щели, и некуда спрятаться от него.

В начале романа описана «Нехорошая квартира». Эта квартира когда-то принадлежала богатому ювелиру, затем его вдове. В этой квартире постоянно менялись жильцы. И куда-то исчезали. Куда исчезали жильцы? Что это – бесовские проделки? Конечно, писатель хочет навести нас на эту мысль. Да, конечно, здесь без бесовщины не обходилось. Да, так и следовало считать, когда нельзя было говорить вслух и обсуждать с кем-нибудь, куда делся жилец или сосед. Один ушёл на работу и не вернулся, за другим пришёл милиционер и больше не видели ни жильца, ни милиционера, за третьим приехала машина и больше его никто не видел.

По ночам в квартире горел свет, кто-то стучал и возился в ней. Теперь-то мы знаем, какая нечистая сила стучала и возилась в квартире: там производились обыски. И тот, кто слышал эти стуки и эту возню, осторожно обходил эту квартиру, не дай бог заглянуть в неё, от греха подальше.

Но Булгаков об этом не говорит. Он не может сказать об этом открытым текстом: время не то. Пусть наивный читатель думает, что там возятся бесы...

Ведь был же у Булгакова рассказ «Дьяволиада»!

Теперь, когда мы многое знаем, становится понятным, почему эта квартира была «нехорошей».

«Нехорошей» она была потому, что была слишком хорошей. В ней жили сначала богатые люди. Потом их арестовали и пустили в расход. В квартиру поселялись разные высокопоставленные люди и люди, принадлежащие к литературным и театральным кругам, но тоже не начинающие поэты и не бедные статисты, а директор Варьете, председатель МАССОЛИТа и другие. Арестовывали даже домработниц, которые могли хранить ценности своих хозяев. Или что-то знали о своих хозяевах компрометирующее, за что можно сослать в Соловки.

И домработницы из «нехорошей» квартиры исчезали неизвестно куда.

В дальнейшем в эту квартиру с плохой репутацией поселяется Воланд со своей свитой, предварительно убрав из квартиры Берлиоза и Стёпу Лиходеева. Помните, в самом начале Берлиоз попал под трамвай, а Стёпа Лиходеев оказался в Ялте, на краю мола и с изумлением спрашивал у рыбакова, какой это город. Воланд перенёс Стёпу, как чёрт гоголевского парубка из украинской мазанки в Зимний Дворец в Петербурге и обратно – за одну ночь.

И снова в «нехорошей» квартире происходят чудеса. И возле дома расставлены агенты ГПУ, «топтуны», то есть внешнее наблюдение.

Интересна глава «Сон Никанора Ивановича».

Никанор Иванович, для приличия посопротивлявшись, взял от Коровьева взятку за то, что Воланд со свитой, выдавший себя за иностранного артиста, занял «нехорошую» квартиру.

Соблазн был велик, и деньги сами нырнули в портфель. Никанор Иванович пришёл к себе домой и, ничего не говоря жене, спрятал червонцы, завернутые в газету, в уборной.

Коровьев, любитель пошутить, позвонил противным голосом куда следует (а куда – не сказано), и от имени соседа Никанора Ивановича сообщил, что у того в уборной спрятана валюта.

Тут же к Никанору Ивановичу пришли с обыском, нашли валюту, забрали Никанора Ивановича, а заодно и соседа, который был ни в чём не виноват, но Коровьев назвал его именем.

Никанора Ивановича допросили с пристрастием и отправили в сумасшедший дом.

И снится ему, что он находится в каком-то зале, где очень много разных людей, и ото всех требуют драгоценностей. Кто сдаст золото и драгоценности или скажет, где они спрятаны, того выпустят. Всё это происходит под пение различных оперных арий.

Были, были такие «золотые комнаты», куда запирали богатых людей, или людей, подозреваемых в том, что они прячут драгоценности. Или людей, на которых кто-то донёс.

И держали их там в духоте и темноте, пока они полностью не теряли свои силы, не падали в обморок от недостатка кислорода, от зловония, запаха пота и испражнений. И тогда они признавались, где и что спрятано.

Об этих «золотых комнатах» ещё не написано в нашей прессе, которая докапывается до всего. А до этих комнат ещё не докопалась. Может быть, тот, кто сидел, вернее, стоял в этих комнатах, потому что сидеть там не разрешалось, был после сдачи ценностей уничтожен, сослан, превращён в лагерную пыль и некому рассказать о них. А если кто-то и остался до какого-то времени жив, то не раскрывал рта из-за ужаса, который охватывал его из-за подписи не разглашать государственную тайну и никому никогда ни устно и ни письменно не рассказывать, что он там видел и слышал.

Может быть, и Булгаков рассказывает об этом зале, как о сне Никанора Ивановича, потому что это изнурение людей было слишком засекречено, и может быть, Булгаков, как и я грешная, только слышал об этом и не решался писать конкретно. Да и нельзя было писать.

При создании романа «Мастер и Маргарита» Булгаков многие вещи обходился, не называя истинными именами, оставляя возможность будущему читателю самому подумать и додуматься до истины, а не заглывать манную кашу готовых решений.

Сила романа в его глубоком подтексте, в том, что может быть скрыто от не очень осведомлённого и не очень внимательного читателя. Но что, естественно, не могло ускользнуть от людей, вернее, от внимания людей, от которых зависела публикация в своё время.

Булгаков тонко описывает гепеушника-осведомителя, но не рядового добровольца-стукача, а опытного и знающего своё дело работника. Добровольцем-стукачом выступил Коровьев под фамилией соседа Никанора Ивановича. Так этого стукача-добровольца тут же увели, в сумасшедшем доме он не появился, значит поехал куда-нибудь подальше...

А вот знающий своё дело работник поступает не так грубо.

Мастер рассказывает:

«У меня неожиданно завелся друг. Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходить с людьми, обладаю чёртовой странностью: схожусь с

людьми туго, недоверчиво, подозрителен. И – представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то чёрт его знает на что похожий, он-то мне больше всех и понравится.

Так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего садика, денёк ещё, помню, был такой приятный, осенний. Её не было дома. И в калиточку вошёл человек, он прошёл в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошёл в садик и как-то очень быстро свёл со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нём».

Обратите на манеру Мастера говорить, на стиль изложения. Ведь это Достоевский! И разве не напоминает что-то из романов Достоевского тоска Мастера о своём враге, который втёрся к нему в доверие. Тоска жертвы о палаче! Жертва, как Га-Ноцри, готова сказать: «Что тебе нужно от меня, добрый человек?»

Мастер продолжает:

«Дальше-больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живёт рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее. К себе как-то не звал.»

На эту маленькую деталь следует обратить внимание. Она настораживает: живёт рядом, часто приходит к Мастеру, а к себе не зовёт. А вдруг он там и не живёт? А вдруг он и в дом-то пришёл только после разгромных статей в газетах, чтобы познакомиться с Мастером и выведать, что он из себя представляет с точки зрения тех, кто знает всё обо всех?

Мастер рассказывает дальше, что его привлекла в Алоизии Могарыче какая-то неожиданность, какая-то тайна в душе, которую Мастер называет «сюрпризом».

Этот «сюрприз» заключался в том, чтобы скрыть истинную суть самого себя и влезть в чужую душу.

Мастер продолжает:

«... нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне её буквально в одну минуту, причём видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего... Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки, причём о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан.»

Обратите внимание, что Мастер говорит об Алоизии, как о Воланде: «но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора.» Как бы присутствуя. Присутствия всюду, но незримо, как дьявольская сила.

Дальше Мастер рассказывает о газетных статьях. И здесь как бы даётся рецепт, как надо читать роман.

«Мне всё казалось, – и я не мог от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим.» Да, действительно, разве в статьях можно было написать истину, например, значение Афраима, начальника тайной стражи, трусость Понтия Пилата, требование оголтелой толпы распять того, кто говорит не так...

Мастеру становилось страшно жить. Его охватил ужас, ему казалось, что через оконце влезает к нему в квартиру какой-то спрут. Мастер чувствовал, что за ним следят всевидящие глаза и всеслышащие уши. И никуда от них не спрятаться.

Однажды ночью от страха, который охватил Мастера, он стал жечь рукопись романа. Но пришла Маргарита, спасла часть рукописи и унесла с собой.

Дальше Мастер стал рассказывать Ивану Бездомному на ухо. И ничего не было слышно за исключением первой фразы:

– Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали.

«... Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моём дворике».

Он видел освещённые окна в своей бывшей квартире, слышал звуки патефона.

Страх, ужас от всего, что случилось и перед всем, что ещё ждало его, загнал его в сумасшедший дом. Туг почему-то подвернулась случайная машина, которая случайно шла в дом скорби. Слишком много случайностей для одной ночи.

Мастер, как талантливая, тонкая, чувствующая натура, каждой порой, каждой клеточкой своего тела ощущал дьяволиаду, царившую в Москве, а может быть, и во всей стране, но Булгаков описывает только Москву.

Злым пером сатирика написана глава о хоровом пении. В те годы широко развёртывалась художественная самодеятельность. И вот под руководством Коровьева, выдавшего себя за регента, однажды запело целое учреждение «Славное море священный Байкал», да так с пением и погрузили всех на грузовик и увезли в сумасшедший дом.

Вспомните у Достоевского во вставной новелле Великий инквизитор говорит, что мы их заставим работать, а после работы они будут петь и танцевать, как дети. Но Коровьев перестарался, и учреждение запело во время работы.

Бесовщина и дьяволиада, по выражению Булгакова, была в Москве и до появления Воланда со своей свитой. Воланд только усугубил, оголил суть этой бесовщины.

Часто упоминаемое нынче выражение «рукописи не горят» принадлежит в романе Воланду. И, может быть, потому что роман о Пилате был рассказан Воландом, как очевидцем событий далёкого прошлого.

Всё страшное и серьёзное в романе завуалировано, скрыто внешним повествованием, рассказами о проделках Коровьева и Кота-Бегемота, смешными их похождениями, безумным балом у Сатаны, где Маргарита была королевой, так как в ней была какая-то капля королевской крови.

Неподготовленный читатель следит за этими проделками, пропуская мимо своего внимания подоплёку, как бы тайнопись сложного необыкновенного романа, который писался двенадцать лет и двадцать семь лет пролежал у вдовы писателя, дожидаясь лучших времён для его опубликования.

Роман о любви и нравственном долге, как характеризуют его литературоведы, развёртывается параллельно с теми темами, о которых я сказала. Это любовь Маргариты к Мастеру. Кстати вспомнить, что возлюбленную Фауста тоже звали Маргаритой.

Булгаковская Маргарита была замужней женщиной, но из любви к Мастеру решает расстаться с обеспеченной жизнью в прекрасном особняке с высокопоставленным мужем. Но вот здесь мне пришлось немножко задуматься о выражении: высокая нравственность. Высокая нравственность заключается в том, что Маргарита уносит полуобгоревший роман Мастера. Но что касается их безумной любви, то здесь есть некоторая странность. Любовь-то любовью, но особняк не так-то легко и просто бросить. Маргарита собирается сказать мужу о своей любви к другому, да очень уж долго решается... И с обгоревшим-то романом ушла к себе в особняк.

Мастер же бросает свою жену и даже не может вспомнить, как её звали.

Вот разговор Мастера с Иваном Бездомным:

«... она жила с другим человеком, и я там тогда... с этой, как её...

– С кем? – спросил Бездомный.

– С этой... ну... с этой, ну... – ответил гость и защёлкал пальцами.

– Вы были женаты?

– Ну да, вот же я и щёлкаю... На этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... ещё платье полосатое... музей... впрочем, я не помню».

Ещё раз повторяю, что мне трудно говорить здесь о высокой нравственности, но не хочу прослыть ретроградкой. И скажу так: когда положительный герой бросает жену ради другой женщины, то это только увеличивает его положительные качества. А если это делает отрицательный персонаж, то это, извините, безнравственно. Так уж принято у нас не только в литературе, но и в жизни. Брошенные всегда плохие и жалкие.

Конечно, во всём описании Маргариты сказалась любовь Булгакова к своей последней жене, которая, как говорят, обладала ведьминскими наклонностями. Маргарита имеет склонность к ведьмовству, причём в разговоре то и дело всплывает чёрта: чёрт знает, к чёрту и так далее. Это не шокирует Мастера, потому что красивой женщине всё можно.

А. Ахматова была знакома с женой Булгакова, жила в её комнате в эвакуации в Ташкенте и написала об этом стихи:

ХОЗЯЙКА

Е. С. Булгаковой

*В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень её ещё видна
Накануне новолуния.
Тень её ещё стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвержен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.*

5 августа 1943

Есть у А. Ахматовой и стихотворение, посвященное памяти М. Булгаковой.

Писательская среда показана в романе во всей неприкрытой наготе, со сварами и склоками, с разгромными статьями, способными уничтожить любого писателя, который кому-то из критиков не понравился или не угодил властям.

Не лучше ведёт себя и Маргарита, став ведьмой. Она влетает в писательский дом, находит квартиры критиков, нападавших в прессе на Мастера, и учиняет полный разгром в их квартирах, всё бьёт и рушит. То есть всё происходит в стиле времени: разгром в газетах, разбой в жизни... В поступках Маргариты в данном случае не наблюдается высокой нравственности, только что в одной квартире мальчика пощадила, не стала при нём хулиганить и не стала его пугать, а сказала: «Я тебе снюсь».

Кончается роман соединением Мастера и Маргариты, вернее, их бессмертных душ, которые улетают вместе со свитой Воланда из Москвы. Но где-то далеко-далеко от Москвы Воланд показывает им одинокий замок, где их души найдут покой. Получает прощение и Понтий Пилат.

А московская милиция продолжает искать нечистую силу, собирает чёрных котов в городе и пригородах, арестовывает всех подозрительных. Бесовщина продолжается.

Итак, этот роман трудно назвать только сатирическим, или историческим, или лирико-философским. Он вмещает в себя все эти понятия и всё-таки значительно сложнее, чем каждое понятие в отдельности.

VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ

А.В. Осипов

*На добрый привет добрый и ответ
(Добро с кулаками)*

Проходил на днях мимо газетного киоска, купил редкую нынче газету – «Литературную Россию». Она стала совсем не похожа на ту, что была раньше, но все-таки иногда хочется почитать о новостях литературной жизни. Газета от 31 августа 2018 года. Зацепила статья Александра Балтина, которая называется «Кривизна Станислава Куняева». Она такая короткая, что и цитировать нет смысла. Лучше привести ее полностью.

Жалко, когда начинённая ложным смыслом – или искажающая высокие понятия – строчка стихов уходит в народ; прискорбно, но это случается: таково: Добро должно быть с кулаками. Этакая правоверная советская задиристость худшего пошиба, с полным непониманием сущности добра, как феномена – одного из лучших в человечестве, ибо добро противоположно кулакам, и защищается оно по-другому, например, как говорил Христос – про подставь другую щеку: защищается доведением зла до абсурда, когда тому становится стыдно за самое себя, и отступает оно, нелепое.

Куняев сделал шикарную литературную карьеру – если только посчитать подобную возможной: ибо одно дело сюсюминутность, иллюзорная власть, а другое – положение поэта с точки зрения долгих временных периодов: такое, как у Мандельштама, или Цветаевой...

Некогда заручившись поддержкой блестящего, но излишне многим готового помочь Бориса Слуцкого Куняев двинулся вверх, используя все кнопки, что следовало нажимать: криво понятый патриотизм, не простоту, а простоватость, отсутствие какой бы то ни было оригинальности, ибо серость, увы, часто приветствовалась в Союзе.

Взять любые фрагменты, навскидку:

*А в жизни всё те же законы:
повсюду, куда ты ни глянь, –
то самые нежные стоны,
то самая чёрная брань.*

.....

*А что же он сделал, тот гений,
Свявший себе монумент
Из нескольких светлых прозрений
И нескольких тёмных легенд?*

.....

*В бору шумит весенний ветер,
его дыхание всё влажнее...
Мы – тоже дети страшных лет,
и неизвестно, чьи страшнее.*

Чьи это стихи?

А могут быть чьими угодно – ничего своего оригинального, яркого, ни собственной лексики, ни собственного мира – при внешней умелости, мол, таково следование традиции русской поэзии...

Да ничуть не бывало: основная ее традиция: оригинальность – стиля, мысли, мировосприятия.

А где можно найти нечто оригинальное у Куняева?

Такого микроскопа еще не изобрели...

Предлагал, предлагает и будет предлагать такой журнальный стандарт советских лет...

Только и остается, что кривая строчка, ушедшая в народ.

Вот и вся карьера...

Ругательная, бранная статья. Неужели же мы приехали и такое можно публиковать? Выходит, что можно. Мы уже, видимо, пробили дно и перешли на уровень, который раньше находился на коммунальных кухнях. Когда анализируют коммунальные склоки, то обычно говорят: что-то не поделили. Но как узнать, что именно? Может быть, их жены не поделили полочку в ванной. А может быть, у них дачи рядом. И Станислав Юрьевич повесил на своей даче ружье сушиться, а Александр Львович захотел, чтобы Сергей Юрьевич ему его подарил. Тайна сия велика есть.

Но литература-то тут при чём?

При чем тут понятие «оригинальное» в литературе? Понятие в общем-то достаточно деликатное. Рассматриваю я, например, зарисовки одного из моих любимых художников, Фёдора Васильева. Ну, «Кучевое облако». Ну, «Кроны деревьев». И что тут оригинального? А если зайти в музей современного искусства, то там все оригинально. Но я ведь не браню тех, кто туда ходит?

Ну и у Куняева есть зарисовки. Например, такая:

*А в жизни всё те же законы:
повсюду, куда ты ни глянь, –
то самые нежные стоны,
то самая чёрная брань.
Всё стянуто в узел единый,
и слышится вдруг невзначай:
Постылый!
Пропавший!
Любимый!
Будь счастлив!
Будь проклят!
Прощай!*

Ничего, вроде бы особенного, так, картинка из жизни. Взглянешь на страницу «Литературной России» – прямо-таки иллюстрация. Вверху про новый роман Александра Архангельского – нежные стоны критика. Внизу про поэта Станислава Куняева – черная брань.

У Александра Балтина стихи, наверное, оригинальнее. У него много стихов. Читатель без труда найдет их в Интернете и, наверное, их «яркость», «собственный мир» и «собственную лексику» оценит без моей помощи.

Что же касается журнального стандарта советских лет... Ну что с него взять? Размытый путь и вдоль кривые тополя ...

Ещё одна зарисовка Куняева. Похороны человека. Это не из современной культуры, а из обычной жизни. Жил человек, космонавтом не был, должностей особых не занимал, писал стихи, работал. Так и что? Его жизнь не была явлением во вселенной? Скажите хоть что-нибудь своими вымученными устами. И может быть, осенние листопады над его могилой не покажутся вам такими безразличными.

*А что же он сделал, тот гений,
Сваявший себе монумент
Из нескольких светлых прозрений
И нескольких тёмных легенд?
Но вы-то попробуйте сами
хоть несколько нитей связать
и вымученными устами
хоть несколько истин сказать!
Железо стандартной ограды,
которых так много подряд...
Но кажется, что листопады
над ним чуть нежнее шумят.*

Может быть, здесь есть и наивность, и простосердечие, то есть простоватость. Не могу сказать. Обычное стихотворение. Не имажизм, не абсурдизм, не футуризм. Так и что, теперь нужно изгнать Куняева с парохода современности?

Но вот другая загадка – криво понятый патриотизм. Может быть, это:

*В бору шумит весенний ветер,
его дыханье всё влажнее...
Мы – тоже дети страшных лет,
и неизвестно, чьи страшнее.
Когда в дыму горел вокзал
и мать металась вдоль перрона –
я сам от смерти уползал
и, как щенок из-под вагона,
выглядывал на белый свет,
«в его минуты роковые»...
Да что там! Не было и нет*

благих и безмятежных лет
 у нашей матери – России.
 В огне побед, в дыму клевет,
 в объятьях славы и разора
 мы жили... Но глядел весь свет
 на нас, не отрывая взора.
 Опять весна и синева!
 Гуляют по сосновым чащам
 ветра,
 и старая трава
 горит в огне животворящем.
 Не пряча глаз – взглядишь в судьбу:
 увидишь знак преодоления,
 начертанный на чистом лбу
 у молодого поколения,
 Живи, мой сын! На белый свет
 гляди пристрастными глазами,
 прокладывай в пространстве след
 и знай: вы дети новых лет!
 Каких? – вы разберётесь сами!

Очень сильное стихотворение. Спасибо Балтину за то, что несколько своеобразно, но все-таки обратил на него внимание. Пишите еще, Александр Львович, гадкие статьи. Я люблю открывать для себя хорошие стихи.

Но есть, конечно, у Куняева и более скромные «криво-патриотические» произведения. Как, например, эта зарисовка 1959 года.

Городкам в России нету счета.
 Почта.
 Баня.
 Пыль и тишина.
 И Доска районного почета
 на пустынной площади видна.
 Маслом размалеваны разводы,
 две колонны – словно две колоды...
 Работенка, скажем, неказиста
 местных инвалидов-кустарей:
 выцветшие каменные лица
 плотников, доярок, слесарей.
 Я-то знаю, как они немеют
 и не знают – руки деть куда,
 становится в позу не умеют,
 вот пахать и строить – это да.
 Всматриваясь в выцветшие фото,
 все как есть приму и все пойму
 в монументах временной работы
 вечному народу моему.

Я много ездил по России и прекрасно помню эти маленькие городки. Небольшое здание, иногда с колоннами, рядом площадь с проросшей травой, на ней гипсовый памятник солдату или просто обелиск со звездой. Чуть в стороне Доска почета. Это если город. Если село, то памятника нет, просто одноэтажный сельсовет, на стене сельсовета прибит большой фанерный, но чаще железный лист. На листе аккуратно, по алфавиту выписаны имена односельчан, не вернувшихся с войны. Эти имена делятся на группы. Например, Петров Василий Петрович, 1896 г.р. И далее, Петров Иван Васильевич, 1919 г.р., Петров Дмитрий Васильевич, 1920 г.р. и так далее, еще трое Петровых.

Чьи это стихи про Доску почета? Не знаю, что означает, что они могут быть «чьими угодно». Написал их всё-таки Станислав Куняев. Ничего сверх оригинального, яркого; нет здесь и собственной лексики. Куняев пишет на обычном русском языке про свой народ. И мой тоже.

Ну, а теперь перейдем в начало ругательной статьи и поговорим о «начиненной ложным смыслом строчке». В энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений (автор-составитель Вадим Серов) авторство этой строчки приписывается Михаилу Светлову, который дал упражнение поэтам, находящимся еще в том возрасте, когда нужно было ремесло поставить подножием к искусству. И один из молодых поэтов, а именно Станислав Куняев в 1959 году написал стихотворение, начинающееся с этой знаменитой фразы:

*Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
что смысл истории в конечном
в добротном действии одном –
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!*

Это было послевоенное поколение. Не то послевоенное, которое родилось после войны, а то, которое еще помнило, «как в дыму горел вокзал» и «мать металась вдоль перрона». И философский пафос этой строчки, и смысл истории для тех молодых людей во многом был в полутора годах, которые прошли после Сталинградской битвы. И образы поэты часто брали из популярных в те годы, но сейчас уже забытых карикатур Кукрыниксов. Правда, чаще в них было под зад штыком. Но было и коленом.

Потом пришли другие времена. Появился спутник, потом полетел Гагарин, образы стали другими, другой стала и философия. И Куняев пишет новый ответ на вопрос, должно ли добро быть с кулаками.

*Постой. Неужто? Правда ли, должно?
Возмездье, справедливость – это верно.
Пожалуйста. Но только не добро,
которое бесцельно и безмерно.
Недопустима путаница слов,
подмена силлогизмов и понятий,
когда итогом служит смерть и кровь,
число скорбей, количество проклятий.
Напрасны ухищрения ума,
напрасно страсть раскидывает пути –
добро первоначально, как земля,
и пишется «Добро» с заглавной буквы.
Неграмотные формулы свои
я помню. И тем горше сожаленье,
что не одни лишь термины ввели
меня тогда в такое заблуждение.*

И это было до появления высказывания Балтина, согласно которому злу становится стыдно за самое себя, и отступает оно, нелепое.

Но оставим литераторов, которые, как иногда представляется, бранятся – только тешатся. Пожелаем им не смешить народа нескромным шумом их ссор и перейдем теперь к художникам.

Пришли другие времена. Нелепое зло живет себе, и философия добра с кулаками опять стала меняться. В Санкт-Петербурге, в музее современного искусства «Эрарта» на пятом этаже в постоянной экспозиции вы сможете увидеть огромную плакатную иллюстрацию к обсуждаемой теме. Она создана художником Алексеем Базановым в 2005 году и называется «Противостояние».



В центре изображено то самое «добро с кулаками». Все по правилам. Но тут страсть раскидывает пуги. Этому добру с кулаками противостоит полиция. То есть представители закона. Они в касках, но так и должно быть. Они безлики, но это образ, закон и должен быть безликим. Было бы неправильно, если бы исполнение закона зависело от личности исполнителя.

Но безлико и добро. Персонажи одинаковы, как будто все из одного ларца. Все либо тренеры фитнес клубов, либо специально тренированные люди. Так и должно быть? На лице целеустремленность, энергия, напор, отсутствие каких-либо сомнений и следов размышлений. Очень похожа эта картина на иллюстрацию к работе Ленина.

Величайшая решительность, величайшая энергия, немедленное использование всякого подходящего момента, немедленное разжигание революционной страсти толпы, направление ее на более решительные и самые решительные действия – таков первейший долг революционера.

Ленин В. И. Задачи отрядов революционной армии. 1905

Тут нужно заметить, что указанная небольшая работа Ленина детально прописывает поведение революционеров и, собственно говоря, все революции от красной до оранжевой очень четко следовали ей.

Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, тироксилиновая шапка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр. и т. д.). Ни в каком случае не ждать со стороны, сверху, извне, помощи, а раздобывать все самим.

Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 2) нападая при удобном случае на городского, случайно отбившегося казака (случай в Москве) и т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень немного; 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. д. и осыпая войско камнями, обливая кипятком и т. д. При энергии организованный, сплоченный отряд – громадная сила. Ни в каком случае не следует отказываться от образования отряда или откладывать его образование под предлогом отсутствия оружия.

Вернемся к полотну. Впрочем, это даже не просто полотно, а инсталляция, поскольку перед ним расположен стол с тарелками для еды и грозными символами советских времен. По-видимому, автор хотел обратить внимание на строчку поэта:

И пища многих будет смерть и кровь;

Хорошо, пусть так, но тогда и на следующие строчки нужно обратить внимание:

*Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;*

Интересно, где же на этой картине дети и невинные жены? С какой стороны?

И очень загадочным для меня является комментарий уважаемого доктора политических наук Владимира Пастухова, прикрепленный к стене рядом с картиной. Комментарий называется «Немного теории для стоящих на краю бездны». В нем фигурируют такие термины, как «полицейское государство», «авторитарный режим», «тоталитарное государство», «террор», «массовый психоз» и, конечно, свобода в разных ипостасях, которую эти все предыдущие термины гнетут. Не хватает в этом комментарии только «активной гражданской позиции». Заканчивается этот комментарий тоже загадочно:

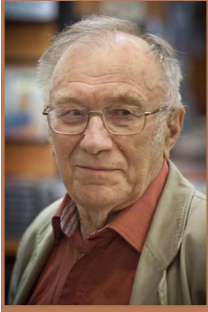
Любой отказавшийся выключить сознание становится бойцом сопротивления в этой битве за каждого думающего человека.

Проблема в том, что я не хочу выключать сознание, но еще больше не хочу стать «бойцом сопротивления», то есть одним из тех зомби, которых вижу на картинке.

Так я ничего и не понял. Ни про массовый психоз, ни про «задиристость худшего пошиба». Зато познакомился с несколькими хорошими стихотворениями. Это было приятно.

*Несколько слов от редактора журнала
к портрету поэта и публициста Станислава Куняева.*

Родился Станислав Юрьевич 27 ноября 1932 года в Калуге. После окончания Филфака МГУ в 1957-1960 годах работал в газете «Заветы Ленина» (г. Тайшет Иркутской области). Осенью 1958 г. я получил письмо с просьбой приехать в редакцию этой газеты, в которой были напечатаны мои, затерянные ранее в столе у редактора, небольшие рассказы. Зимой 58–59 года я учился в Тайшете на курсах Рабселькоров, прогуливая по пятницам занятия в школе. Немного я из того времени помню, но что



Станислав Юрьевич был человеком простым, доброжелательным, дружески относился к 16-летнему подростку, был снисходителен к моей самоуверенности, запомнилось до сих пор. Теперь, по прошествии многих лет, я думаю, что эти курсы на протяжении зимы 58-59 года сыграли важную роль в моем становлении как начинающего литератора, да и в становлении моих товарищей по этим курсам, которые ко мне относились с любовью и уважением (а были среди них, опытных взрослых людей, и поклонники моих рассказов, что меня только теперь начало удивлять.)

Впрочем, мой первый гонорар мы обмывали в редакции, были не одни литературные разговоры, жизнь тогда кипела и на улице и в кабинетах, но в школе я свои литературные похождения – после неприятностей в связи с публикацией моего рассказа в Нижне-Ингашской газете за год до этого, когда меня даже исключали из школы и я потом вынужден был *признать*, что изображенные в рассказе события *не типичны* для советской действительности – я скрывал. (Впрочем, разве и школа меня не любила, позволяя мне так много поблажек?)

Но, к счастью, литературная карьера моя после окончания школы закончилась, я ушел в «пустыню», и так сорок лет в ней и брожу.

К счастью же для русской литературы С. Ю. Куняев сложился как крупный поэт, прозаик, редактор, критик. В 1989 году в газете «Московский литератор» вышла статья Куняева «Обслуживающий персонал», где автор обвинил секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева в проведении *антирусской* политики. 19 августа 1991 года поддержал ГКЧП. Позже писал о ГКЧП: «Под сень „Матросской тишины“ / Без слов сошли гекачеписты, / Не зная за собой вины, ...» Между двумя ведущими журналами, «Новый мир» и «Наш современник» я склонялся больше к «Новому миру» - но сегодня, почвенник, народник, сторонник крестьянского социализма, я возвращаюсь под сень нашего тогдашнего провинциального кружка 58 года, во главе которого был Станислав Юрьевич.

... Было бы странно, если бы за все то время, как и за годы, прошедшие с тех пор, Куняев не нажил себе врагов...

Редактор.

Разговор после посещения выставки

Беседа Александра Васильевича Осипова с Валерием Григорьевичем Исаченко после посещения выставки Петрова-Водкина в Русском музее

А.В. Валерий Григорьевич, конечно, живопись Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина своеобразна. У него свой собственный неповторимый стиль. Можно ли говорить о некоторой философии его творчества? И в его творчестве?

В.Г. Смотря что понимать под философией.

А.В. Ну, собственно философией мы называем систематическую философию, созданную Кантом, Гегелем, Шеллингом и другими замечательными представителями прусско-немецкой школы. Но, кажется, эта философия не слишком Вам близка.

В.Г. Пожалуй, что это так. Хотя дело не в систематичности. Например, я задумывался над тем, чем мне нравится немецкая музыка. Она хорошо, я бы сказал, выстроена. И это не противоречит гармонии. Я бы тут назвал прежде всего Бетховена и Баха. Но недавно я открыл для себя Антона Веберна. Он считается экспрессионистом, но некоторые его произведения очень гармоничны. Его учителем был Арнольд Шёнберг.

А.В. Но они оба не были немцами.

В.Г. Да, конечно, это представители так называемой новой венской школы. Более современную немецкую классическую музыку я потерял. Не следил за этим. Характерная музыка середины двадцатого века для меня – «Кармина Бурана» Карла Орфа. Но это уже тяжелое произведение, очень далеко отстоящее от Бетховена.

А.В. Я, кажется, понял. Вы проводите аналогию с немецкой философией, которая, став философией экзистенциализма, отчасти потеряла связь с классикой.

В.Г. Да. Мне кажется, что так. Но я не осмелился бы предлагать свое мнение читателю. Гуссерль, Ясперс, Хайдеггер – это уже за пределами моей компетенции. Я бы вообще не стал затрагивать философию как науку. В живописи как-то проще, философия в живописи – это другое. Это почти инстинктивное стремление осознать происходящее, желание подняться над ремеслом, осознать с помощью кисти и красок идеи, выходящие за рамки обыденности. И начать разговор о философии в живописи следовало бы, наверное, с Феофана Грека.

А.В. Но у нас не осталось никаких свидетельств его философствований. Епифаний Премудрый пишет о Феофане Греке и об Андрее Рублеве, но нет никаких конкретных пересказов их рассуждений, хотя, конечно, верится в то, что это были очень образованные люди.

В.Г. Есть философия разговора, а есть философия самого творчества. Опасно ограничивать понимание философии одной рациональной философией, точнее говоря, философией, которая может быть выражена словесно. Феофан Грек и Андрей Рублев представили другую философию, философию в высшей степени абстрактную и одновременно постепенно проникающую в душу каждого, входящего в церковь. Это была уже русская философия, философия живописи, отличающаяся от немецкой не только по стилю, но и по духу. Не лучше и не хуже – просто другая.

А.В. Вы хотите сказать, что хотя Феофан и не русский человек, но его творчество «легло на душу» русскому человеку. Это как картофель. Вроде бы из Америки привезен, но стал в одно время чуть ли не основным продуктом питания в России.

В.Г. Странную аналогию Вы привели. Картофель полезный продукт, если в меру, от цинги, говорят, спасает. Но он тяжелый для питания и не прижился бы у нас так повсеместно, то есть не стал бы основным продуктом питания, если бы не настойчивость Петра, а затем и Николая I. Но для живописи Феофана Грека не нужна была настойчивость властей. Она вошла сразу и органично. Сразу став русской.

А.В. Если продолжать тему религиозной живописи и религиозной философии в самом широком понимании этого выражения, то нужно назвать, конечно, Иванова со своим «Явлением Христа народу».

В.Г. Конечно. Александр Иванов был безусловно великим философом. Его мысли о живописи вы можете найти прежде всего в сборнике писем и документов, изданных еще до революции Михаилом Петровичем Боткиным. Вот, например, цитата оттуда.

Вы полагаете, что жалованье в 6-8 тысяч по смерти, получить красивый угол в Академии, – есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях природы, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое, из всего собранного, из всего виденного. Русский художник должен быть в частом путешествии по России, и почти никогда не быть в Петербурге, как городе, не имеющем ничего характеристического. Академия художеств есть вещь прошедшего столетия, ее основали уставившие изобретать итальянцы. Они хотели этой мыслью воздвигнуть опять художество на степень высокую, но не создали ни одного гения о сию пору.

А. Иванов. Письмо к отцу. Рим. 1836

А.В. Да, мысли замечательны. После чего художник шлет в Общество поощрения художников одну за другой депеши о том, что он готов сносить новые «несчастья» в виде новых милостей.

Издержки, превышающие приход, приводят меня часто к раскаянию, тем более что за копию в Ватикане, на плату коей я рассчитывал все будущее, мне ограничились 3000 руб. Вас, высокие мои благодетели, не смею утруждать, но за всем тем не вижу другого источника к продолжению моего предприятия, как ждать новых ваших милостей.

А. Иванов. Письмо в Общество поощрения художников. Рим. 1838

Иванов удивительно похож на Гоголя. Замечательный русский художник, который из своего прекрасного далека в виде Рима и его провинций пишет о необходимости «проездиться по Руси». Кстати говоря, совет дается в один и тот же год и из одного и того же места.

В.Г. Вы цепляетесь к мелочам. Его основная картина, его детище – вот о чем нужно говорить. Да, он писал ее долго, очень долго. Но ведь как написал!

Вы, кажется, очень беспокоитесь на счет бесконечности моей настоящей картины? Но что делать? – силы мои слишком малы по сравнению с намерением. Заставить согласиться иностранцев, что русские живописцы не хуже их, – дело весьма мудреное, ибо все озлоблены на русских, по случаю политики; все ищут в нас пятен, рады всяким рассказам и унижают в нас всякое достоинство. Следовательно, художественная вещь должна быть втрое лучше их произведений, чтобы только принудить их уравнивать со своими!

А. Иванов. Письмо к отцу. Рим. 1840

То, что это шедевр, признали практически все мэтры русской живописи, когда она была привезена в Петербург. Она вся пронизана священным трепетом. Христос на картине – одновременно и человек, и божество. Это не замученный философ в пустыне, как его преподнес Иван Крамской. Это не поленовский рассудительный судья. Это совсем другое. И более простое, и более возвышенное. Все творчество Иванова (включая этюды и библейские эскизы) это многолетний диалог или разговор с миром и стремление передать свои чувства читателю. Этим он продолжает и развивает традиции и Феофана Грека, и Андрея Рублева.

А.В. Но если вернуться к первой цитате Иванова. Как-то он не очень лестно о Петербурге. Да и о здании Академии художеств, которым мы привыкли гордиться.

В.Г. Да, привычка свыше нам дана. Она примиряет с диссонансами. Конечно, по сравнению с примитивом современных вторжений в архитектурный стиль Васильевского острова это здание сильно выигрывает. Кроме того, его громоздкость создает ту устойчивость, которая нам, наверное, нужна. Но в первой половине девятнадцатого века это здание не всем нравилось. Вот, например, что пишет Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Художник – кличка, ставшая почтенной, была брошена светским изобразителям от их конкурентов-иконников, монашеских групп, как уничтожение. По разделении живописи на два русла долгое время светское искусство считалось предосудительным.

Когда на Васильевском острове был основан мрачный дворец, с кругами Дантова ада и с иронической надписью на фронтоне «Свободным художествам», тогда в этот дворец учащиеся набирались из крепостных, из разночинцев да из иностранцев, – одних по приказу сажали в школу, а разночинцы и приехавшие иностранцы были достаточно вольнодумны, чтоб не принять за колдунов мундирное чиновничество Академии художеств.

К. Петров-Водкин. Пространство Эвклида

А.В. Любопытная цитата. Давайте ее немного продлим.

Огромное здание было заселено профессорами, преподавателями, чиновниками с их семьями и служащими, а между ними болтались верстовыми коридорами группочки зашнурованных в мундиры юношей, обреченных внедрить в свою плоть и кровь античное изящество.

Да, уж видно, сам строитель – Кокоринов, повесившийся на чердаке Дворца искусств пред его торжественным открытием, предсказал несчастливую судьбу своему детищу.

Блестящий человек с громкой славой и почетом, Карл Брюллов и тот не выдержал российских свободных художеств: награжденный болезнью, перепоем, бросает он дворец перед сфинксами и буквально удирает к себе на родину.

На линии границы русской раздевается он донага и швыряет одежду через шлагбаум покидаемой им страны.

В тридцатых годах, с не меньшим ужасом от Академии, ее воспитанник, русский юноша, уезжает в Италию. Ремесленно, кропотливо начинает он переучиваться в стране Леонардо русскому искусству. В продолжение двадцати семи лет выкорчевывает Александр Андреевич Иванов из-под греко-римских химер Васильевского острова самоценную живопись.

Четыре года спустя после показа Ивановым его работ происходит первая буря в коридорах безмятежной Академии: двенадцать человек студентов, под руководством Крамского, отказываются выполнять задание совета на конкурс – «Валгаллу» и выходят из стен питомника.

Восемь лет спустя, на манер французских странствующих выставок, ушедшая группа организует «Товарищество передвижных выставок», и наконец-то из чиновной духоты Петербурга живопись выходит на широкий потребительский простор провинции.

На перепутье, в Москве, П. М. Третьяков, как пенки, снимает в свою начатую галерею лучшие образцы с их выставок.

Уже засияли звезды Репина, Ге, Рябушкина над серой передвижнической артелью.

Академические выставки хиреют, не в силах выскочить за Московско-Нарвские ворота. Да и в самой школе Академии заводится внутренний враг, занозистый Павел Петрович Чистяков.

В.Г. Здесь много эпатажности и сатиры, характерной для того времени. Про Кокорина и Брюллова это лишь вымысел. Что касается Третьякова, то хорошо было бы, чтобы сейчас появился снимающий пенки, при этом в России. Но у Петрова-Водкина много интересных наблюдений. Лучше бы найти те части текста, где он говорит о живописи.

А.В. Например, это.

Здорово продумано и проработано на каждом сантиметре холста, – понял я, – но как же привести всю эту красочную разорванность к единству формы?

Зачем дробить синее и желтое при наличии перманентной зелени?

Зачем выдумывать серый тон разбелами кобальта и сиены, когда есть на палитре нуар-де-пеишь?

Почему красное нужно перебросить в фон, а в синем изобразить обнаженного человека? Как избежать при такой школе случайного, физиологического привкуса и легкомысленного эстетства? И почему, несмотря на чрезвычайную оригинальность этой школы, в ней не чувствуется декадентства, навешивающего на природу хлам людских настроений?

Много полезных, но острых заноз в себе унес я с этой выставки.

Она поселила во мне разлад и с самим собой, и с Мюнхеном, и с московским училищем.

Окружающая жизнь действовала на меня не менее сильно, чем искусство, – не мог я ее не сопоставлять с Россией.

Отсюда чувствовалась необъятная моя, дремлющая Равнина. Чрезвычайными усилиями возвращены на ней крошечные цветники махровых, привередливых растений.

От неизвестных корней путано и разноцветно утверждают они свои ценности на расстоянии человеческого глаза, а кругом – «буря мглы небо кроет» на тысячи верст.

Жутью веяло на меня сюда из России.

Что ж, я так был очарован здешним благополучием?

Нет. Потому и была жуть, что, примеряя на здешнюю ступень мою родину, не видел я ее дальнейшего пути.

Почему так? Почему в таком маленьком отрывке такой резкий переход от перманентной зелени к дальнейшему пути России. Может ли цвет предшествовать настроению, создавать его?

В.Г. Конечно! Как и музыка. Но рационально это объяснить нельзя. Это достигается опытом и интуицией художника. И, конечно, уровнем владения ремеслом. Но мне нравится замечание автора про «декадентство, навешивающее на природу хлам людских настроений». Очень образно и точно сказано!

В то же время картина «Тревога» – отличная иллюстрация сказанного Петровым-Водкиным. И эта картина и его великолепные натюрморты – это самовыражение художника, который сам себя философом не считает, не продвигает сознательно философию в своих произведениях, но она ощущается. Философия времени, если хотите.

А.В. Я понял. Но вот что еще хотелось бы заметить. И Феофан Грек, и Петров-Водкин, и в какой-то степени Иванов – лаконичные художники. Можно, наверное, даже назвать их живопись «функциональной». В каждой картине ничего лишнего, все подчинено основному замыслу, мысль зрителя не отвлекается на декоративные элементы.

В.Г. Такая «функциональность» в живописи и архитектуре пришла к нам с эпохой Просвещения, когда люди пресытились творениями в стиле барокко и рококо и перешли к более осмысленному классицизму. Правда, потом он сменился модерном с еще более «нефункциональными», но симпатичными «завитушками». Затем, уже в советское время появилось вновь выражение «функциональная целесообразность».

А.В. Ну а те раскрашенные сараи, которые образуют так называемые «спальные районы», – это тоже «функциональная целесообразность»?

В.Г. Это совсем другое! Это уже современная экономика. Работают деньги, причем эта работа ничем не контролируется. Нужно сделать дешево и быстро. Пока есть спрос и люди платят. Обратите внимание: стадион Кирова в Приморском парке Победы, который снесли несколько лет назад, тоже был построен в стиле «функциональной архитектуры». Но он был красив, демократичен, вокруг него не было большого скопления «вспомогательной архитектуры». Это было произведение искусства. То, о чем Вы говорите, – это чистый денежный интерес. Здесь не о чем говорить.

А.В. Но почему же не о чем? Также ведь лаконичное искусство. Функциональное! Но город гибнет. Он превращается в резервацию для русских людей. Когда я вижу новые построенные здания, я каждый раз думаю: ну вот, еще одного поселка в России нет.

В.Г. Вы говорите о политике, причем о плохой политике. Ни к искусству, ни к философии это отношения не имеет. Расстраивает, конечно. После перехода на эту тему уже не хочется говорить о философии.

А.В. Тогда закончим. Валерий Григорьевич, спасибо за беседу

Впечатления от книги Ренэ Герра «О русских – по-русски».

(Санкт-Петербург. Библиотека альманаха «Русский мир». Международная ассоциация «Русская культура». 2015. 512 с. Илл.)



Сергей Голлербах. Портрет Ренэ Герра. Бум., карандаш. Париж, 1981

М. П. Чернышева.

Родилась в г. Горький (Нижний-Новгород). Профессор С-Петербургского гос. университета, доктор биологических наук.

В. И. Чернышев.

Член Союза писателей России, редактор

Наши искренние поздравления читателю, которому предстоит открыть книгу Рене Герра: это книга – открытие, книга – праздник для глаз, ума и души, книга – событие в жизни для каждого жителя современной России! Наконец-то Русский мир в зарубежье предстал во всем величии и противоречиях, повседневной многоликой творческой жизни.

К непростою восприятию этой книги готовит читателя замечательная вступительная статья издателя, инициатора создания альманаха «Русский мир» Дмитрия Ивашинцова.

В его статье Р. Герра предстает подвижником, «страстный монолог которого... каждый раз напоминает нам о связи времен, взывает к нашей исторической памяти, заставляя нас творчески осмыслить подвижническое служение лучших представителей русской культуры своей Родине вопреки всем ураганам политической истории XX века». По прочтении книги вновь возвращаешься к этой статье и всецело соглашаешься с мнением издателя.

I

МИССИЯ

Некоторые люди с детства понимают свою миссию, может быть, сначала и не в полной мере, но служение ей начинается с ранней поры жизни. У Рене Герра по его рассказам все началось с изучения русского языка в одиннадцатилетнем возрасте. По мере увеличения числа знакомств и дружеских контактов выкристаллизовался главный интерес в жизни – культура русского зарубежья, состояла выбор профессии слависта и пришло понимание цели своей жизни. Он называет себя «хранителем и исследователем творческого наследия белой эмиграции», первым славистом на Западе, который начал изучать культуру русского зарубежья. Свою историческую миссию Рене Герра видит не только в сохранении и защите творческого наследия деятелей русской культуры, продолжавших творить вдали от родины, но и в прояснении их вклада в утверждение образа великой России и ее роли в духовном развитии человечества.

Собиратели, хранители наследия русской культуры и ее пропагандисты были и в нашем отечестве в XX веке. Такие собиратели и открыватели русской музыкальной Атлантиды, как, например, знаменитый Ленинградский коллекционер Юрий Борисович Перепелкин, хранили иногда с риском для жизни многие документы и музыкальные записи репрессированных деятелей русской культуры. Рене Герра, к счастью, не знал этого постоянного чувства опасности, грозящего собирателю и его близким. Однако задача собрать и воссоздать Атлантиду русской культуры в изгнании от этого не стала менее трудной и ответственной.

Рене Герра открывает для читателя современной России огромный мир русского зарубежья во Франции с удивительной щедростью. Здесь и простые люди, бывшие военные и казаки, и представители русского духовенства, и литераторы, художники и музыканты. Анализируя особенности эмигрантов первой, второй и третьей волны, автор проявляет неподдельный интерес к ключевым вехам их судеб и рассматривает их как важные составляющие истории России не только в прошлом, но и в будущем.

Самиздат 60-70-х и бурная книгоиздательская активность в конце 80-х – 90-х годах XX века открыла советскому читателю ранее неизвестные шедевры поэзии Георгия Иванова, Константина Бальмонта, Георгия Адамовича, прозы Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Ивана Бунина и Марка Алданова, а также новые имена литераторов русского зарубежья.

Но тем не менее живое общение Р. Герра с великими деятелями русской культуры, огромная коллекция архивных документов, литературы и живописи делают его книгу уникальным документом эпохи сохранения русского самосознания и продолжения развития культуры России по «естественному» пути, каким оно могло бы быть на родине без трагедии 1917 года. Крушение России в начале 20-го века определило судьбы не только эмигрантов первой и второй волны, но и их потомков.

Автор счастливо избегает «монографического стиля» в описании творческих портретов литераторов и художников, рассматривая их на фоне исторического полотна и часто апеллируя к современным жителям России. Это и закономерно, поскольку художники и, особенно, литераторы свое творчество адресовали будущим гражданам новой России, когда «мощная река литературы русского зарубежья сольется с иссыхающим ручейком советских авторов» (Глеб Струве. 1930, Георгий Адамович, стр. 229-231).

Представляет интерес проведенный автором сравнительный анализ судеб русских философов, богословов и писателей-эмигрантов, ре-эмигрантов и не уехавших из России.

Не менее значительны и разделы, посвященные усилиям деятелей зарубежья по утверждению и сохранению национальной русской самоидентичности. Это не только газеты и журналы, но и молодежные организации и летние лагеря, воскресные школы и клубы общения. Р.Герра подчеркивает, что православная церковь была «стержнем русскости в рассеянии» (стр 274-277). Приведенные в книге многочисленные фото и другие документы не только подтверждают слова автора, но и выдают его глубокое уважение к представителям русского духовенства.

Большая часть книги Р. Герра посвящена русским художникам. Автор объясняет это тем, что творчество художников оказалось на Западе более востребованным по сравнению с литературой и философией, что создавало сносные условия для свободы творчества и безбедного существования художников. Как коллекционер Р. Герра собирал произведения авторов-эмигрантов, созданные ими преимущественно в зарубежье, когда для многих из них начался новый этап в их творчестве. Он неоднократно подчеркивает, что элита русской культуры в рассеянии жаждала, прежде всего, свободы творчества. Благодаря ему мы узнали о новых работах таких классиков, как Константин Сомов, Сергей Чехонин, Юрий Анненков, Зинаида Серебрякова, Мстислав Добужинский, открыли для себя замечательных мастеров Сергея Шаршуна, Дмитрия Бушена, Павла Мансурова, Ивана Лебедева и Сергея Иванова, сына Зинаиды Серебряковой Александра Серебрякова, Ростислава Добужинского и других. Многочисленные образцы работ русских мастеров из

коллекции автора, представленные в книге, прекрасно иллюстрируют и дополняют текст. Некоторым из них Р. Герра посвящает отдельные разделы, в их числе Сергей Иванович Шаршун, Сергей Иванов – без текста, Павел Андреевич Мансуров, Михаил Андреевко, Иван Лебедев, Сергей Иванов.

По признанию автора книги, долгое время он был единственным западным славистом, исследовавшим творчество Русского зарубежья. Как истинный профессионал, Р. Герра не ограничивается исследованием творчества и условий существования современных ему великих деятелей русской культуры, он собирает сведения и о тех из них, кого он в силу возраста уже не застал в живых. Чувствуется искренняя симпатия и восхищение автора мужеством, стоицизмом, и творческой энергией героев повествования, особенно эмигрантов первой волны.

Автор несколько раз подчеркивает, что в зарубежье («в рассеянии») оказалась творческая элита России, которая не пассивно прозябала в ожидании «ухода большевиков», но продолжала творить. На примере художников и литераторов «Мира искусства», большинство которых оказалось вдали от России, Рене Герра доказывает, что Серебряный век окончился не в 1920-х с отъездом их из России, а в 1970-х годах, во Франции, с уходом из жизни эмигрантов первой волны и прекращением периодики зарубежья. В частности, Рене Герра рассматривает творчество за рубежом Сергея Шаршуна, Дмитрия Бушена, Михаила Андреевко, Павла Мансурова, Ивана Лебедева как новые страницы истории Серебряного века. Не только многочисленные выставки и востребованность русских художников во Франции, но и издание в переводах на европейские языки ряда писателей и поэтов русского зарубежья и, наконец, присуждение И. Бунину Нобелевской премии по литературе автор считает свидетельством полноценного вклада русских эмигрантов и их потомков в европейскую культуру.

Заметим, что в книге акценты на описании творчества определенных литераторов и художников обусловлены не только значительностью роли каждого из них в русской культуре, но также дружбой и представленностью их творческого наследия в коллекции Рене Герра. Это придает изложению душевность и позволяет автору существенно дополнить созданное текстом представление о герое повествования многочисленными репродукциями. Иногда текст даже отсутствует и о художнике говорят только его работы (например, в разделе, посвященном Ивану Лебедеву).

Замечательной особенностью книги Герра является полнота изображения жизни русского зарубежья в целом. В этой картине достойно представлены и выдающиеся деятели культуры и простые смертные, и общественные организации и организаторы и участники различных союзов и национального молодежного движения. Но не обходит молчанием автор книги и осведомителей ГПУ-НКВД. Один из ее разделов посвященный русской периодической печати, как и материалы, представленные в Приложении, хорошо представляют разнообразие проявлений повседневной жизни этого «государства в государстве».

Автор не дает читателю забыть, что героями его книги являются живые люди, и в основном тексте и в специальном разделе описаны сложные отношения между соотечественниками. Динамика этих отношений до самого конца существования русской эмиграции первой волны (по мнению автора – до конца 70-х годов) определялась историческими событиями, отношением к большевикам, Ленину и Сталину.

Первоначальная сплоченность эмиграции во время жизни «на чемоданах» до середины 20-х годов по мере понимания необратимости событий и в связи с раскольнической деятельностью ГПУ сменилась определенной разобщенностью в послевоенное время, особенно после указа Сталина «о прощении» и выдаче советских паспортов. Важно подчеркнуть, что Р. Герра, как настоящий русский интеллигент, сочетает деликатность, уважение к каждому из своих героев с трезвым и глубоким анализом его характера и с анализом причин того или иного принятого им судьбоносного решения. Например, высокая оценка творчества Сергея Чехонина, Юрия Анненкова и Алексея Ремизова не мешает автору заметить двойственности их отношения к большевикам. Сам автор, в силу близости к великим деятелям культуры России, оказавшимся по своей воле за рубежом или будучи изгнанными, и зная особенности советской действительности, явственно показывает нам свое неприятие всего *советского* и понимает невозможность возвращения в Россию своих героев спустя 30 лет после революции и, тем более, позже. Это подчеркивает небольшой эпизод разговора об искусстве В.И. Ленина с Юрием Анненковым (возможно, когда вождь позировал художнику): «Искусство для меня – это нечто вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль будет сыграна, мы его – дзык, дзык! – вырежем. За ненадобностью» (из книги Ю. Анненкова «Старые – молодым». Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1960. С.14, 24-25).

Хотя автор практически не рассказывает об участии русских эмигрантов в Соппротивлении, но всё же скупно упоминает погибших в концлагерях и на фронте молодых русских литераторов. Симпатичные штрихи добавлены в портрет И.А. Бунина: он не только раздавал полученную им нобелевскую премию нуждающимся, но и с риском для жизни укрывал от нацистов у себя в доме эмигранта-еврея писателя Барлаха (о его воспоминаниях о Бунине Герра отзывается, мягко говоря, весьма неодобрительно).

Герра с глубоким пониманием психологии описывает судьбы тех представителей эмиграции, которые метались между надеждами на освобождение России немецкими войсками и пониманием истинной цели Гитлера. Многие читатели впервые узнают о существовании в 1945-1947 годах под Парижем лагеря Борегар, где советские сотрудники НКВД пытали и расстреливали схваченных в Париже эмигрантов первой и второй волны (известно, что так было и в других странах, освобождаемых Советской армией от фашистов).

Как истый коллекционер, Р. Герра может с удовольствием рассказывать о своих приобретениях на торгах, о ценах на работы того или иного художника или на открытки А. М. Ремизова сегодня и в будущем. Вместе с тем, читатель

понимает, что это та порода коллекционеров, которые приобретают раритеты не ради обладания ими, а для сохранения и собирания архивов определенных авторов и для дальнейшей передачи этих архивов людям, понимая это как свой нравственный долг. Рене Герра именно так видит своё служение памяти великих творцов русской эмиграции: собирание, сохранение и возвращение их наследия современной России.

Большой интерес представляет раздел, где представлены портреты Рене Герра работы разных и очень интересных художников. Ожидаемо они представляют «разного» Герра, но все – с симпатией к нему. Однако это собрание в одном разделе понадобилось автору не для самолюбования, а как повод еще раз подчеркнуть и продемонстрировать на конкретных примерах деятельности реализацию своей миссии по возвращению творческого наследия деятелей зарубежья в Россию.

Важно подчеркнуть, что это «возвращение» очень активно и имеет разнообразные формы: кинофильмы, выступления на конференциях и симпозиумах, лекции в столичных залах и в провинции, в удаленных от столиц малых городах нашей родины, публикации в газетах, журналах, выпуски сборников поэтов и прозаиков русского зарубежья, участие в книжных салонах и выставках.

Именно приверженность общему делу и чувство нравственного долга называет основными чертами русского интеллигента издатель книги Дмитрий Ивашенцев в замечательной вступительной статье к ней, приобщая Рене Герра к русской интеллигенции, этому «цементу, скрепляющему единство не только России, но и *русского мира* в целом».

В книге Р. Герра лики и лица России образуют русский храм наподобие Петербургского «Храма на крови», который в любую минуту, когда проглянет солнце, может обернуться русским теремом с затейливыми башенками, каждый раз новыми и неожиданными... Невозможно прокомментировать каждого героя или событие, описанные Рене Герра, но по личному впечатлению настоящим откровением для авторов статьи стал раздел, посвященный Сергею Ивановичу Шаршуну, поэту и «художнику-музыкалисту», как он себя называл. Тщательно отобранные репродукции работ убедительно подтверждают слова Герра о родстве абстракционизма в изобразительном искусстве и музыки. Сильное впечатление производят работы Сергея Чехонина, известного агитационным фарфором в советский период его творчества. В Париже он занимался в основном книжной иллюстрацией и оформлением спектаклей балета Веры Немчиновой. Эти работы и миниатюры (в частности, портрет В. Немчиновой) свидетельствуют о новом этапе в творчестве художника. Согласно книге Герра, для балета Немчиновой, замечательной продолжительницы традиций Русских сезонов Сергея Дягилева, работали многие художники русского зарубежья. И автор не упускает случая сказать доброе слово о Вере Немчиновой и Матильде Кшесинской не только как о великих балеринах, но и как педагогах, утверждавших традиции школы русского балета в Европе и Америке.

Большое внимание автор уделяет судьбам тех, кто вернулся, судьбы некоторых возвращенцев в значительной степени известны и нам, «простым советским людям», иные из них вернулись добровольно (Сергей Прокофьев, Куприн, Марина Цветаева, Вертинский), иных привезли в наручниках (Тимофеев-Ресовский, Шульгин, Краснов), автор рассказывает нам о Владими́ре Сосинском и художнике Николае Глущенко, но, говорит он, «разговор о судьбах реэмигрантов может быть долгим». (Мы были знакомы с некоторыми из возвращенцев, например с авторами интересных «Воспоминаний» о русском зарубежье Ириной Одоевцевой и Татьяной Ивановной Лещенко-Сухомлиной, мужьями которой являлись известный деятель русского революционного движения Сухомлин (автор воспоминаний о том времени «Детство на Каре»), и скульптор Цаплин, наследие которого вернулось в Россию.

«Эмиграция» отошла в прошлое» в конце 70-х, тогда же закончилась и периодика...

Но о какой эмиграции мы ведем речь?

Прежде всего об идеалистах и мечтателях «Первой волны», эпохи Гражданской войны и начала двадцатых годов.

Но была и «Вторая волна», растянутая во времени, это беженцы из советского лагеря, одни из которых были красными, другие белыми, в частности Федор Раскольников, Евгений Замятин, Солоневич, да и некоторые еще уехали на Запад вполне легально как советские граждане, например, великие скульпторы Коненков и Цаплин, знаменитый генетик Тимофеев-Ресовский, а многих переместила на запад война (это те, кто не успел уехать вовремя – Иванов-Разумник, например). (Но о значительной части вынужденных эмигрантов Второй волны речь не идет, например, о беженцах из оккупированных областей и о миллионах советских военно-пленных, хотя среди них были и яркие деятели культуры).

Эмигранты Третьей волны, 60-х – 80-х годов (некоторые из которых были вынужденными), в основном существенно отличались от первой русской эмиграции (продолжившей, по мнению Р. Герра, русский серебряный век на Западе), хотя (хотя среди них, говорит нам автор, встречались и достойные: Войнович, Виктор Некрасов, Солженицын, и др).

Однако если эмигранты 1-й волны покидали Россию с любовью, и их ассимиляция происходила в течение 50 лет; то эмигранты 3-ей волны, диссиденты, уезжали (или бежали) на Запад с ненавистью к России, их дети ассимилировались за 10 лет.

Но были и эмигранты 4-й, экономической волны, приехавшие, как пишет Рене Герра, «за колбасой» – они вызывают у него презрение. Эта эмиграция, начавшись в злополучные девяностые годы, продолжается до сих пор. О ней мы более упоминать не будем.

Рене Герра свою историю Русского зарубежья заканчивает так: **«Русская эмиграция завершила свое великое дело и сделала даже больше, чем могла».**

II

КОГДА МЫ В РОССИЮ ВЕРНЕМСЯ?

Георгий Адамович

Когда мы в Россию вернемся... О, Гамлет восточный, когда? -
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...

Большница... Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду,
Как будто 'Коль славен' играют в каком - то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предугрешней мгле
Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и трогаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Тема *возвращения на Родину* «эмигрантов Первой волны» проходит сквозь всю книгу Рене Герра, эта тема мучительна не только для них, остро переживающих и любовь к России, не так как мы, российские "обыватели-интернационалисты", «праздно-болтающие иногда о ней, но не наполненные слезами и страстью» (надеюсь, читатель еще не забыл "воинов-интернационалистов" и семидесятилетний пафос борьбы за освобождение поработенных стран, о чем нас почти никто из них не просил), и разлуку с нею, которая стала подлинной жизненной трагедией для них всех – но эта тема мучительна и для небольшой части русской интеллигенции, произрастающей в своей стране, но еще хуже, чем на чужбине, – русских отщепенцев, к которым я имею честь принадлежать.

Выдающиеся явления культуры не принадлежат только культуре как таковой – прежде всего они глубоко национальны (несмотря на многочисленные заклинания космополитических либералов о всеобщности культуры), во-вторых, они глубоко личны, то есть пропитаны началом личности и личной судьбы. Культура русской эмиграции, особенно той ее части, которая произросла во Франции, оставалась чисто русской, хотя и повлияла на французскую жизнь и культуру (о чем рассказывает и Рене Герра), и не удивительно, что она родилась, развилась и умерла почти так как живет и умирает человек – хотя одновременно она стала и бессмертной, как бессмертен гений (который, по слову Пушкина, «весь не умирает»). Но она лична еще и по связи ее с читателями и зрителями, с теми, кто как крестьянин вышел на ее ниву, чтобы питаться ее плодами.

Знакомство с нею – это не времяпрепровождение, не развлечение, это «жизнь и судьба», как для Герра, так и для меня, так и для тысяч других, с некоторыми из которых я знаком.

Удивительно или нет, но «явлением русской культуры» стал и сам Рене Герра с его более чем полустолетней **миссией** собирания, сохранения и распространения культуры русской эмиграции, и его воистину великая Книга. Поскольку всякое законченное явление культуры в целом *личностно*, представляет собою «жизнь и роман» отдельного человека, любовный роман, то данная статья не может оставаться только очерком и впечатлением от книги, но непременно должна быть и рассказом о втором герое любовной драмы «культура + личность» (как и во всяком рассказе, где речь идет о творчестве отдельного автора, мы соединяем автора с его творчеством, они словно бы женщина и мужчина в их союзе), то наследие русской эмиграции творчески соединено с миссией человека, к нему присоединившегося. Читатель точно так же воссоединяется с культурой, его духовной родиной – ибо культура – это духовное Я нации и личности, вот в каком смысле я и утверждаю, что культура живет через общение и союз с личностью. Чтобы быть более понятным, снова вспомню великого собирателя русского вокала, моего духовного наставника и старшего товарища Юрия Борисовича Перепелкина, в коллекции которого центральное место занимали Шалапин, Смирнов, Плевницкая, яркие представители русской творческой эмиграции. Культура постоянно связана с такими людьми, которые ей необходимы так же, как авторы-созидатели. Через века из античности дошел до нас образ Мецената, имя которого стало нарицательным, а Россия помнит имена Третьякова, Саввы Мамонтова, издателей Сабашниковых, Сергея Дягилева, Лифаря... В этом славном ряду почетное место занимают и наш старший современник барон Фальц-Фейн, ныне житель Лихтенштейна, родившийся в 1912 году в России, родственник Достоевского (о нем смотри в журнале Мъра, который я издавал в девяностые годы) и наш современник Рене Герра, истинный француз, ставший великим русским!

Культура не существует без ее создателей – но она не существует и без собирателей, издателей, организаторов выставок, концертов, театров, критиков и редакторов, ученых исследователей и учителей, преподавателей музыки, рисования, языка и литературы (да и сама судьба и миссия Рене Герра тесным образом оказалась связанной с той русской женщиной, которую его отец, директор гимназии, учил немецкому, и которая его научила русскому языку).

В девятнадцатом столетии было модно увлекаться «простым народом», противопоставляя его дворянству и интеллигенции, как это делал Лев Толстой, так что казалось, что в России живет два народа, один из которых от нечего делать занимается культурой, а другой богоносный, живущий подлинной жизнью (это уже идеи Достоевского. Но оглядываясь на историю трагического и горестного для России двадцатого столетия, мы видим, что великий русский народ (подлинно великий в том числе и через свое крестьянство, хотя и другое крестьянство, чем его представляли Толстой и

Достоевский) разделился уже на три народа: **советский народ** (те *советские люди*, к которым недоверчиво, отчужденно и часто презрительно относится Рене Герра – и справедливо!), **русская эмиграция** (та, подлинная, связанная с Белым движением, с некоторыми добавлениями из более поздних волн эмиграции), ныне уже почившая, и **внутренняя эмиграция**, **народ отщепенцев**, который нельзя путать с диссидентством, хотя этот народ не менее яростно по духу противостоит и советской власти, и ленинско-сталинской кровавой тирании, и современной воровской растленной власти, и мешанству, которое было клеймено и Горьким (ярким его представителем) и Маяковским (может быть, не менее ярким), и Ивановым-Разумником... Наше родство, русских отщепенцев, ближе всего к русскому зарубежью, наследие которого призван сохранять Рене Герра, к российскому серебряному веку, к тем представителям русской творческой интеллигенции которые духу советизма противостояли не всегда явно (Вл. Солоухин, Тендряков, Шукшин, Арсений Тарковский и его знаменитый сын Андрей, Виктор Некрасов), к тем ее представителям, которые осмелились восстать против марксистского дурмана (Солженицын, Шафаревич)... Но ныне "всё смешалось в доме Облонских" и трудно отделить врагов от друзей, может быть, пришел последний час, поэтому я протягиваю руку и нетребовательному *читателю* (все же он еще умеет читать), и *нечитателю* (все же он НЕ читает не только меня, но и негодяев), обывателю (все же он не рвется в комсомол и в Думу, ... тем, кто отдал свое сердце России и русской культуре, как Рене Герра, протягиваю свое сердце, самый трагический человек современной России, чужой среди коммунистов и христиан, среди либералов и космополитов, иногда и среди народников, слишком воспевающих бересту и квас; чужой иногда и среди друзей, подлинно свой детям и блаженным... Но когда же я вернусь в Россию, которую я буду любить как вернувшегoся *блудного сына* а не как несчастную *загулявшую мать*?

Но почему я так много пишу о себе? Потому что главное чувство, которое меня привязывает к другим, это любовь – а она слишком *лична* и мало *общественна*. Я смотрю в культуру как в зеркало и часто в нем вижу себя. Но зато я постоянно смотрюсь не только в себя, как Сократ, но и в Культуру... как Савва Мамонтов, Иван Цветаев, Зимин, Эдуард Ник-ич Фальц-Фейн, Юрий Борисович Перепелкин, Михаил Андреевич Гневушев, и ныне здравствующий и деятельный, живой по французски и страстный по русски Рене Герра, Книгу которого я продолжаю читать.

С трудом отрываясь от чтения, понимаю как точно ее название: «О русских – по-русски»!

VI. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

РАЗБОРКИ НА ТРОИХ

Александр Медведев

1. **Так говорили преды...**

О новой книге В. Меньшикова.
«Предыдущий оратор»

2. **Ольга Мальцева.**

ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СТИХИ



АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

ТАК ГОВОРИЛИ ПРЕДЫ...

*По поводу книги Вл. Меньшикова *Предыдущий оратор*. СПб, 2018, лирика*

1

Книга Владимира Меньшикова «Предыдущий оратор» двухчастная: «Поэзия» и «Проза. Дневник. Критика».

Несмотря на жанровое разнообразие, книга цельная. Обе части сплотил лейтмотив: *«Есть в народе моём злые, тёмные силы, / Есть немало в нём светлых таинственных сил»*. Фраза – ключ книги. Непростой. Он то дверной, а то консервный, скрипичный или телеграфный, разводным вдруг обернётся, золотом блеснёт и затаятся шифровальным.

Название имеет отношение к обеим частям издания: Прозаик, Хроникёр и Критик присоединяются к Поэту и продолжают своими ключами «в своём массивном красно-коричневом блокноте» лирического героя, «политизированного литератора», вскрывать различные образные – двери, банки, бутылки, конверты, партитуры старых песен о главном... Кто знает, где и в чём откроется путь к сердцу читателя. Попробуй, найди его сегодня! Спрятан, что к сердцу Кошеч по системе inferнальной матрёшки.

Да и себя автор шифрует-кодирует, страху нагоняет.

«Кратко: я – писатель-язычник, боевой крестьянский поэт, законченный националист, когда доводят до крайности – то фашист. Как язычник-зверопоклонник и оккультист попробовал ровно в 2000 году через свои поэзию и прозу начать личный поиск Зверя. Он у меня другой, он прежде всего Русский, бесстрашный и бескомпромиссный – именно в таком возникла острая потребность у нашего загнoblённого народа.

(...) Зверя не нашёл, сам Зверем не стал, а сделался таким мелким хищником, мелким мстителем».

«Фашиста» даёт без кавычек. Надеется, что не истёрлось в оперативной памяти населения РФ, что в начале 1990-х новоявленные «демократы» вдруг разглядели в совестливой части народа нашего – «красно-коричневых» врагов свободы и общечеловеческих ценностей? Нескоро забудешь, как в 2000-е хлестнуло с экранов ТВ: «русский фашизм страшней немецкого». А что было? То, что народ в перестройку отдал романтику коммунизма за сказочные посулы прагматиков капитализма.

Всё, увы мы сдали без борьбы.

Коммунизм был людям не по росту?

Не прошло и двух лет, опомнился народ, метнулся было в 1993-м романтику ту вернуть:

Так вздымайся, трудовой народ

Сельского и городского «низа»,

До марксистско-ленинских высот –

Вровень со вселенским Коммунизмом!

И тут же получил клеймом калёным – фашист.

Как говорил Сергей Курёхин, – а его, в данном случае, отнесём к когорте "предыдущих" оккультных (таинственных – лат.) ораторов", – если ты романтик, жди, тебя назовут фашистом.

Да хоть горшком назови!.. Народ наш – народ-художник, а художника, знаю дело, обидит каждый. Не обидно разве, когда нацистов с коммунистами равняют, да так в этом преуспели, что находятся в России(!) молодые особи, сочувствующие немецким захватчикам, оставшимся в её неласковых снегах?

Владимир Меньшиков из тех поэтов, кто не может снести обиду, не за себя, за Державу и народ.

Я – Меньшиков, но с большевистской
Партийной книжкой в кобуре.

Скромно, не «сто томов моих партийных книжек», но не в количестве дело, и один в поле воин. Да и не верит поэт, по большому счёту, что один он – *«Зорь вечерних марксистские алости / Я с завалинки вижу сейчас»*. Коль только он это продолжал бы видеть, не родилась бы пост-перестроечная поговорка: *коммунизм проскочили и не заметили*. Народ силён. Эх, задним умом в том числе.

Речи-речёвки "предыдущего оратора" – Поэта – в книге В. Меньшикова лично моё сердце открыли.

Закончив сельский университет,
У нив страны я научился главному,
Что должен быть как полевой поэт
Привержен своему народу славному.

Славному и нескладному, мы всякие бываем. *Полюбите нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит*, – недаром классик слова эти симпатичному прохвосту, что на тройке лихой, в уста вложил. В разделе «Поэзия» ораторствует далеко не беленький герой, пурпур его царственный поплёк, и кумач рабоче-крестьянский пожух.

Есть у каждой избёнки завалинки.
Так садись поудобней, гляди.
Все мы здесь – созерцатели, «валенки»,
И в мечтаньях любых впереди.

Мне в табак что ль подсыпали опия?
(Отцвели маки красных знамён).
И стихи мои – это утопия,
Где Змеюги и сабельный звон?

Но не блекнет в Поэте боль и радость за народ, Россию.

Счастлив я, потому что почти всю-то жизнь
Был носителем русских народных напевов.

А напевы-то разные. Смешливые – ёрника и озорника, и раздумчиво-тоскливые – лирика двужильной лиры нашей, стон превращающей в песню.

Вокалист я и песенник разве,
Гармонист или бойкий плясун?
Я подобен здесь ладожской язве.
Я – язычник, рассказчик, хрипун.

Поколение В. Меньшикова в подростковом возрасте смотрело фильм «Неуловимые мстители» о бесстрашной четвёрке своих ровесников, по судьбам которых, громыхая, прокатилась Гражданская война. Смотрели, завидовали. Жалели – жизнь мирная, никакой гражданской войны, и не предвидится, а по-другому как себя проявить? Скажи тогда, что всё впереди, полезут изо всех щелей оборотни – белые, зелёные, голубые... начнут кромсать Россию, глумиться над народом, – кто б поверил? Теперь же, верь, не верь –

...звучит мелодия такая,
 Что охота в омут с головой.
 Только мы, себя же обрекая
 На тюрьму, возвысим голос свой!

Поэт почти и не возвышает голос. Почти. Едва сбивается с тональности иронической, хмельной, куражистой на безнадежно повисающее в сыром приладожско-приневском плотном воздухе – «До коле!?!», как тотчас сдвигает меха – и скороговоркой скоморошьей:

А за Перевозом
 Тёлки неспроста
 Выложат навозом
 Слово «красота».

А что с Поэта взять?

– А что о другом петь, «*Ежели нет спроса на вопросы / О России, людях и земле*»?

– И то правда: «Видь на Волгу (Ладогу, Онегу, Волхов иль Неву...), чей стон раздаётся?»..

– Вестимо – афро-американский! Да, Николай Алексеевич, – рок'ом преткновения развалился он в нашем скромном культурном огороде и давит последний писк стебельков родных напевов.

А ему, мужику, и не надобно песен,
 А его, Человека большого труда,
 Вдохновляж непрестанный корёжит и бесит,
 Потому что он в Деле везде и всегда.

В Деле, в делишках ли, неважно: Гитлер приказывал на оккупированных территориях ничего не должно звучать, кроме развлекательной музыки круглые сутки. Вот ничего другого и не звучит.

– Авторитет!

– Европейский выбор!

2

– В начале было упомянуто о ключе книги, даже о ключах. О разводном в том числе. С ним к каждой строчке-гаечке подход найдётся, Поэт о скрепах национальных не на шутку печётся.

– Да, в первой части книги Поэт им пользуется «железно». А во второй в руках Критика ключ нет-нет, да превращается в ударный инструмент: резьба поэтическая сорвана и – понеслось!

Бац! – «И он и она значатся в моём перечне поэтов, от творчества которых воротит, как от дешёвых спиртных напитков»!

Ещё замах и – ах! – досталось литератору, «чьи очочки да плото- и потоядная лысина отблёскивали словно фотоблицы»!

Тычок – и летит под откос «престарелая крупная тётка из Пятой колонны...»!

– Что говорить, не разводит Критик тягомотину винтовой передачи от личности писателя до его лирического героя, сводит – стиснет – губки разводного ключа и поди отцепи личность от образа! Пожалуйста:

«А Борис всё писал и писал по копоти и казалось, что будет этим заниматься до тех пор, пока не отбросит копыта. И правда, в чёрта чёрного и парнокопытного превратился на усердно дымящей трубе».

Да, Поэт как предыдущий оратор куда обходительней и деликатней, чем Критик, даже с персонами, не заслуживающими обходительности.

Все мы, по большому счёту, жалкие создания. И смешные. Что-то такое сомнительное личностное, бывает, проскальзывает и в нашем творчестве, даже когда являемся к священной жертве по повестке Аполлона.

– А если быть чуть снисходительней – к личности критикуемого? Если прислушаться к «предыдущему оратору», – а Поэту ведь тоже палец в рот не клади, – и осторожнее гаечным ключом-то, «*тактикой не очень-то законной*»? Тогда довольно верные порой суждения Критика по вопросам творческим, мировоззренческим облекутся, пусть в жёсткую, но этически приемлемую форму.

– К ссоре наших литературных иван ивановичей с иванами Никифоровичами ключ замирения подобрать трудно. Одна надежда – вода клепсидры излечит соперников, а вторая – русский человек отходчив и совестлив.

– Так, может, ну его, и не продолжать срывать гайки, скрепляющие нас, пишущих, пусть и в формальное, но всё-таки *творческое сообщество*? Кто выигрывает от нашего злословья в адрес друг друга?

– Ха! Это что-то сверх-нечеловеческое: мечтать, чтобы критика воспринималась не личным оскорблением, а чисто разбором полётов белоснежных ангелов во плоти.

– И чтобы она действительно была не чем иным, как внеличным взглядом (может, и ошибочным?) на конкретную работу автора (достойного уважения уже за то, что он автор). Короче, «Пусть сто школ спорят» – был ещё до нашей эры такой период китайской философии; или как в XX веке Мао подхватил этот метод – «Пусть цветут сто цветов». И то правда, чем плох букет из разных растений? А то, гляди-ко: *Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...*

– Но у пишущей братии отродясь такого не было, чтобы *в букете*.

– Да, не нам менять установки. У Дмитрия Кедрина сказано: «*У поэтов есть такой обычай – / в круг сойдясь, оплёвывать друг друга*».

– Так что, присоединяемся к нему, как предыдущему оратору?

– Пожалуй, отнесёмся к сказанному с юмором. Тем более, что Поэт в книге В. Меньшикова, в какое бы ни впадал отчаяние иль в ухарство, не позволил себе плевать ни на палубу, ни за борт.

Ольга Мальцева
Православно-патриотические стихи

Александрю Суворову
(24.11.1729(1730?)-18.05.1800)

*«Это один из самых необыкновенных людей века, –
великий полководец и великий политик»*

(Ланжерон)

Святой России бил челом,
В боях не знавший поражений,
Теснил врага – сам был мечом –
Непобедимый русский гений!

Для мировых Побед рождён,
Легенда Альп и Измаила!
Святой звездой заговорён –
Живая копия – Аттила.

Молниеносной, штыковой –
Сбивал атакой вражий норов.
С Победой связанный судьбой,
Но не муштрой учил Суворов:

«Немогузнайка» – вот беда
Для славы праведной России, –
«Сеть иноземных слов – нужда,
Удел ленивого витии».

Служил России, не царям,
Пред Богом – самый верный кесарь.
Не изменял былым друзьям:
Бессменны Ганнибал и Цезарь.

Кутузов и Багратион
Его урок благословили.
И ловко взял Наполеон
Науку русской мысли, силы.

Чудак Суворов был смешон
В кругу завистников сильнейших,
Но восхищался Ланжерон –
Умнейшим среди всех умнейших.

Не нужно пышности гробам, –
Просил оставить лишь три слова.
Подавал пример скромнейший нам –
По-русски: «Здесь лежит Суворов».

25 сентября 2018

Генералу Михаилу Скобелеву

в день рождения (17.09.1843-25.06.1882)

Взял от Суворова Победу.
Нёс честь и долг, достойный деду,
Отважен и душою чист,
Красив и храбр кавалерист!
Предвидя смену поколений,
Смотрел в века победный гений –
Пред ним склонилась Фергана,
Дышала миром вся страна.
Любил дельфиниумы, канны,
Он взял и Плевну, и Балканы,
Вернул Болгарию славян
И покорил весь Туркестан.
Жива легенда в русском мире:
Среди Тверской* – герой в мундире
Верхом на белом скакуне –
И вся Россия на коне!

17 сентября 2018

* – До революции 1917 года памятник М.Скобелеву
стоял в центре Москвы на Тверской улице.

Иеромонаху Андрею

Ведёт в лицейскую обитель
Дорога в Царское село.
Сей красоты большой ценитель –
Здесь Пушкин отточил перо.
Святая Сергиева пустынь,
Хранимый небом монастырь.
Здесь дух бывшего неостуден,
В гоненьях выжил русский мир.
Роняла слёзы Богоматерь,
Делила беды дней лихих.
Скорбит с портрета настоятель,
В гробницах дышит прах святых.
С улыбкой даст благословенье
Свят иеромонах Андрей,
Чтоб нам с молитвой просветленья
Быть милосердной и добрей.

17 сентября 2018

VII. НАД ЖИЗНЬЮ. СТИХИ и ПРОЗА, статьи и ПИСЬМА

В. И. Чернышев

НОВАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ



СИРОТЛИВО СТОИТ РЕДАКТОР...

1. Стремление к совершенству

28. 10. 18, *воскресенье*. Я раздражен многим в мире, иду по дороге, она в выбоинах, и только один из нашей деревни возит в багажнике ящик с песком и время от времени ямки существенные засыпает (он же единственный останавливается, видя меня идущего на дороге, и подвозит, к магазину в соседнем селе или к моему дому, если я возвращаюсь в деревню). Христиане же, слушая мою критику мира, раздраженно мне отвечают: *Начни с себя!*

Что меня отличает от христиан? Я с ними противоположен. Они знают (слышали от священника или бродячего проповедника), что мир пал, растлился, лежит во зле, и князь мира сего – дьявол. С последним я согласен, читая историю декабристского восстания и суда над декабристами и затем их наказания, я и не сомневаюсь, что Николай Палкин – дьявол, и не случайно именно он должен был стать царем, а не его брат Константин и не его сын Михаил Николаевич, который как-то сказал (значительно позже, в 25 году он еще был ребенком, что он несомненно пошел бы вместе с декабристами на Сенатскую площадь; правда, Александр Второй довершил все же дело декабристов и освободил крестьян, чем сегодняшние христиане многие недовольны). Итак, *дьявол во главе мира*, и почти каждый русский правитель поставлен дьяволом во главу России как его наместник – но так ли мир весь пропитан дьявольством? Дьявольственна ли природа, например, цветы, женщины и дети? Соловьи и соловьи, шмели и бабочки выбирают как наилучшее то же, что и мы (в опровержение Льва Толстого, который утверждал, что критериев красоты нет), и соловьи и люди заслушиваются среди поющих и шелкающих соловьев одних и тех же, *поющих красивее других* – и шмель забирается в тот же цветок, который и я вознамерился утром понюхать и погладить – более того, соседская собака заслушалась у меня на огороде Бетховена и с яростью убежала, когда я поставил что-то из современной якобы музыки (а Зоя Платоновна включала проигрыватель, когда доила корову, и та слушала и мирно склоняла голову.)

Дело в том, что **мир** хотя и **под властью нечистой силы**, но ею еще не пропитан, он пропитан святым духом, и христиане это тоже знают, и никто из них не начинает с себя, все начинают с мира, только в своих спорах со мною они ожесточенно врут. Они все время врут... Они ходят на работу, иногда даже ходят в театр, некоторые читают, даже пишут книги, выдают дочерей замуж, некоторые даже свой день начинают вовсе не с себя самого, как они мне советуют, а с того, что звонят мне, долго обличают, и потом советуют ничего в мире не изменять, ничего в нем не обличать, а начинать с себя и потом идти и идти вдоль себя самого, пока не наступит время строить гроб. Дав мне нужные советы, христианин заводит автомобиль, копает огород, ремонтирует дом, мчится на работу, работает, едет в школу перевоспитывать сына и преподавателя сына, мчится домой, порет сына, ругает жену, ругает меня, изнеможенный засыпает с газетой в руке, ругая запад – на самого себя у него не остается времени... (он, кстати, в свободное время пишет книгу, в которой рассуждает о *воскресении* заблудшей падшей девушки и заблудшего некоего князя, который ее в молодости заблудил).

Но вот что странно: отказываясь *начинать с себя*, и утро начиная с того, что сначала колю дрова, потом затапливаю печку, потом кошу траву, пока жена начинает готовить завтрак... во всех своих книгах и разговорах *я начинаю только с себя*. Ни разу я не начал так: вот Лев Толстой делал то-то, и давайте, братья, начнем подражать ему... или, вдохновясь проповедями Христа, я не воскликнул: возьмем-ка, братья, каждый свой крест и пойдём **ЗА** Христом! – нет, я помню, что самый ревностный христианин, апостол Павел, НЕ женился, не рожал детей, предал свою народную религию (иудаизм), и доказал в конце концов, что и Иисус, заявлявший, что **пришел спасти свой народ**, пришел т а к и к язычникам, а не к евреям; поэтому рассорился со своим народом, и, бывший когда-то «евреем из евреев», создал себе новый народ – христиан – а так как я «русский из русских», и хотя иногда ненавижу Россию, но «валить» из нее на Запад не собираюсь (если только не в Сибирь по этапу); и я помню, чем окончил свое прозрение Кьеркегор, подлинный христианин: прозрев, став подлинным, он швырнул обручальное кольцо к ногам невесты своей прямо на помолвке и убежал и прятался от нее, и написал множество книг, как начинать с себя (но **к другим**, а тем более к Регине, он уже не вернулся).

Открыл Бердяева. Этот пишет, что надо стремиться к **идеалу**, хотя и недостижимому, не обращать внимания на поступки христиан, хотя бы они и были инквизиторами, их поступки никак не связаны с идеалом, хотя бы и были продиктованы стремлением инквизиторов побудить нас стремиться к сему идеалу ... все хорошо, ребята, я исправлюсь, только не забрасывайте меня камнями в своем рвении, **начиная с меня**.

Кстати, у меня идеал есть, и я его помню всегда. Во-первых, это многообразная и часто грешная Россия, с ее грешными поэтами, с ее грешными и ужасно малодушными декабристами, с их святыми женами, малодушных мужей, которые думали, что были христианками, но ни одна не начала с себя, а только с мужа и с детей (меня, в частности, чрезвычайно умилило, как они учились готовить своим мужьям обед, сверяясь с поваренными книгами, которые привезли с собой)... с ее грешными и иногда пьяными «мужиками и бабами», которые все же меня иногда дочитывают до 17-ой страницы (а *редкий писатель долетает до середины моей статьи*)... и вторым идеалом является семейная пара, **Иван да Марья**, это отец мой и мать. Учítывая, что отец мой ушел на войну, прощаясь с женой, моей будущей матерью, ночью, а я родился *ровно через девять месяцев* (сверьтесь с метрикой) после этого, то не родился ли я как бы и «беспорочно»; учítывая, что с войны он уже не вернулся, оставшись на Безымянной высоте, и воевал мужественнее маршала Жукова, которому вы поставили памятник, хотя маршал неудачно наступал подо Ржевом (оставив там полтора миллиона наступавших вместо себя), а отец мой **с своей высоты не отступил...** но есть еще более зримый мой идеал, это моя святая матушка, крестьянка Мария, родившая после меня еще четверых детей (не считая абортóв, о которых она плакала – а как их могла бы я прокормить, спрашивала она меня, когда даже мерзлую гнилую картошку по воле Сталина я несла прячущись с поля уже копанного огородами?)... она

оплакала и похоронила и двух уже взрослых своих детей, не донесших свой крест, приезжала и на мою каторгу, и вместе с моей женой декабристкой они меня поддерживали и утешали (все же и я был малодушен, как декабристы, тоже). Но как это ни удивительно, но и *в себе я тоже нахожу идеал*, и он состоит в том, что я НЕ начинаю с себя свою повседневную жизнь, она представляет собою гонку за поездом, и то я правлю чужие статьи и книги (**редактирую мир**), то горячусь в собраниях критиков и поэтов, то тащу узел с собранным моими товарищами барахлом для заброшенных чужих деревенских детей, то обустроиваю свой деревенский дом (так же надо обустроить Россию, жаль, Александр Исаевич не приехал ко мне в гости на него посмотреть – а он был ко мне расположен и даже меня защищал от злых большевистских опричников.)

Уф...

Вот я и начал с себя.

Но темой сегодняшней проповеди является нечто другое: есть ли критерии добра и зла, красоты и обыденности, хорошего и плохого, совершенного и несовершенного. (Кстати, я понимаю, что сам далеко не совершенен, даже писать хорошо и **содержательно** (*существенно*, по Киреевскому), еще не научился – но я спешу, потому что времени мало, боюсь, что даже камнями меня закидать мои друзья меня не успеют, как бы мне не умереть раньше этого собственной силой.)

Итак, есть ли критерии **красоты**, разделяющие бытие по форме – или «*кому что нравится*», как утверждал в старости граф Толстой (хотя в молодости 19 раз переписал «Войну и мир», достигая совершенства – и – достиг, как я уверен!) (Кстати, на великолепном экземпляре первого издания «Воскресения» рукою Софьи Андреевны были тоже исправления, и мои знакомые девушки, в числе которых была и Блоковская Незнакомка, воскликнули единодушно, разглядывая: «Да, это *Софочкин* почерк!» Шмели и соловыхи безусловно доказывают, что такие критерии включены во всю природу, а тем более в человека, и "религиозное" отношение к жизни и миру, сосредоточенное в страшно узких проповедях апостола Павла, втиснутых в ненависть к миру, вовсе **НЕ религиозно!!!!** Переполненный рассказами о чудесах Новый Завет менее религиозен, чем рассказы Пришвина о природе, чем стихи Пушкина или Лермонтова о любви, чем пролетающие в небе курлякающие журавли, и две недели назад над нашей деревней пролетели целых двенадцать клиньев, посылая мне привет с неба.

Объявить свое учение религией (или квинтэссенцией науки, что то же самое), а себя объявить Сыном Божиим или вождем прогрессивного человечества или Мессией (да скорее *я – мессия!* – воскликнул Баркохба, вождь иудейского восстания против Рима) – это избитое место истории! Разве Нерон не был самым выдающимся актером? Разве Маркс не открыл окончательные законы бытия для всего человечества, которые теперь уже надлежало лишь слегка дополнять (а Великий Инквизитор у Достоевского даже Христу заявил, что тот не имеет права что-нибудь к ним прибавлять или убавлять – впрочем, до Никейского собора включительно свод Священного

Писания и содержание текстов переписывалось ... трудно теперь уже сказать, насколько... и что в действительности говорил Иисус, сын Марии, возможно, при этом, не умевший писать, нам сегодня постигнуть не так просто...)

Но да бог с ними, марксистами, большевиками, сталинистами и христианами, после того, как они заявили, что улицы Афин уставлены *идолами*, что математика внушена бесами, что Гипатия и Жанна – враги человечеству (как и генетика, империалистическая лженаука), что культура и знание противостоят вере, и Пушкин менее значителен, чем московский митрополит Филарет, учивший его правильно писать стихи – на что, впрочем, Пушкин ему остроумно заметил, что если ты, мой друг, шьешь сапоги, то и *суди не свыше сапога!* – после всего этого не надо ли нам скромно разделить по секциям, встречаясь лишь в коридоре, для них театр – их храм (в котором все лучшее – от живописи, музыки и зодчества, что ничего общего не имеет с верой, а для нас даже и жизнь – это театр, философия, литература и музыка?

(Надеюсь, что мои друзья-язычники меня отобьют от разъяренной толпы фанатиков с факелами).

Нет, есть и еще очень важное и очень ценное, еще более важное и ценное, чем даже небо с журавлиными клиньями – это ПОЧВА. **Я – почвенник**, как и подавляющее большинство русских поэтов и философов (как можно было подумать и об Иисусе по его первым заявлениям, хотя и высокомерным в отношении чужих, не "ближних" (этрусских, русских и самаритянских), и славянофильско-христианские слова Кошелева, что *без православия русский народ – это дрянь* (как думали и Аксаковы, "дети") – то же самое, что вся история отношений христианства к еврейству (из которого оно выросло).

Но речь я хотел вести о **критериях**. И я к ним возвращаюсь. Если религия противостоит и красоте и культуре, если человек – это порочное ничтожество, то в религии не может содержаться критериев, оценок человека и культуры, то более Знания в его специфическом качестве творчества, сознания и интуиции, исследования, житейского опыта, противостоящих слепой вере. Критерием является **человек как мера всех вещей (по Протагору)**. И так как о Боге мы знаем только через человека, через его устные и письменные свидетельства о его религиозном опыте, через его видения, через его экстатические состояния, через его опыт жизни – в мире, в пустыне, в тюрьме (ибо Бога никто никогда не видел, о чем говорят и апостолы, и Бог лично не приходил на суд к кому-нибудь из пророков и проповедников, даже к Жанне... даже к Христу... точнее говоря, к Иисусу, назвавшему себя Христом, Сыном Божьим) – то свидетельство и критерий истинности или неистинности, высоты или низости всех учений, как о боге так и противобоге, как о любви, так и ненависти, как о природе, так и об искусстве находится в человеке, и человек является мерой не только всех вещей, но и всего неведущего.

Но что является критерием самого человека?

Если этот критерий в Боге, то мы не вырвемся из порочного круга, по которому и движется богословская мысль, отвергающая и научное и философское знание, и Культуру в целом, в частности искусство и литературу, в частности поэзию.

Киреевский говорит, что человек *двойствен*, разделён, не целен, и хотя и стремится к цельности, но никогда ее не достигает, а если отчасти достигает, то уподобляется *общечеловеку*, общему месту, космополитическому прохожему, в котором нет ни русского ни француза, ни мужчины ни женщины, ни истории ни современности, ни христианина ни язычника. Так в точке нет ни прямой ни окружности, ей надо хотя бы раздвоиться. И человеку, чтобы хоть что-нибудь понять о божестве, надо отпасть от древа господнего, на котором он торчит безмозглым листом (к чему и стремятся христиане, о чем они видят сны, называя их *воскресением*), иначе говоря, надо человеку оторваться под воздействием октябрьского ветра, ПАСТЬ, И тогда он взглянет окрест себя, и душа его страданиями человеческими исполнится, и увидит он себя, человека, и бога, и мир (или лес с деревьями, на которых висят еще листья).

Но что человек увидит в самом себе?

Он увидит свою двойственность (или множественность), и во всяком случае увидит, что человек состоит из двух основных начал: начала **личности** и начала **народности** (так говорит Киреевский). И если то, что он думает и делает и творит, хотя бы отчасти **существенно**, то в его творениях мы обнаружим личность и ее свойства, то есть и «пол и характер», сословность, происхождение, жизненный опыт... и так далее. Мы увидим, что человек способен к суждениям и оценкам, в которых участвуют **1)** его врожденные задатки, следовательно и происхождение и воспитание, дворянство или крестьянство и так далее; **2)** его пол и возраст, мужчина он или женщина (ибо они по разному пишут стихи и по разному их переживают), дитя или взрослый; **3)** образование и культура (не правда ли, даже учитель и ученик по разному оценивают то или иное литературное произведение, критик или обычный читатель, переводчик, историк литературы, философ) – как скоропалительно и пусто мы спорим о достоинствах даже одного стихотворения, например, Пушкинского «Пророка», не учитывая, что это переложение текста из Корана, написанное гениальным поэтом, уже зрелым, «томимым духовной жаждою», уставшим от жизни и ее опустошенности – тем более, спор безмыслен, если мы сами не проходили уже этим путем, не мучились поисками **Откровения**, не слышали Римского-Корсакова и голоса Шаляпина, не прочитали тысячи и других книг... м-да...

Но есть еще одно качество, которое есть не у всякого, это **вкус и мера**.

Разве не слышали мы: *она безвкусно одета...* или: *она одета изящно, у нее великолепный вкус*, или: она поет как ангел, *ее слух божествен*? И так судят обычные люди, люди толпы, школьницы о своих подружках, студенты и школьники, сидящие на хорах в филармонии. Значит, способность оценивать, притом способность, которую принимают как должное ВСЕ (безвкусно одетую разве не вся уличная толпа оценивает одинаково, на красивую, очень красивую разве не все мужчины оборачиваются?) – вмещена в каждого, так же как каждого можно научить различать холод и тепло, добро и зло (а добро и зло различают все звери, и все птицы, и о чем тут спорить, что дескать кому как нравится? У нас жила кошка 20 лет, и что, она не чувствовала, не понимала, что хорошо и что плохо? Всё чувствовала и всё понимала.)

Но мы пока учли то измерение человека, которое является его личностью.

А ведь в него вмещена еще **народность**, он русский или француз, негр или китаец, еллин или иудей, Пракситель или апостол Павел. Семитские народы чуждались **изображений**, выражение «*не сотвори себе кумира*» было для них НЕ метафорой, а буквальной основой мировосприятия, и мы знаем, что даже история христианства сохранила в себе противоборство иконописцев и иконоборцев, и о каком боге мы спорим с иудеем, если мы, православные, бога видим на фреске или иконе Рублёва, а у иудея даже Иаков боролся с Богом, его не видя!

И, разумеется, «Слово о полку Игореве» или джазовые импровизации для негра и русского прозвучат по разному, поэтому о них лучше не спорить, точно так же как не стоит спорить о японской музыке или о песнях кочевников (я их слушал, и что-то слышал, как слышу я что-то музыкальное и в шуме ветра...)

Но оценки произведений литературы нам важны не только в наших повседневных обменах любезностями с соседом в метро или собутыльником в подворотне, приходится спорить на семинарах по литературе, в школе и в институте, в показаниях следователю, в Заключительном слове перед объявлением приговора (как приходилось и Джордано Бруно и Галилею, и Пушкину перед царем по поводу Гавриилиады, и русскому писателю большевистской поры, избирающему служение, и мне самому на суде).

Да и в статьях и в книгах, посвященных культуре, например, в своем «Призвании литературы» я не только оценивал литературные явления, ставя им оценки, но и сравнивал их и распределял по табели о рангах. Не для суетных восхвалений мне важно было ДОКАЗАТЬ гениальность Пушкина и равную гениальность Лермонтова, нет, сопоставление их относилось к сущности и утверждению моей собственной жизни и ее смысла, например, в споре с Филаретом и историком русской литературы православным Дунаевым: если они правы, вычеркивая Пушкина и Лермонтова из русской поэзии, то и моя собственная жизнь ничемна, я не так жил, не с тем народом, потому что НАРОД, отвергающий великих русских поэтов, и я **отвергаю**. За Есениным я повторяю: *Не надо мне рая! Дайте мне мою родину! Она мне важнее! Это не суета сует, эти оценки бытийственные* (как говорит Розанов), за них надо жить и умереть (как за честь жены и детей). Слова Толстого о ненужности поэзии, о ее легковесности, о ненужности музыки и театра – это тот самый вывод, который его привел к смерти: Толстой отверг культуру вслед за иудейским Богом, пошел на грязную железнодорожную станцию и умер, то же, что самоубийство Анны Карениной – бросился под поезд, сжег второй том Мертвых душ, отрезал от самого себя, от жизни, от мира, от собственного народа – во имя ПУСТОЙ абстракции, того Бога, в котором ничего нет. Я не говорю, что нет Бога – я говорю, что Бог, противостоящий жизни, стоящий вне жизни, вне ее страсти, наполненности, вне ее **синтеза личности и народа**, вне **истории** – это *противобог!* (Я не называю его *антихристом*, потому что это Розанов высказался так, что **христианство – это религия смерти**, а **Христос – это Денница**.)

Но, правда, не следует ли отсюда, что обещающий спасение, Спаситель (Христос), уже логикой своих обещаний оказывается обманщиком, может быть, не желая этого, и спасение его ложно (потому что ложно само учение, низводящее мир до антимира, до «царства диавола»).

Но если Иисус из Назарета – лишь помыслил себя сыном Божиим, и не был его посланником, то он сам невольно обманувшийся и невольно обманувший своих учеников, он «вместо бога», «вместо спасителя, то есть Христа, и потому сам «анти(вместо)-христос (спаситель)». Таким образом ожидания Спасителя тщетны и всякий, объявляющий себя спасителем, является ложным спасителем, то есть вместо-спасителя, то есть «анти-христом», и сам Иисус Христос, по мысли Розанова, и не может быть никем другим, нежели денницей, ибо Христос, отвергший искушения «духа зла», отвергший власть над миром, которую ему этот дух предлагал, на деле всю эту власть и получил, **даром**, ибо христианство завладело душами людей и церковь христианская завладела миром.

Но надо вернуться к основаниям, на которых зиждутся наши противопоставления совершенства и несовершенства, **красоты** и «невзрачности», «обычности», речь шла о **критерии**, о признаке, по которому мы оцениваем или отделяем одно от другого (из лат. *critērium*, восходящего к греч. *κρίνω* «разделяю»). Есть ли такой признак, такая мера, такое **различение**, с помощью которых мы можем точно установить, что верно, что неверно в наших бесконечных непродуктивных спорах, в наших оценках явлений культуры, – или «кому что нравится»? Установить так, как устанавливаем в математике, в которой *сходимость* ряда устанавливается **неоспоримо** (или *интегрируемость*, или *непрерывность*, или *монотонность*? Логарифмические таблицы одинаковы и при социализме и при капитализме (и нет "социалистических таблиц логарифмов"), и я надеялся, что и философия почти то же, что математика, неизменная в уме европейского и китайского математиков, и нет марксистской философии или христианской, как нет марксистских или христианских минералов, христианских камней, рек, пустынь, рыкающих или молчащих львов... И когда мы перечисляем выдающихся деятелей европейской культуры, то произнося скороговоркой Пифагора, Евклида, Гипатию, Зенона, Аристотеля, Платона и Вергилия.. Сервантеса, Данте, Свифта, Пушкина, Лермонтова и Толстого, мы не опасаемся, что кто-то схватит нас за руку и из этого ряда выбросит хотя бы часть привычных имен, а вставит **вместо них** Хвостова, Булгарина, Троцкого и Ульянова. Но ... так как человек двойствен, и в нем начало личности соединяется с началом народности, а еще и с историческими течениями (вроде Гольфстрима), то есть с сословием, религиозной и партийной принадлежностью, то... **математическая абсолютная мера есть**, но она отчасти призрачна, она расплывчата, двойится и тройится, и к ней надо применять такую же не совсем прямолинейную логику... Снайпер должен прицеливаться точно, а не стрелять абы куда, *кому как нравится* – но и снайпер учитывает некоторые возмущения, ветер и собственное движение

(когда он движется). Критерий абсолютен, красота покоится в созвездии Ориона, а Сила в созвездиях обеих Медведиц, но .. если мне придется иногда признавать, что и крокодилы все же иногда летают, хотя и низенько, не думайте, что я признал правоту тех, кто воспринимает культуру как Хаос – нет, Культура – это целесообразно и точно и неоспоримо гармонично выстроенный Космос, но в точном здании хотя все камни и части хорошо подогнаны друг к другу, однако и самое точное высокое здание вращается, иначе оно не будет прочно. Абсолютный критерий существует, но так как даже тождество не тождественно, ибо иначе **в начальной точке движения** движущаяся точка не могла бы одновременно и покоиться и двигаться (да, кстати, не абсолютен и закон исключенного третьего – ибо как же бы тогда был прав Птолемей, согласно Писания, и одновременно прав Галилей, согласно Науки?)

Вот таковы «затруднения историка **не христианина**» (смотри Флоровского) ... но в основном они состоят в том, что я пытаюсь вместить в свою статью почти всё. Человек отрицается верующим как мера истины и мера бога, следовательно, он **отчуждается от критерия**, который отождествляется с богом (даже в делах чисто человеческих, например, в природе женской красоты, которая бога не то чтобы не интересует, но которую христианское богословие отсылает к дьяволу, и мои оппоненты человека изгоняют не только из судей, но даже из «народных заседателей», но при этом тот бог, который они воздвигают критерием **вместо** человека, обоснован Священным писанием, написанным группой лиц (по сговору или нет, я не знаю), и всё богословие написано церковными писателями, и вся так называемая христианская философия (то есть *социалистические таблицы логарифмов*) – тоже творчество человека.

Итак, я полагаю, критик, взявшийся писать о достоинствах и недостатках моей статьи, не должен мекать и екать, дескать, одним читателям эта статья нравится, а другим не нравится, а на вкус и цвет, мол, товарищей нет – нет, он должен смело брать в руки топор и требовать автора к ответу. Первый вопрос, на который отвечает критик, это вопрос о **народности** как художественной стороны произведения (язык, нравственные традиции, соответствие народным интонациям речи, историческая память – и я в защиту свою призыву Пушкина с его Гаврииладой, Лермонтова с его Демоном, Некрасова с его поэмой «Русские женщины» и жен декабристов»), так и религиозно-философской (и я сошлюсь на Чаадаева, Печёрина, Киреевского, Лобачевского, Владимира Соловьева, Александра Блока, даже на «Розу мира» Даниила Андреева... и на поэтов Серебряного века). Никто из них не вызывает сомнений в своей гениальности, следовательно гениальность удостоверяется нашим народным вкусом, отчасти нашей образованностью, свойствами личности последних русских читателей, для которых чтение книг – это словно исповедь перед расстрелом, следовательно дело исключительно серьезное, которым мы занимаемся не для развлечения, и поэтому в нашем чтении не может быть ничего случайного – это наша молитва и наше прощальное слово.

И поэтому мы должны быть твердо уверены, что критерии наши верны.

2. Удерживающий

Особенно важно мне быть уверенным относительно себя самого, я должен обосновать верность своих критериев (и их абсолютность и для себя и для других). Так или иначе, но я выступаю в качестве **поучающего**, объясняющего, исправляющего *заблуждения* – и как учитель, которым я был всегда, еще с тех пор, как в деревне читал в Правлении неграмотному народу партийную газету и одновременно объяснял им в ней непонятное (в семь лет), и как толкователь истины (а я начал ее толковать своим читателям лет с 15-ти, когда я возомнил себя писателем и начал писать стихи и рассказы).

Но в последнее время я стал ощущать себя *удерживающим*, конечно, не небесный свод, не землю, но мне стало казаться, что я удерживаю представление о существовании абсолютного критерия, во-первых; о существовании истины, во-вторых; о необходимости для русского человека *почвы и России*, в-третьих. В современном мире, в котором царствует зыбкость, призрачность, относительность и неопределенность всего и вся, я словно бы последний, кто настаивает на неизменности и абсолютности некоторых важных правил (я математик). **У человека должна быть родина, семья, свой народ и язык, культура, должна быть привязанность, которую называют религией, то есть привязанность к необходимейшим основаниям жизни** – (многие полагают, что это привязанность к богу (которого никто никогда не видел, как подтверждают Петр и Павел и даже Иаков, который с этим Богом боролся, не видя его). Я религиознее их всех, я привязан к тому, что видимо, что в наибольшей степени определяет нашу жизнь: дружба, любовь к женщине, семье, родине, культуре, народу (привязанность к народу не совпадает с любовью, иногда это любовь-ненависть, как у меня, любовь-презрение, два разных отношения к двум разным частям народа, но и – одновременно – неотделимое от обеих частей желание своему народу помочь, даже тем, кто лежит в канаве, кто в меня плюет: я тащил однажды пьяного, держа его впереди себя и обхватив сзади, потому что он норовил плываться...) *Чернь...* Я придумал сегодня ночью такую притчу, привели меня на помост для казни вместе с одним совсем негодным человеком, пьяницей, лентяем, обманщиком, придурком, да вдобавок и человеком злым, немилосердным, не способным пожалеть... и тому подобное... И судьи спрашивают у народа, кого тот просит помиловать. Народ почесал в затылке и хотя я народу совсем поперек горла, но уж тот больно плох, старушку даже зарезал за две копейки... Мнется народ. А я вижу, что если его помилуют, то позже он сойдется где-то в канаве с такой же как он, та родит дитя, которое призреют добрые люди, и дитя то родит еще, и в седьмом колене родится от них человек, который докажет теорему Ферма, которую я доказать не смог. А в девятом колене родится полководец, который в критический час остановит врага на Волге, а позже родится еще красоточка, в которую влюбится кто-то из моих потомков... Народу рассказать, что негодящий человек оказывается даже важнее, чем я, так если и поверят, поспешат того и распять, народ как-то не любит не только умников, но даже выдающихся, даже таких, от которых стоящая лоза прорастет, народ предпочитает попроще (его так учили)... да он и сам негодящий...

Бросаю монету, говорю я, выпадет орел, спасись мне, решка – ему. Бросаю монету и ловлю в ладонь.

– А жели ты совершь? – засомневался народ. «А что, разве я когда-нибудь врал?» «Да вроде нет... хорошо, открывай ладонь!»

Смотрю я, и вижу орла, но вскричал во вральном азарте – "решка, вскричал, выпала, ваша взяла!" Потому как я знал, что лучше ему спаситься, чем мне, и в этом смысле я оказываюсь не лучше даже и негодного человека.

Народ, это поле, на котором растут и рожь и овес, и пшеница и крапива, и прекрасные цветы (вроде наших декабристов или позже нашей интеллигенции, выкорчеванной народом после *народной* – хотя как сказать... – революции, и нельзя народ разделить на части, на "малый" и "большой", чернь и аристократию, как делил Шафаревич и Пушкин, а за ними и я... (хотя, правда, знает кошка, чье сало съела... и даже наркоманы, с которыми однажды сидел я в камере, спросили меня, презираю я их или жалею, и я ответил, что по большей части презираю. Отчасти только жалею... Впрочем, я сидел даже с карателями, и они меня уважали. Может быть, как-то даже любили. Ни у них не было ко мне презрения, ни у меня к ним *священного негодования*. Хотя я не христианин.) Вот теперь уместно поговорить об истине.

3. Истина и свобода.

Я настаиваю на том, что критерии есть, хотя, правда, этого я еще не доказал. Сие отчасти связано с тем, как я пишу. Я должен писать *совершенно*, может быть, *лучше всех*. Но мне это пока не удастся. Я знаю приметы и признаки совершенства, позже я их изложу. (Кстати, дьявол говорит и пишет блестяще, но люди редко готовы брать способности из его рук. Впрочем, я с дьяволом встречался, однажды он защитил меня от разбойника, а на днях, когда мы поднимались в метро, и он, пьяный, чуть не упал, я его поддержал и хотел дать денег на такси, но он отказался и поцеловал мне руку. Поцелуй этот меня поразил, он не мог быть объяснен ситуацией, и что-то в нем было странное, позже я пытался вспомнить, где его раньше видел, и вспомнил.)

Правда, относительно того Духа, который себя противопоставил Богу или восстал на Бога (или только начал с ним спорить – бывает и так в нашей жизни, что даже тот, кто робко высказал сомнение в правоте начальствующего, объявляется врагом рода человеческого – потому что начальствующие отождествляются и с истиной, и с критериями добра и зла, красоты или посредственности – а они, правда, критерии только посредственности, и что вкять ли против начальствующих или против Бога, народу едино, народ подчиняется начальникам и обожествляет начальников даже более, чем Бога... ладно, *власть и истина, декабристы и Николай Первый – об этом чуть позже...*) – итак, относительно духа, стоящего относительно Бога особняком, высказываться совсем трудно, читатель или глух, или слеп, или затыкает себе уши и закрывает глаза. Сегодня мы на Маркса и Ленина не молимся – но ведь 70 лет молились, заставляли молиться весь мир, заполонили миллиардами томов их писаний вселенную, пропитали ими логарифмы и синусы, уже от детского сада советский человек впитывал всеми порами: Ленин и дети, Ленин и история, Ленин и философия, минералогия,

кристаллография, химия, алхимия, труд и пол, погода, природа, классовая борьба и даже древние геи... Плакаты с молитвами и восхвалениями свисали даже с облаков – или вы уже забыли? Чума свирепствовала не только в мозгах, но в каждом атоме нашего тела!!! Стоило произнести чье-то запретное имя, уже надо было сушить сухари, даже о его друзьях опасно было говорить, а не то о врагах. То же самое в отношении духов. «Дух отрицанья, дух сомненья»... – стоит только произнести эти слова, и уже попадаешь в разряд неблагонадежных, отрицается сама способность отрицания, непозволительно сомнение. То же в отношении лермонтовских слов «Печальный Демон, дух изгнанья» – в них, этих словах, есть сочувствие к мятежному ангелу, за это сочувствие христианские историки русской поэзии изгнали Лермонтова даже из списка русских поэтов! (а за одно это я покинул бы дворец верховного христианского бога, в котором так оскорблена русская поэзия!) Что говорится в Библии о тех, кто посмел усомниться в правоте Создателя? Вот что пишется в ней о бывшем Первом ангеле, *светоносном*, "утренней звезде", переименованном в **дьявола** (греч. διάβολος – *клеветник*, порочащий): «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: "Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал домой?"»

Это не он ли и искушал сына Божия в пустыне? И Розанов говорит, что Иисус и получил от него все то, от чего отказывался в евангелии...

... и все же я пишу несовершенно, потому что пытаюсь в одной статье сказать ВСЁ, связать воедино все нити, развязать все ложные узлы, я боюсь, что не успею всё сказать, и люди будут продолжать нести ахиное, а меня уже не будет, чтобы у них исправить ошибки. (Кстати, совсем правильный человек уже заранее делает гроб и копает могилу. И вот мое отличие от правильных людей: я подумал, что не буду даже ДО КОНЦА узнавать, в чем смысл жизни и точно ли я во всем прав или не совсем точно? Я не против умников, но «умники из умников» – не сахар. Лучше уж я буду *русским из русских*, то есть при русском природном уме, который у меня временами есть, буду я отчасти и ... понятно...)

Главнейший из критериев справедливости всего того, о чем мы часто спорим – **истина** (или *правда*), и в удостоверение своих слов мы зываем к истине, вскрикиваем, что *сие воистину так*, или что *это чистейшая правда*. Но что же такое истина, и где она пребывает? *Разве не человек мера всех вещей?* И следовательно, разве не в человеке и пребывает истина? Нет, возражают верующие в Бога, человек – падшее существо, он заблуждается, он не может быть мериллом, критерии справедливости находятся в Боге – но не должен ли бог сам соразмерять себя с истиной? Иисус поступил проще всего, он заявил, что он и есть истина, таким образом она оказалась вмещена в него,

и теперь человек только тот может быть прав, который удостоверяет себя Христом, ссылается на Христа. Во-первых, прав тот, кому дана власть, кто «миропомазан на властвование», то есть прав император, начальник над народом и государством, иначе говоря, начальник мира или части его (хотя и говорилось вначале, что князь мира сего – это дьявол. Но памятуя слова Розанова о Христе, мы не должны сему удивляться и искать в сём противоречия).

Естественно, что декабристы, многие из которых были верующими, не посягали на власть Христа, христианства, церкви, они посягнули на власть Николая Павловича, но были разможены о камень мира сего как и сам Христос был разможен священным синедрионом и начальником его Каиафою. Но смерть Христа не послужила увещанием ученикам его, безжалостно они проливали кровь своих противников, или сеяли пепел.

Но в чем же критерий справедливости и моих слов и, может быть, слов моих оппонентов? Верующие ссылаются на Бога, и действительно кажется, что только в нем и может быть **критерий истины**, Бог незыблем, бог всемогущ, благ, справедлив (хотя временами жесток: заглянул сегодня в Легенду Достоевского, кипят грешники в котлах горячих и вопиют: Прав ты, Господи! – а что им еще остается? А некоторые провалились в вар и уже даже вынырнуть из него не могут, и Бог о них уже позабыл – Достоевский почему-то сим *умиляется*, вместе с истязующим их Богом – точно так, как Николай Павлович про некоторых декабристов тоже забыл, - хотя надо напомнить читателям, что таких массовых казней, как при вашем любимом большевистском строе, по миллиону в день, ни при каких Навуходносорах не бывало, и ни при каких самых грозных царях и богачах (хотя, правда, Николай Павлович был сволочным царем).

Итак, поелику мы все имеем разные мнения, кажется, что критерием не может быть человек, и поэтому истина и критерий от него отчуждаются в пользу Бога, незыблемого, истинного и всезнающего – ибо Бог могущественнее человека.

Но дело в том, что всё могущественнее человека, и Природа, и мир в целом, и, безусловно, могущественнее и Бог – однако все существует, появляется и познается только через человека, и поэтому человек не только является *мерой вещей*, *поскольку они существуют*, но и условием их существования. Божественный Критерий, на который ссылаются верующие, они находят в Священном Писании, книге коллективного автора, коим являлись ученики Христа (хотя к сему еще надо добавить Ветхий Завет, коллективную Книгу еврейского народа). Таким образом, критерием истинности для иудея является Ветхий Завет (то есть Книга пророков иудейских), критерием же истинности для христианина является Новый Завет (то есть Книга учеников Христа), но точно также **партийным** критерием истинности по Марксу является его Учение (которое в такой же степени не имеет права отождествляться ни с наукой, ни с коллективным разумом «прогрессивного человечества», ни с Истиной, отчужденной от "человека Протагора").

Все меня пытаются обмануть и уверить в справедливости своей частной истины, «помазанник божий», которого помазывал священник в Казанском Соборе, распоряжается не только мною, но и лучшей частью дворянства, но и всем крепостным крестьянством, да и всем совокупным народом российским как ему заблагорассудится, выдавая свои распоряжения за божий глас, в то время как на меня ополчаются все защитники победителей. Те правы, потому что они победили, у них и армия и суды, и все это вместе они выдают за голос бога и за ту истину, которая отчуждена от человека.

Однако вправе ли каждый из нас, каждый отдельный, возражая хотя бы негодяям из политбюро или синедрона, Андропову или Каиафе, или русскому царю отождествлять и себя самого с тем человеком Протагора, который является мерой вещей? (Кстати, полезно вспомнить, что когда русский царь наложил арест на состояние Герцена, русский философ-революционер с помощью Ротшильда одолел царя и истина оказалась у Герцена, несмотря на миропомазание, привязывающее к божеству только царя). Но все же лично **Я** не могу взять на себя ответственность отождествления с «человеком» Протагора. Дело в том, что в человеке, согласно Киреевскому, соединение двух начал, начала личности и начала народности, при этом народность предстает многолико – и через язык, и через культуру, и через историю (вместе с войнами и революциями). Мерию вещей оказывается человек, соединяющий и личность и народ, и этой мерой является именно человек, но не бог, потому что бог отчужден и от народа и от личности в такой же мере, в которой мы отчуждены от него. Но присваивая себе **Истину**, отождествляя себя с истиной (как Христос), я лишаю каждого частного человека **свободы** в той же мере, в которой сосредоточиваю призрачную истину в самом себе (она призрачна, потому что существуют и шахты, в которые сбрасывают царя, и подушки, которыми лишают их жизни – множество и других способов возражения истине, узурпированной одним человеком. Таким образом я принял решение: лучше я останусь с **свободой**, и поэтому я отчуждаю истину от каждого частного человека в пользу свободы. Мне достаточно знать, что красота и добро существуют, и многое говорит в их пользу, являясь *свидетельством* их истинности (то есть критерием), но никто не вправе утверждать, что таким свидетельством для кого-то является бог.

Многое говорит в мою пользу, но недостаточно, и лишь если я научусь писать совершеннее всех, свидетельства эти станут несомненными. А пока ... «дух отрицанья, дух сомненья», в одиночестве влачу я свое существование. Они же, оппоненты мои, в толпе и с толпой, и даже с ними «и царь и бог и всяческий герой» – но недолго, как правило, они торжествуют, происходят время от времени бунты и революции, и очередной Робеспьер отрубает голову только что торжествующим (казалось, навечно), истине и критериям, словно ее клеветам...

Так вот, как ни странно, хуже всего, когда торжествует истина, совпадает ли она с богом, наукой, «практикой» или истиной объявляет себя очередной властитель. Во времена, когда после горестных сомнений жизнь еще не устоялась и истина временно не приватизирована очередным проходивцем,

существует некоторая свобода. Можно дышать... даже говорить... тем, которые доказывают, что они умнее других, пока еще не отрубает головы... хотя приходится обосновывать критерии, вновь и вновь доказывать, что истина все же существует... и я ее знаю... я ее вижу, я ее понимаю лучше других... хотя убедить мне пока никого не удастся.

Нет истины, отчужденной от деятельного и мыслящего человека, отлитой в бронзе божественного откровения и самых верных в мире учений – ибо эти истины принадлежат ее толкователям и хранителям, умникам и фарисеям, или, наоборот, слепо верующим ученикам богов и пророков; или толпе, с горящими глазами и горящими факелами, беснуясь, движущейся за вождем. Но в формах синкретических, слитных с культурой, исторической памятью и самой жизнью, не отчужденная от человека, даже, возможно, от младенца, только еще научившегося говорить, она существует, она существует даже во мне, хотя я противоречу всем учениям, которые охмуряют человечество на протяжении всей истории. Увы, я еще не научился хорошо говорить, поэтому не убедителен – но я напишу еще одну книгу, в которой спешить не буду, и многие тогда со мной согласятся.

4. Диалектика.

Безмысленность спора с христианством и близкими по духу учениями.

Во-первых, не все согласны, что иудаизм и марксизм имеют духовную близость с учением, которое почти сразу же начало делиться на секты и ереси; марксизм, правда, делился тоже... во-вторых, спору я с христианами уже двадцать лет, с марксистами более полувека, мои возражения всерьез никто еще пока не обдумал, все мои оппоненты видят какую-то несомненную неподвижную картину бытия, в которой автоматически появляются возражения на все то, что я говорю. А я говорю, например, марксистам, что кроме труда по производству необходимых предметов для жизни (и множества предметов не необходимых) есть еще и сама жизнь, вмещающая многое другое помимо производства предметов, например, в ней случаются страсти, в том числе двое влюбляются. Население не состоит из работников и из владельцев производством, существует много сословий, по иному участвующих в производстве и присвоении, да и производство не обнимает собою всю жизнь. Есть воинское сословие, случаются войны. Есть купечество, духовенство, дворянство, интеллигенция, чиновники, царская власть – эти товары не производят и даже их не присваивают, но иногда им перепадает даже лучший кусок. При социализме сословия хищнически были почти сплошь уничтожены, но все же сохранилось разделение всех на нечто подобное сословиям. Существуют касты, которые и к сословиям не относятся, например, воры, проститутки, цыгане. При коммунизме, нам обещали, их не станет, но коммунизм не состоялся, самое верное в мире учение дало сбой (конец света, страшный суд и воскресение тоже еще не состоялись, но христианство держится, для бога и тысяча лет все равно что мгновение). Марксизм, правда, тоже всю нашу предыдущую жизнь объявлял предъ-историей, и хотя она не сводилась к мгновению, но словно бы представляла из себя страшный сон человечества. Но хуже всего то, что основной скрепой

этих учений является диалектика, то есть **единство противоречий**, поэтому их нельзя опровергнуть. В моем учении о *нетождественности тождества* тоже содержится оправдание *противоречия как основы и жизни и размышления* – но не до такой же степени, как у них!

Правда, в марксизме противоречия носят форму лжи и уловок, вроде того, что поймаешь палача с чужим топором, отсекающим голову не тому человеку, адвокаты сразу кричат: *не ошибается*, мол, *только тот, кто не работает*, то есть не рубит головы. В христианстве противоречия встроены в онтологию самого учения. Например, рожать детей – грех, праведники детей не рожают, но... народ состоит из грешников, когда-то они за свое бесчинство ответят. Богатые не войдут в царствие божие, но... вот тут даже я пасую: епископы все богатые, папа римский богаче всех, он наместник Бога (то есть Иисуса Христа) на земле... *но слепо должен верить человек...*

В начале двадцатого столетия философы попытались вклиниться в когорту богословов и соединиться с ними, чтобы усовершенствовать христианство, но русская православная церковь отказалась от сотрудничества и «религиозную философию НЕ признала за часть богословия», а их за христиан, но они со мною спорят так, словно они настоящие христиане. Но при этом они совершенно не знают, в чем состоит христианство... В «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевский говорит устами инквизитора, что христианство дано окончательно и так, что в нем нельзя ни одного слова ни убавить ни прибавить, и даже Христос этого делать не может – нет, они его поправляют и даже проповедают, что сейчас началась трансформация христианства и теперь Спаситель разрешит наконец и детей рожать, и даже по плотской греховной любви... впрочем, они и раньше знали, что все разрешено, хотя почему-то проповедалось, что *лучше не жениться...* Почему-то были монахи и монашки, почему-то согрешивших монашек замуровывали кирпичами в монастырские стены вместе с младенцами, но при этом центральной идеей христианства почему то считается любовь и даже утверждается, что и **Бог есть любовь**. Начинаю читать авторов, хоть понимающих иногда, что два плюс семь равно девяти, например Конст. Леонтьев поясняет, что *без страха божия никакой любви не бывает*, что *любовь вырастает из страха* – так о какой же любви речь? Да еще русские православные выдавали замуж своих дочерей против их воли, приговаривая: *«Стерпится, слюбится!»* ... – так все таки, если их Бог есть любовь, то какую любовь они имеют в виду и знает ли он сам, чему он служит по упованию православных? Критерием, позволяющим нам установить справедливость тех или иных утверждений, является во-первых и преимущественно, Священное Писание, во-вторых, история церкви, в-третьих, история народа, но есть еще и в четвертых и в пятых и т.д. Действительно, рассмотрим, например, коммунистическое учение. Его генеалогию можно исчислять от Платона, то есть от третьего века до нашей эры, и последующие века многое к нему прибавляли, в том числе и христианство, и отождествлять коммунистическое учение только с марксизмом или ленинизмом неверно. Но все же можно с оговорками, учитывая и возражения оппонентов, сузить круг источников до отдельных работ Маркса и Ленина, оглядываясь, разумеется, и на историю

партии (церкви), и на многострадальную жизнь народов, оказавшихся под пятою тоталитаризма (будет плодотворнее, если мой читатель будет оглядываться и на историю христианства, он увидит много общего и в учениях и в историях, и под властью христианского тоталитаризма жизнь народов преимущественно тоже многострадальна (чего стоит, например, то, что после религиозных войн население Германии сократилось вдвое? Да, кажется, и население Франции сократилось тоже?)

1. Если в центре христианства Христос, то существенно для оценки христианства рассмотреть личность Христа – хороший он человек или плохой?

2. Ненависть к книжникам распространяется на всех образованных и талантливых представителей нации, особенно на учителей. Ребенок плохо учился в школе, учение ему не давалось, учителя его ругали, теперь он не любит «умников» – как много я встречаю таких даже среди своих товарищей и почему-то очень мало тех, кто искренне и самозабвенно предан культуре, литературе, истории, учености (образованности), культурности (то есть пропитанности культурой). И сегодня нет-нет, кто-то с раздражением говорит, сколько можно ссылаться на Пушкина, на Толстого, на Достоевского – а на них ссылаются не потому, что они во всем превосходят других, а что в одно превосходят, а во многом более известны и узнаваемы, и так же критику того, что русская литература и философия повторяют о христианстве или марксизме одни общие места, начну я с них (хотя все ничего оригинального не говорят, все сплошь – одно общее место).

Так в чем же преимущество Христа перед другими? Был распят за свое учение? О, сколь многих они потом тоже «распяли», часто великих (а всех ли превосходит Христос величием, мы пока еще не знаем)? И 27 миллионов русских солдат тоже погибли в Отечественной войне, пытаясь защитить Родину и спасая свой народ, как Христос обещал спасти свой (иудеев), но не спас, а вызвал гонения. И простые погибали иногда не менее мученически, но не воскресли, а иные даже не были оплаканы, а некоторые и вовсе были распяты дважды, посидев в нацистском плену, были расстреляны советским правительством или посажены в советский концлагерь. Христос исцелял иных, и воскресил старого Лазаря и малолетнюю девицу – ну а врачи на фронте возвращали жизнь миллионам – не больше ли это исцелений и воскресений Христа?

Посмотрим на Иисуса из Назарета так, как смотрим мы на других проповедников и поэтов. Он кроме всего прочего накормил толпу народа, пошедших слушать его проповедь – но умерли ли бы без ужина они без Христа – а сколь же громаднее подвиг тысяч солдат, водителей грузовиков, перевозивших по Ладоге хлеб в осажденный город, многие из которых провалились на дно вместе с автомобилем?!

К семье Иисус относился плохо, особой любви не выказывал он и к ученикам, и к бывшим грешникам, прибывшимся к его группе, любви не выказал тоже. Пожалел самаритянку? А я не жалел тех, кто оказывался со мной в одной камере? НЕ кормили моя бабушка и моя мать голодных, не лечил мой дед от укусов змей своих односельчан а то и из соседних деревень?

Детей рядом с ним не было, детский смех около него не звенел, учение его было сурово и деспотично, богатых, правда, он обличил, а кесарю велел служить и поклоняться, да и рабовладельцам служить не за страх а за совесть (впрочем, большей частью все его советы и пожелания только повторяют заповеди Моисеевы из Ветхого Завета, так что никаких новых правил нравственности он не принес, и коммунисты в своем моральном кодексе дудели в ту же дуду, преимущественно фальшивую, ибо о сопротивлении злу, активном, гражданском или национальном, как у декабристов, как у Спартака, Баркохбы, Жанны Д*Арк, народовольцев речи не шло, и выступил он среди пустынь вокруг Иерусалима только как пророк иудейский – все говорит за то, что его учение призвано было оправдать несправедливость, неравенство, эксплуатацию, несвободу, притеснения, жестокость власти, оправдать рабоплепие и восхвалять угождение сильным.

Но "повинуйтесь господам своим", "жена да убойтся мужа", "кесарю кесарево", "не заботьтесь о завтрашнем дне", "пусть мертвые хоронят своих мертвецов" и прочее в этом же роде, ни слова о **любви** (между мужчиной и женщиной, между родственниками и друзьями), ни слова о **чести**, о **долге** (перед людьми и родиной, а не перед богом, которому мы ничего не должны, если он сам бескорыстно ни в чем не хочет нам помогать), ни слова о **гордости** (если только не половецкая пляска над ее личиною, называемой гордыней), ни слова о родине и **культуре** (какая родина у детей божих, а потому какая культура?), правда, у Павла бахвальство, что вот наконец-то несть ни еллина ни иудея, отменили, слили в единый советский народ, и еще о культуре, мол идолы, к тому же она внушена бесами... ну, новые проповедники мелют теперь другое зерно – но какое зерно они имеют под именем христианства или марксизма молоть зерно, противоположное тем **плеведам**? Если сказано было, что культура внушена бесами, то это уже не отменимо до самого Страшного суда)...

И чему же научил Иисус народы? (Про Маркса и Ленина – они близко – сомнений нет, они научили пролетарской ненависти, физическому уничтожению нескольких образованных сословий (дворянства, офицерства, священства, аристократии, купечества, интеллигенции), разным страшным афоризмам: *если не мы их, то они нас; если враг не сдастся, его уничтожат; революция должна уметь защищаться; не порите отсепятину* и "всякая литература партийна" (про пытающихся самостоятельно мыслить)... и самое ужасное, что понизилась цена человека, проповедовалось так, что «с точки зрения истории» человек – нуль, ничего не стоит... И миллионы бездумно бросались на гиблые прорывы в войну и гиблые стройки в мирное время, загонялись в лагеря и на край рвов и траншей для расстрелов (и с кем ни заговоришь об этом, нарываешься на ненависть, как будто весь сегодняшний русский народ сплошь дети расстрельщиков... а еще они любят требовать покаяния от евреев и латышей... или от англичан и французов, что плохо с немцами воевали... но от немцев покаяния не требуют, что внуки Канта и Гете блокировали трехмиллионный голод и ждали, пока он весь не вымрет, вместе с младенцами ...

5. Бог любви и свободы

Но ведь речь о Христе... Чему он научил немцев, вчерашних протестантов, чему научил итальянцев и испанцев, тогдашних католиков, болгар (православных)... и чему научил он русских, закопавших в землю своих священников и изгнавших за границу умников, книжников и ученых?

В эпоху его собственной проповеди, или вскоре после распятия, и он сам и ученики его проповедовали покаяние в грехах и «скрежет зубовой», который ожидает грешников (*если враг не сдастся, его уничтожат*); проповедовалось так же, что часть народа растлилась до гниения, а гниющий член отсекают (как при гангрене), и отсекали почти две тысячи лет. Но ведь самое ужасное, что отсекали и в те же дни, в которые сам учитель был распят, то есть «отсечен». Помните историю, когда ученики его стали собирать имущество для создания первой христианской общины?

«Некоторый же муж, именем Аниания..., продав имение, утаил из цены [его] и лишь некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.»

Петр обличил его ложь «не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Аниания пал бездыханен.»

«[Его] приготовили к погребению, и внесши, похоронили;

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся», Петр и ее обличил, и сказал: «вот, входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут.

Вдруг она упала у ног его и испустила дух... и великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это.»

Какой же любви научил Христос учеников своих? Любви ли он их учил?

Но дело не в учениках и последователях, дело не в епископах и рядовых христианах, а в двух истоках или почвах, из которых изливается или произрастает то, чему нас учит христианство: во-первых, та проповедь, с которой обратился к нам Христос, поелику он более уже не приходил на землю, вопреки Легенде Достоевского (или Ивана Карамазова); во-вторых, та традиция, которая передается от родителей к детям и от поколения к поколению и от народных преданий, формирующих нравственность народа; и в-третьих, те поучения, с которыми к нам обратились апостолы и те их деяния, о которых рассказано в Новом Завете, а также сама история народа, «деяния народных».

Христос обратился к нам с призывом покаяния и новой жизни (праведной или подражающей Христу), а также повторил Заповеди Моисеевы, сведя их даже к двум: Возлюбить Бога всем сердцем и всем помышлением (то есть со всей возможной страстью) и возлюбить ближних – но это уже во-вторых, и потому не так страстно (и действительно, *взять крест и пойти за Христом* – относится ли этот призыв к любви к ближним? И пожертвовать жизнью во имя Бога, отвергнув мирское и заточившись в монастырь, где уже и ближних нет, а только такие же божьи люди, подвигающиеся лишь для Бога?) Но для призывов ли вочеловечился он и стал среди нас, для повторения ли заповедей, которые уже повторяли тысячекратно до него и одновременно с ним Иоанн Креститель? Нет, у него была своя важнейшая миссия, он пришел спасти

человечество кровью своей, и при этом завершить кровавые жертвы, приносимые человеком Богу во имя искупления от первородного греха (о чем подробно разъясняет христианам апостол Павел). Кто Распятие и Воскресение ставит вторичными после проповедей, тот искажает и подменяет смысл христианства. **Христос пришел, чтоб быть распятым**, это и есть центральная идея не только Пришествия, но и самой религиозной системы, следующей за иудаизмом и поправляющей и дополняющей его. Но тогда что значит богословие, отождествляющее Бога с любовью, и сводящее его к проповеди любви? Поскольку христианство завершает Миф о грехопадении человека Мифом об Искуплении, постольку его подлинный смысл не отделим от синтеза двух мифов, и от Ветхого и Нового Заветов. Отдельно от Ветхого Завета, а значит от иудаизма христианство бессмысленно, оно завершает иудаизм. Другое дело, что иудеи не признали его за подлинного Мессию, и все еще ждут пришествия и завершения (но почему не признали? Существенны ли причины или случайны?)

Но все же *Христос пришел не для того, чтобы научить людей любви*, не для того, чтобы выступить перед ними с призывом любить друг друга (словно они и без него гораздо успешнее друг друга не любили, рожая детей, а требование отречься от этой любви во имя любви «духовной» приняли немногие, а еще меньше тех, кто так стал любить других, не мучаясь во имя такой любви и не сжигая недостойных любви на кострах.

Почему же тогда это **Бог-любовь** или Бог любви (словно оспаривающий у Эроса свое божество?)

«ибо так возлюбил Бог человека, что отдал сына своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы *судить* мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». Бог-отец так возлюбил человека, что пожертвовал для него своим сыном – но в таком случае именно Бог-отец и есть Бог-любовь (хотя до этого он был довольно таки суров, и даже странно, что вдруг к человеку смягчился, а к сыну своему ожесточился. Если только не принять во внимание, что он знал, что сын его воскреснет – в чем сын на кресте, правда, усомнился, что показывает, что Сын и Отец – не одно, и трактовать христианскую Троицу как единого Бога – большая натяжка. И все же завершение мифа о грехопадении искуплением, соединение двух мифов воедино не сужает Бога до ипостаси Бога-любви, и не только натяжкой, но извращением исторического христианства является заклинание современных христиан, что «Бог есть любовь». В частности, это не справедливо потому, что сам Христос о себе так не говорил, он сказал, что он есть Истина, и познавший его познает истину, к тому же русские "религиозные философы" только что вопили, что **Христос принес человеку свободу** ... или он принес и истину, и свободу, и любовь (для чего и послал его Бог-Отец), и потому он одновременно един в трех лицах: *Бог-истина*, *Бог-Любовь* и *Бог-свобода*? (Хотя Достоевский и восклицал, что он избрет Христа, пренебрегши истиной; по-видимому, обойдется и без свободы... да, может, и без ответной любви? Такой акцент в христианстве на самой личности Христа, противопоставляя ее даже любви и свободе и истине характерен для женской любви, так женщина самозабвенно

любит своего ребенка, так она любит и мужа, как полюбила Марина Мнишек Гришку Отрепьева и дочь Кочубея Мария полюбила Мазепу. Но Достоевский устами князя Мышкина заявил нечто и вовсе несообразное для христианства, над чем посмеялась даже Аглая, что «красота спасет мир!» При чем тут жертва, при чем распятие, при чем даже воскресение? И зачем я пытаюсь спорить с современным невежеством христианского доморожденного богословия наших комсомольских неофитов, ставших священниками и воцерковленных вместе с комсомольскими билетами, если это богословие даже и не современное, а восходит к славянофилам, Достоевскому, и русским религиозным философам и даже к марксистам: Бердяев, Булгаков, Луначарский, Богданов?..) Воистину неисповедимы пути Троебожия (как его называют иудейские критики, я как раз читаю одного среди них, отпавшего от протестантизма в пользу иудаизма... Впрочем, наш Розанов не метался ли так же между этими родственными Авраамическими мифами?)

И все же: *отожествление сущности христианства* – минувшее пришествие (непорочное зачатие и воплощение), скороговоркою пробегаю даже мимо распятия и собственного воскресения и грядущего в веках страшного суда и всеобщего воскресения – только с *личностью Иисуса* (возможно, умиление от рождения его в Вифлеемских яслях, умиление от разговоров его, ребенка, с старцами в синагоге, умиление от пренебрежения им той молодостью, которую мы все знаем и которою мы умиляемся, равнодушные к природе, культуре, женскому цветению, смеху детей, равнодушные к самой жизни, с ее трудом и творчеством, с ее тяготами и с ее **заботой о других**, низведенной к какой-то немислимой воображенной любви к ближнему – это отожествление умаляет христианство. Польское католичество мне показалось каким-то странным чрезмерным воспеванием **жертвы** и **жертвенности** – даже не той жертвы, которую мы знаем в подвигах русских солдат или в дерзком порыве Зои Космодемьянской или в стойкости Ольги Берггольц, оставшейся верной большевизму даже после убийства ее ребенка – а жертвы покорностью, растворением в чужой воле (в воле Отца небесного), жертвенности до самоумаления, самоуничтожения, самоуничтожения! – показалось воспеванием **агнца божия** (того, ветхозаветного, который безропотно шел на жертвенный стол и подставлял свою выю под нож) – так я чувствовал и в их костелах, и в их монастыре (где я прожил три дня), и в Крестном ходе за иконою «*Матки Боски Ченстоховски*» ... В этом Крестном ходе были почти одни только женщины, они все воспевали «агнца божия» («*баранка божия*») и все были воодушевлены страстной любовью к Агнцу. Позже я читал и о католических взглядах на эту любовь, и узнал, что в значительной степени экстаическая женская любовь к Христу католическим богословием отрицается как извращенная сексуальность. (Но тему «Бога-Любви» продолжать я больше не буду, Интернет переполнен ею, отрицая «половую любовь», христианство провоцирует не только ереси, вроде хлыстовства, но и извращения – и то же хлыстовство и женская психопатическая любовь к Богу-агнцу. Но, впрочем, какого Христа имел в виду Достоевский, говоря, что лучше он останется с Христом, чем с истиною?!!!) (Не буду я более говорить о Боге-Любви, чтобы

не уклониться в Древний Египет, к культу Озириса... а все мои филиппики в значительной степени направлены к тому, чтобы как на суде историк и философ говорили правду, и только правду, и ничего кроме правды. Я устал не только от религиозного мракобесия, от воинствующего невежества, от «русских этрусков» и «новой хронологии», от восхваления Троцкого и Сталина, от восхваления русско-большевистской революции, в значительной степени анти-русской, то есть «национально-освободительной» – я устал и от неуместной «женской религиозной философии» Достоевского, Мережковского, Бердяева, Розанова... впрочем, Розанова его эротизм тащил то туда, то сюда, от восточных культов к иудаизму, от иудаизма с его обрезанием к христианству с его причастием – хотя, впрочем, и то и другое разные формы причастия к Богу через кровь и плоть... надо заметить, что **красное** революционное большевистское знамя тоже пропитано кровью агнцев божиих, тоже жертвенное, и им причастился целый народ, отвергну причастие кровью Христа...)

Но хватит! Шафаревич убедительно показал, что **социализм** – это культ смерти (или, точнее, **воля к смерти**) – но социализм – всего лишь одно из течений какого-то общего восточного религиозного потока, и он родствен христианству (брат и сестра), и эротизм присутствует в уклончивых формах в обеих течениях, но этот эротизм не рождает детей и не создает семью, а ее

разрушает, и к подлинной любви между женщиной и женщиной и даже между родными или единоплеменниками он относится мало (не случайно последние перед смертью слова Льва Толстого, записанные его дочерью, были: *Бог не есть любовь!*)



А Инквизиция убедительно показала (вопреки Достоевскому), что Христос не принес человечеству ни любви ни свободы. Если же в их отсутствии и заключена истина, то **надо ли искать истину, а не духовную свободу?!**

Это не «Матка Боска Ченстоховска», а богиня Вуду (среди потомков Наполеоновских польских солдат на Гаити).

6. Хуже бывает!

Крепостное право было плохо, однако в лесу пролегали тропинки, крестьянин проходил по лесу свободно даже в лаптях, лес был чист и ухожен, на пригорке у сел возвышался прекрасный господский дом с фортепьяно и вечерними музицированиями, Пушкин в Михайловском писал прекрасные стихи, вода была вкусной и прохладной, воздух чист, хлеб душист! – а сегодня Россия потребляет половину мирового запаса пальмового масла вместе с сметаной и сыром, ест хлеб из «кормового зерна», продавая свое зерно за границу, сидя за столом из опилок (дерево тоже идет за границу)...

Отвлекаясь от христианства, счастливее я не стал, поэтому решил последовать их призыву начинать всякое дело с себя и вспомнил историю своей безумной любви к *христианке*. Она меня, как мне казалось, любила, при этом, конечно, любила Христа, и повинаясь его завету распять грешную и растленную плотскую любовь, противопоставив ей *любовь духовную*, заставила меня покланяться, что я не буду желать ее поцелуев, не буду к ней прикасаться, не буду иметь ни грешных помыслов, ни видений, ни даже в воображении не буду иметь ничего запретного. Клятве я пытался быть верным. Но она ходила на исповедь и каялась в грехах. Возможно, ей показалось, что в ее собственных мыслях осталось что-то запретное, о чем она в слезах и призналась священнику. Он ей велел со мной не встречаться, и *теперь она счастлива*... и если счастлива, то я за нее не упрекаю священника, не упрекая и его учение. *Но в самом ли деле счастлива?*

Или, по Лермонтову:

«Я мало жил, и жил в плену. Таких две жизни за одну, Но только полную тревог, Я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, Одну - но пламенную страсть: Она, как червь, во мне жила, Изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала От келий душных и молитв В тот чудный мир тревог и битв, Где в тучах прячутся скалы, Где люди вольны, как орлы.»

Эти слова не совсем про нее, не про меня ... И не совсем про счастье. Но... Какое счастье принесло человечеству христианство? Принесло ли?

7. Зачем люди живут?

Большинство даже не задумывается над тем, зачем они живут, зачем живут другие, есть ли Бог, хорошо ли без Бога или лучше, князь ли мира сего дьявол; – а если он верит в Бога, то и не сомневается, что все по воле божьей, а не по дьявольской. Раньше он в ужас приходил, когда слышал, что Васька ругает советскую власть, а сегодня в еще больший, что В. И. поднял руку не только на Достоевского и Розанова, но даже на Бога. А когда со мною поговорит, то теряется еще больше, потому что все люди как люди, верят или **не** верят, **за** тех или против этих, "вся власть советам" или царю (старому или новому... не помазанному, так еще помажем...) – но этот говорит и одно и противоположное, например, сначала говорит, что религия – это и в самом деле опиум для народа, и свержение самодержавно-теократической власти было исторической необходимостью, а потом добавляет, что **теизм** (от Theos – Бог) и **телеология** (от греч. telos (teleos) — результат, цель и logos — слово, учение) — филос. учение об объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин, и следовательно, мир пронизан творческими энергиями, некой духовной стихией или силой, которая и определяет развитие мира и становление в нем осуществленных потенций, **энтелехий**. Синтез всех духовных энергий как всеобщей духовной энергии бытия – это Бог. Ощущение **взаимосвязанности** вещей и энергий – это и есть религиозное состояние. В этом смысле я, протестующий против мифов, низводящих человека до уровня до-осуществленности, противопоставляющих такому человеку совершенную силу в роли хозяина неодушевленных вещей, протестую против суеверия вместо познания и постижения.

Религия (*лат. religare – связывать, соединять*) – соединение двух миров, небесного и земного. В этом смысле она не житейская практика, не философское постижение *начала вещей* и их *меры* (по Пармениду, Гераклиту и Протагору) и не научно-философское познание *материи* и *формы* (по Пифагору, Аристотелю, Декарту и Канту, по Ньютону и Лейбницу), ... но что же она такое? Можно допустить, что ее начало то же, что и начало **философии** – то есть **Миф** и **Эпос**, но затем их пути разделяются, философия созидает еще и рационально-практический тип познания (в науке) и вместе с мифом, искусством и народными сказаниями дает начало культуре в целом и литературе и поэзии в частности; архаическая религия соединяется с формами государственной власти, порождает институт культа и ритуала, жречество и священство и церковь и вместо соединения сфер бытия играет роль разделительную, выступая против познания и развития. (Но надо заметить, что **Власть** умеет подмять под себя любую форму человеческого духа, и средневековая *философия* становится на службу обскурантизма не менее самых архаических мифов... а уже в наше время марксизм? А «новая хронология» и безумное развращение Истории, превращенной в помойку бредовых вымыслов и домыслов для снижения уровня мышления и знания, сопровождающееся новым уничтожением античной мысли... а современная культура, внедрившая в культуру **анти-культуру**?

Но мы еще мыслим, а следовательно еще существуем!

Более того, я даже **религиозен**, то есть не только *соединяю* в своем мышлении, мироощущении и самой жизни *любовь к женщине* и *дружбу с мужчинами*, *математику* (вот на днях я выяснил, что $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$; и $6^3 + 8^3 + 10^3 = 12^3$...) и *поэзию* (только что записал ночное стихотворение), *музыку* (вечером иду в театр, почему не смогу быть на Секции критики), *философию* и *литературу*, но непосредственно ощущаю наполненность мироздания духовным движением, своего рода ветром, дующим в паруса мира, и потому ощущаю *телеологичность* (целесообразность) целостного движения мира от Хаоса к Космосу (но при этом я понимаю и чувствую, что хотя творческая Сила и творческая энергия направлены от «Неба» к «земному», от «Бога» к Человеку, но все становится и понимается и познается через человека, даже Бог, ибо и божества видимы (как и миры) в **зеркалаx**, которыми являются поэзия, философия, наука, культура в целом и практический и духовный опыт человека (создаемые человеком). Не только *вещи существуют, поскольку их существование удостоверяется мыслью и ощущением человека* (с чем согласны даже «объективные материалисты» и «субъективные идеалисты»), но и **Бог существует через человека**, через его традиции, искусство, практический, духовный и мистический опыт. Мои оппоненты, защищающие от меня то марксизм, то дарвинизм, то фрейдизм, то христианство, то вообще восточный тип религиозности, просто часто «упертые» в какую-то одну видимую им веху на той дороге, по которой они бредут, в то время как я смутно вспоминаю свое прошлое еще со времени Пифагора (да, память у меня дырявая, хуже чем у большинства), я помню всё какими-то смутными клочками, но все же кое-что помню) – и поэтому я в высшей степени религиозен и историчен, я переживаю даже встречу Цезаря с

Спартак и бестолковое стояние декабристов на Сенатской площади, это все часть моей собственной жизни. Теперь вы можете понять, что мне некогда ходить в церковь... НО... конец делу венец, и конец моей «мениппей» будет совсем не таков, как можно подумать.

1. Во-первых, только что прочитал о противоположности восточного статического созерцания и западного динамического творчества (еще раз прочитал, говорилось об этом не раз, есть еще умные люди и среди философов и среди ученых...) Восток – это застывшее бытие, от века данный мир, вплоть до того, что и Христос как ипостась триединого Бога хотя и родился от девы Марии, но *был всегда*, как и Бог-отец, вместе с ним, и современное христианство во многом даже ересь бо́льшая, чем мои инвективы (скорее розановские, которые я повторяю). Недавно маньяк сжег старинный деревянный храм, я об этом скорблю. Скорбят ли христиане? Но пусть они верят в своего бога, пусть молятся в своих храмах о воскресении, может быть, прежде чем заговаривать с девушками, мне только надо спрашивать, не воцерковились ли они уже и не сошли ли с ума в отношении к извечной природной любви? Будем жить порознь. Я не утверждаю, что надо с христианством бороться – станет ли мир наш (хотя бы только российский) лучше, если пусть и несовершенные формы религиозности (как я полагаю) исчезнут. **2.** Я не мечтаю и об обращении истории, накопилась гигантская мощь отрицания, как бы там ни было, моих пращуров дворяне эксплуатировали и унижали (хотя я восхищаюсь тысячами дворян, удерживающих Россию и русскую культуру в враждебном мире) – и Русская революция была необходима. К сожалению, не случилась реставрация. К сожалению, к власти в России пришли негодные, по существу враждебные России силы. Но и с детьми «старых большевиков» я готов найти общий язык, если они отрекутся от ненависти и искоренения «русского»... **3.** Я русский народник, почвенник – но «русский народ» – особое явление истории, которое преступно утопить в отрицании, в нем «и гордый сын славян и ныне дикой тунгус и друг степей калмык», потому мой *русский национализм* собирателен, а не разделителен, и наша общая церковь – это язык и культура и историческая память.

Вернулась осень, вопреки, казалось, усыпленью тлена. Веков протянутой руки мы не заметили. Подмена объяла нас как страшный сон "в разворочённом бурей быте". Разбитое окно в Главлите "*хлестнуло выстрелом в висок*" и я очнулся. Есть ли Бог? – Он повод~~ь~~ для Исаака? Бегущий ли единорог в полях, воскресших в кущах мака? От Аристотеля до нас куда, народные витии, вы поведете скользкий сказ? К победе ль, к гибели России? О, энтелехия зари, телеология рассвета! Я не велю богам: умри! – Но нов я в вихре Первоцвета, И старый мир и зла прорыв я обнимаю мыслью внове, Россию воссоединив на грани увяданья в слове. Мы, книжники, мы свет зари, От Аввакума до Толстова, Светило властное – гори! – сквозь ткань небесного покрова!

Энтелехия – в философии Аристотеля – внутренняя сила, потенциально заключающая в себе *цель* и окончательный *результат* (греч. *entelecheia* – завершение, осуществленность). Но в чем моя энтелехия, я еще не знаю...

Новое русское *соединение* (*religare* – *соединять*) должно вырасти из философии и литературы, вот для чего наши *встречи, собеседования, журнал...*

АБСОЛЮТНЫ ЛИ ОЦЕНКИ?

Каким образом мы оцениваем, разделяем и измеряем: красоту, истину, добро, пользу, превосходство, совершенство? Отталкиваясь от понятия **критерий** (лат. *critērium*, др.-греч. κριτήριον – мерило, средство суждения, от *krinō* «разделяю»), мы ищем набор силлогизмов – доводов и аксиом, с помощью которых навязываем другим наши оценки и предпочтения. Но проблема состоит не в том, как других убедить в справедливости наших оценок, а в возможности безусловного, «объективного» разделения в эстетике, этике, философии, науке и самой жизни на верное-неверное, хорошее-плохое, доброе-зловредное и т.п. Есть выражение "на вкус и цвет товарища нет", то же говорит и Лев Толстой, великий художник и авторитет (для многих) в области религии, морали и эстетики: "*кому что нравится...*"

Авторы статей и книг, создатели теорий и учений (включая Платона, Аристотеля, Гегеля и Маркса), и современные авторы (Розанов, Мережковский, Иванов-Разумник, Гумилев, Мандельштам) обычно настаивают на возможности абсолютных, то есть безусловно истинных оценок, собеседники же, с которыми сталкиваюсь я в течение моей жизни и с которыми иногда схватываюсь в спорах (в том числе и поэты и критики), скорее склоняются к мнению Льва Толстого. Возможно ли придти к синтетическому положению, которое удовлетворило бы всех или хотя бы заставило сторонников относительности оценок задуматься? Разумеется. Дело только в том, что я не сумел пока свои собственные мнения изложить основательным и совершенным образом, даже "Записки редактора" несколько поверхностны.

Абсолютные основания для суждений и оценок есть. Само существование культуры, существование искусства и литературы, философии и науки доказывают это. Некоторые фундаментальные положения становились определяющими в ожесточенной борьбе иногда в продолжение тысячелетий.

Первое завоевание человеческой цивилизации – появление рассуждения и дедукции (выведения), основанных на утверждении и доказательстве, что потребовало введения во-первых понятия об **общем утверждении**, во-вторых, разделения утверждений на аксиоматические (принимаемые без доказательств) и теоремы (требующие обоснования). Так, начиная с Фалеса, (в 6-м веке до нашей эры) появились одновременно *математика, наука и философия*, до этого ни у одного народа мира их не было, были частные сведения (напр., "египетский треугольник" у египтян), *созерцание*, наблюдение и мифология.

Следующим шагом в познании мира было установление того, что Земля круглая и обращается вокруг солнца, что уже было известно в античном мире – однако признание этого простого факта потребовало титанической борьбы с религиозным мракобесием (которое ныне поднимается на щит светоча разума).

Но что касается основания, из которого вытекают наши способности правильных суждений и безусловно верных оценок, то это, во-первых, сама наша жизнь и мотивы, причины и правила нашего поведения, во-вторых, **язык**, из которого произрастают и литература и философия и в значительной степени дедуктивная наука. Оценки, меры вещей, разделения и противопоставления выражены и в др.-греческом термине κριτήριον – разделяю, и в русском языке в словах **вкус, слух, мера**.

Каждое из этих понятий всеобъемлюще. Поучительно отталкиваться не от высоких сфер жизни, а от самого обыденного, близкого каждому человеку. Начнем с пищи. Оставив в стороне разницу в национальных кухнях, мы видим, что в России вкусы практически одинаковы, нелепо сказать, что *на вкус нет товарища*, в каждой семье известно, чьи кушанья хороши, среди ресторанов и трактиров, кафе и харчевен одни пользуются славой превосходнейших, другие же посредственных – и ведь все посетители и все вкушающие единодушны, не разводят за столами дискуссий, как в читальнях и музеях. Язык, тот язык, которым мы говорим и осязаем, почему-то одинаков (да, кстати, и в отношении смысла тех сотен тысяч слов, которыми мы пользуемся не только за обедом). Понятие **вкуса** распространяется на одежду и обувь, приходится часто слышать "она безвкусно одета" или "одета со вкусом" или даже изящно, превосходно, изысканно – вот эти оценки почему-то принимаются одинаково всеми, не вызывают споров, даже читатели мгновенно понимают, что имел в виду Пушкин, говоря об Онегине "как денди лондонский одет", что значит модница, следит за модой, не отстает от моды, старомодно, одет неряшливо, нелепо, вычурно, "с иголки", безусловно – не значит ли это, что чувство вкуса нам дано, врождено, что по крайней мере для каждого народа оно **общенародно**? И то же в отношении архитектурных достопримечательностей, особенно древностей (хотя тут уже начинаются в некоторой степени разногласия) – **все** восхищаются Собором Парижской богородицы, Лувром и Коллизеем, Капитолием и Парфеноном, Кижскими и Московским Кремлем, Невским проспектом... и тысячами других памятников старины... но все в одинаковой степени восхищаются Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Бальзаком и Гюго, Гете и Гофманом, Эдгаром По и Марком Твенном, Диккенсом и Свифтом... Почему же мы тогда спорим?

Итак, **вкус**, эстетическое чувство в нас **врождены**. Однако это в **норме**. Но есть немногие исключения, есть слепые музыканты и математики и глухие живописцы... Справедливо и выражение, которое относится к тем немногим, кто не чувствует ни вкуса борща, ни букета вина: «у него нет вкуса». Как правило, это выражение характеризует некоторых критиков, писателей, философов, поэтов, но у читателей вкус есть и он практически одинаков. Известно, что вкуса к искусству не было у Платона, у Ленина, не слышал и не любил музыку Лев Толстой (он также не слышал поэзию, ни русскую ни французскую, хотя писал и по-русски и по-французски превосходнее всех), не было вкуса у большинства советских критиков, у секретарей партийных комитетов, у апостола Павла (назвавшего идолами изваяния на улицах Афин)... Был ли вкус у Христа? О лилиях он однажды обмолвился, что они прекрасны, но на всем протяжении Нового Завета эстетических оценок нет совершенно – быть может, это характерно для иудеев (а Иисус, сын Марии, был в положенное время обрезан, и даже Иерусалимскую Синагогу считал своим домом, проведя там однажды трое суток в беседах с раввинами, которые поразились его мудрости, 12-летнего ребенка, забывшего о родителях, которые его в слезах искали).

Но вкус и **чувство меры** покидают часто творцов, авторов и режиссеров,

художников (скажем, Толстого, Чернышевского, Далі, быть может, Филонова и Малевича? ... Маяковского? ... несомненно, Баркова, графа Хвостова – достаточно обратиться к сходным произведениям искусства, *намеренно* вульгарным, как «сочинения Козьмы Пруткува» – здесь автор отдает отчет в своей самопародии, чувствовал ли ее известный графоман, прославленный иронией Пушкина, чувствовал ли ее В. В.?, "*доставая из широких штанин дубликатом бесценного груза...*"?)

Читатели гораздо более солидарны, из 22-х прочитавших мои «*Записки редактора*» только один **не** восторгался... да, всего 22 человека читали, не тысяча и не миллион, и тем более не сто миллионов благодарного человечества, как читали Ильича или Карла... но у Стрехова вообще было только два читателя, Толстой и Достоевский, так что у меня больше...

Итак, читатели имеют вкус, потому их и притягивают книги, с чего бы они их читали, если бы были **безвкусыны**? Но с чего же вкус покидает подчас творца, и так пристрастны поэты к своим товарищам по ремеслу и вдохновению, так вульгарно пристрастны критики, особенно те, кои ничего не созидают (критики для домохозяек советского времени)? Одни пристрастны, потому что и творцы односторонни, только высшие гении соблюдают гармонию, как Моцарт, Пушкин, Лермонтов, ... другие пристрастны, потому что слепы ... Но есть разряд критиков, вкус которых *безупречен*, но их творческая энергия сосредоточена в умении слышать божественные звуки у других, сами же они в художественном творчестве немошны, таков Иванов-Разумник (хотя и прекрасный мемуарист, но не сочинитель романов и стихов). Безупречен и мой собственный вкус, но именно потому, что мои собственные стихи – своего рода только эхо русской поэзии в последние двести лет.

Однако, возникает законный вопрос: читатели чаще единодушны в оценках крупных художественных явлений, некоторые читают запоем, в то время как писатели часто ничего не читают, бывает так, что не перечитывают сами себя и не исправляют собственных ошибок, как В. В., который воспротивился убрать у себя лишний союз «и» (правда, у меня он первый мой роман дочитал все же до 17-й страницы, но потом всё настаивал на том, что если я дам ему волю, то он его сократит в рассказ). Однако, это все *в норме*. Вне нормы и читательские оценки разнятся, от *нуля* (есть у меня товарищ, который не прочитал ни одной книги) до бесконечно малых различий в оценках: второй мой товарищ, "*комп*", прочитал практически все книги мира, такая неразборчивость в чтении сродни абсолютному отсутствию вкуса.

В школе одни из нас читали и Блока и Толстого, другие осиливали только Фадеева и Шолохова, говорить об их единодушии опрометчиво – и, конечно, становясь взрослыми, мы не соглашаемся друг с другом в оценках и начинаем спорить (напрасно, не приходя к общему результату). Так не следует ли из этого, что *о вкусах* все же *не спорят*? Нет, не следует. Ибо все же надо говорить на том языке, на котором написана книга. ВКУС **встроен** в язык и **врожден** в личность, он **безупречно абсолютен**, как абсолютен полет пули – однако и пуля, летящая из безупречной винтовки, испытывает отклонения, связанные с направлением ветра и смещением прицела, восприятие и оценка читателя зависят от **образования и культуры** Дети одинаково реагируют на

детские книги и спектакли, образование их одинаково, потом, начиная со школы, они отдаляются друг от друга. Уже при чтении Пушкина надо знать, что означают слова "зане", "под сенью", "серафим", "бразды", слышать о Пальмире, Овидии, Анакреоне, Лицее, ... а как читать Достоевского тому, кто не читал ни Библию, ни Историю Инквизиции, читать Вячеслава Ив́анова, Волошина, Блока (с его удивительной «подменной» новозаветных идей и персонажей ветхозаветными)?

Ну а у образованных? В действительности **вкусы русских образованных читателей совпадают**, и спорим мы не в связи с разным **эстетическим** или **нравственным** восприятием, а в связи с искусственно встроенными более поздними идеологемами, христианскими или марксистскими. Розанов (я думаю) сначала одинаково со мною восторгался Гоголем, но позже он «вступил в партию» – (консервативную или монархическую), – поэтому его стало раздражать то, что в «Мертвых душах» не благонаправные миленские пейзажи и святые старцы и восторженные славянолюбцы, а какие-то ужасные и нелепые Собакевичи, что роняет правительство, поэтому Розанов запретил себе восторгаться Гоголем, а Н. И. К. запретил себе восторгаться Лермонтовым, а воцерковленные барышни в ужасе от Гавриилады, а патриоты в ужасе от Чаадаева, а Толстой отсекся от культуры (потому, во-первых, что культура не нужна народу, ибо как сказал Никита Серг., *народу культура не понятна*, а во-вторых, она не нужна Богу). Итак, наши несоответствия не эстетические, не художественные, а "*бытийственные*", и они тем более значащи, весомы, чем более художественный текст насыщен историей, политикой, философией.

Характернейший пример – отношение к теории эволюции Дарвина. На ней столкнулись идеалисты и материалисты, верующие и атеисты. Материалисты думают, что все в мире – материя, а духовное – вроде цветочков на поверхности земли, в то время как мироздание заполнено материей, и даже цветочки, как они думают, состоят из материи, и движение в мире подчинено только причинно-следственным механическим связям, один листок ударяет о другой и тот в ответ тоже шевелится. Нематериалисты придумали какие-то причины-цели, *телеологию* (целесообразность) и *энтелехию*. И казалось бы, каждый выбирает по вкусу, *кто что хочет*... Но ... художник и философ стремятся подняться на вершину бытия, на которой открывается дверь в Сверхбытие, а она единственна, как единственна Полярная звезда, указывающая на Северный полюс. Так и в стихотворении, в котором не хватает слова, оно не произвольно, и изводит художник этого «*единого слова ради тысячу тонн словесной руды*»... Зачем, если нет абсолютных реперов, *меридианов и параллелей духа*, а кому что нравится, тот то и городит, как говорил Толстой? (Хотя при этом непонятно, зачем он переписывал Войну и мир» девятнадцать раз).

Надо иметь в виду еще и то, что даже художественное произведение – не только «художественно», и его восприятие не может быть чисто эстетическим, мы оцениваем, как и при взгляде на женщину, не только, *красива ли она*, но как одета, как подведены глаза и губы, оцениваем походку, смысл и интонацию того, что она говорит, запах волос, духов, «ум и характер», чувственность и чувствительность, сострадание, внимание, терпение, широту

(как у улицы и дороги в лесу и у поляны), *обаяние*... – да что говорить, при взгляде на женщину и при соприкосновении с нею мы воспринимаем и оцениваем натуральный ряд (весь сразу) и бесконечность, ее смысл, ее потенциальность и актуальность (хотя и говорит Аристотель, что бесконечность не может быть актуальной, но это когда она сама по себе. А в образе женщины она *уже ставшая*, а не только *становящаяся*). Так вот, роман (или повесть, поэма, *стихотворение*) – это слова (то есть *одежда мысли*, по Горькому – что я вычитал у Ахматова), но и *мысль*, идея, содержание (и та мысль, которая заключена не в самой мысли, а в ее форме, в ее способе выражения, то есть в ее одежде – которая, конечно же, не исчерпывает стихотворение, как и одежда женщины ее не исчерпывает, более того, чаще вдруг оказывается, что именно теряя одежду, женщина проявляет саму себя более полно, становится *актуальной*, ...) – кстати сказать, ведь стихотворение, это не только слова, но и их *расположение*, порядок, связи мыслей и слов со всем тем, что не входит в стихотворение непосредственно, о чем в нем не говорится, но на что намекается, что возникает по ассоциации, что в нем присутствует как аллюзия, как парафраз (как в пушкинской строке "все это, видите ль, *слова, слова, слова*" присутствуют Гамлет и Шекспир, о чем Пушкин даже сообщает после стихотворения в сноске, и что по новому освещает всю тоску его по абсолютной свободе...)...

Но напоминаю, что речь идет о восприятии художественного произведения и его оценках, об абсолютности или относительности оценок, которые ему дают читатели, время, обстоятельства, эпоха и история.

Действительно ли «*кому что нравится*» или оценка **абсолютна** и уже заключена в произведении как вывод, и не зависит от наших субъективных предпочтений, от разницы наших индивидуальностей, но лишь отчасти от пола и народа (которые и в нас иногда не актуализированы до конца)?

Кант говорит, что подлинность вещи заключена в ее прообразе, в "вещи в себе", а образ, восприятие не совпадают с прообразом, и таким образом, субъективные восприятия все разнятся между собою, потому что они все приблизительны, условны, житейское нам постоянно напоминает об этом, идем вечером по дороге и в сумерках впереди не то дерево, не то куст, не то человек, не то волк, всматриваемся до слез в глазах, спрашиваем у дрожащей попутчицы, преодолевая страх, приближаемся (все же надо понять, идти ли дальше или стремглав нестись назад, включаем дрожащими руками фонарик... уф, это собака... или, все таки, волк?)

В идеале образ почти совпадает с прообразом, с истиной вещи, но для этого надо затратить труд восприятия и даже труд **творчества** (так я вчитывался в листки рукописи, на которой изящным почерком располагался перевод поэмы Альфреда Мюссе, и подумал, наконец, что это стихи Надсона, в то время как ветхий старичок, проходивший мимо меня по коридору Пушкинского дома и искоса глянувший на бумагу в моих руках и тут же отведший глаза, вдруг быстрым движением выхватил эти листки из моих рук и, забежав в кабинет, закрылся на ключ и закричал фальцетом: *не отдам!! хоть убей!!!* – только одним этим беглым взглядом узнал и оценил, и это оказалась неизвестная рукопись юного Бунина...

Творческий труд восприятия и совпадения образа с прообразом мог совершиться еще ранее, иногда в течение учебы, школы, университета и жизни, иногда страданий и разочарований, иногда способности понимания даются как награда еще при рождении.

Спор читателей объясняется часто тем, что они в разное время начали свою работу понимания, и для одного это еще утро рабочего дня, для другого уже вечер, надо не посторонние доводы приводить, якобы объясняющие истину, а просто немного подождать. Вот так в детстве, еще когда я увлекался марксизмом, услышал я, будто Ильич слушал Бетховена (а он был поклонником Чернышевского, с которым был в дальнем родстве, но так как Чернышевский никогда не ходил в театр, то и этот его поклонник). Я купил пластинку с "Апассионатой", поставил, в деревне, на патефон и прослушал. На следующий день слушал снова. К концу лета случилось чудо – я вдруг **услышал!** Труд творческого восприятия, да и труд взросления, обучения и воспитания – все же я и *умные книги читал* – привел к блаженному результату: «и шестикрылый серафим На перепутье мне явился; ... Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет...» – конечно, внял я, наконец, и музыку Бетховена...

Истина содержится и в «вещи в себе» (прообразе), и в восприятии (образе) тоже, в первом содержится *актуально*, во-втором *потенциально* – так и бесконечный ряд не достигает предела – однако предел существует актуально и вычислим. Но еще важнее то, что мы устанавливаем его **существование**.

Мы думаем, что не только не совпадают оценки читателей (а они не совпадают, как и облака на небе движутся с разными скоростями, и можно подумать, что одни облака уже убегут в чужой город, пока другие добегут до нашей деревни, но вдруг они все оказываются у нас над головой и начинается гроза, и льет одновременно из всех семи небесных сфер), но не совпадают оценки, которые дает настоящее, прошлое и будущее, и тщетно ждать признания тем авторам, у которых читатели еще не родились. Но это не так. Есть посев и есть жатва. Некоторые семена лежат долго в ожидании всходов, другие всходят мгновенно; и плоды созревают за разный срок, иногда проходят десятилетия, пока плодовое дерево созреет – но автор находится в творческом (*религиозном*) *соединении* с миром всегда. Мне приходилось разговаривать с Люцифером в 2004-м году о своих сочинениях, с которыми он спорил, и когда я воскликнул: помилуйте, да я еще этого не писал, я только начал о сем размышлять, он с негодованием возразил: у нас дела делаются быстрее, вы еще только начали размышлять, а мы уже издали, и показал мне книгу, на обложке которой стоял 2015-й год – я потом ее узнал. Разве поэты не общаются с *музами*, разве математики не от **бесов** получают свои **внушения**, по уверению Оригена – а разве эти надчеловеческие сущности так зависят от времени, как мы? Но и мы не всегда. Тогда же я открыл «ведьминские числа» (по аналогии с пифагорейскими) тройку, семерку, туз (11) – а Пушкин о них написал в «Пиковой даме» за двести почти лет раньше (это целочисленные диагонали целочисленных параллелепипедов: $3^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2$; $7^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2$; $11^2 = 2^2 + 6^2 + 9^2$. число **13** принадлежит к этому же ряду: $13^2 = 169 = 3^2 + 4^2 + 12^2$ и множество других далее.

В прообразе, то есть в художественном творении, *содержится вся его полнота*, и форма, и содержание, и оценка, и эта оценка абсолютна.

Расхождения в оценках читателей не должны нас смущать. Теория наблюдений показывает, что каждое измерение ошибочно (наслаиваются ошибки наблюдений, погоды, ошибки инструментов, наблюдателей), но длительный ряд наблюдений приводит ко все более точному результату. К вычислениям Тихо Браге современный наблюдатель добавляет свои наблюдения и они увеличивают *число верных знаков после запятой*.

Приведу еще житейский пример. На днях в Мариинке я слушал оперу Вагнера «Парсифаль», которую не слышал раньше, и был разочарован. Голоса звучали довольно тускло, музыка была однообразно, Парсифаль производил впечатление не только простеца, но прямо деревенского дурака (но *падише девушки* были безукоризненны и великолепны!). Парсифаль, правда, не поддался их чарам. Дома я послушал (найдя в интернете) вступление к Тайгензеру, запись была прошлогодней, и тоже меня разочаровала, и я нашел запись 70-х годов, когда Вагнер звучал в моих ушах как ангельский звон.

Не надо спешить с последними оценками, бывает «любовь с первого взгляда», со второго, но бывает и с третьего! Я знаю двух немолодых людей, они встретились через сорок лет после того, как были знакомы в школе, и составили счастливую семейную пару. Иногда **впечатление** словно "спящая почка дерева", она пробуждается в необходимый момент, но и почка все та же самая, и впечатление неизменно (но было отложено на черный день).

Последние примеры: Христос, Достоевский, Солженицын.

В советское время большинство читателей видело в Иисусе Христе в лучшем случае князя Мышкина, но никто из них не читал Новый Завет, и все они были далеки от религии. Потом кто-то из них прочитал Новый Завет, кто-то зашел в храм во время службы, третьи прочитали Достоевского. И впервые у них появилось некое смутное представление о христианском боге, но настолько смутное, что их еще нельзя называть читателями. То же с Достоевским. Приходится слышать, что он тяготящийся писатель. В разговорах выясняется, что эти читатели не читали «Записки из Мертвого Дома», Хозяюку, Село Степанчиково ..., Игрока, Подростка... да некоторые и совсем его не читали, одна девица из соседней деревни созналась, что прочитала у меня только полторы страницы... ну, правда, я пишу не для всех, у меня по существу только два читателя... То же и с Солженицыным. Мы не даем ему читательскую оценку, а как на партийном собрании сверяем впечатления с Катехизисом, христианин смотрит на меня и видит во мне врага и далее уже не читает; мы дети комсомольцев тридцатых годов, у нас единственный кумир: советская власть и единомыслие всей страны... Но мы живы, мы отличаем, в конечном счете, дерево от волка даже в сумерках, мы все видим **одинаково**, стоит человеку, не читавшему книги в последние полвека, прочитать вдруг «Казак» Толстого, «Политику» Аристотеля (а лучше на араб), или вот этот номер журнала – и дальше чтение пойдет легче и все оценки начнут совпадать. (Хотя я в отличие от Канта полностью истины нахожу не в прообразе, то есть в сочинении автора, а в образе, т.е. в читательском восприятии – но об этом потом, на восьмой сфере небес.

Но мы говорили пока о чувстве **вкуса**, исходя из того, что будто бы он есть у всех читателей, и если подвержен аберрации, то лишь под влиянием невежества или недостаточной образованности, плохого воспитания, не достаточной культуры – а все эти недостатки преодолимы. Школьник, плохо владеющий геометрией, может сделать собственное усилие, ему может в том числе помочь учитель, семья, друзья, одноклассники... Отстающий по литературе может засесть за книги, читать сначала хотя бы приключения, фантастику, потом перейти к Платону и Аристотелю. Разумеется, в данный момент он может иметь очень посредственный вкус – но речь о том, что вкус развивается, в развитии он стремится к некоторому пределу – и этот предел народен и абсолютен (или, по крайней мере, различия вкуса не так существенны, чтобы не говорить о том, что существует национальная литература, сходная в своих основных типах, стилях, мировоззрении, притом настолько, что и восприятие ее укладывается в тот же тип мироощущения, который ее питает. В норме русский человек читает Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Достоевского, Толстого, Тургенева, Георгия Ив́анова... в норме русский читает хорошие стихи и хорошую прозу, потому что вкус не оставил пишущих, и они пишут хорошо! Отлично, превосходно!

И мы все, их читающие, ими восхищаемся. Значит, у нас одинаковые врожденные или приобретенные **критерии хорошего или плохого**, одинаковое чувство **вкуса**, мы учились в хороших школах у хороших учителей. Вот эти, пишущие, это словно бы игроки в литературной команде, выступающей в клубе «Русский поэт... писатель... философ... критик».

Но есть еще скамейки запасных, ждущих, когда их пустят играть за команду, когда признают и их. Относительно них у трибун есть сомнения, разногласия, нет единодушия. Да. Стоящий на тонкой черте чуть-чуть пошевелится, и он уже с одной или с другой стороны черты, и мы, их читатели, не единодушны, в норме или вне нормы. Но напрасно мы спорим, критерии плохо работают на границе, математики это хорошо знают. Если числитель и знаменатель отношения двух функций стремятся к конечным пределам, или отношение их производных, то к этому же пределу стремится и отношение; но когда они стремятся к нулю, то неизвестно, к чему стремится дробь, мы имеем дело с так называемой **неопределенностью**. Нужны некоторые более тонкие и сложные критерии, или надо этого поэта пока оставить в покое ... правда, не исключено, что в неопределенности заключено нечто ценное... Но сие тоже великолепно, то, что культура (европейская культура) производит на нас всех, образованных и культурных, сходное впечатление в целом, и не сходное в исключениях. Пусть исключения существуют и пробиваются сквозь асфальт нашего обскурантизма, или пусть мы иногда более внимательно в них всмотримся – только не надо из этих исключений, из того, что существует на границе, созидать камень преткновения для критики. Вы помните статью Иванова-Разумника о Маяковском, 1917 года, поэте, **не вызывающем симпатий** у критика, который отметил у него множество слабых и отрицательных черт – и тем не менее вывод из этой статьи подразумевался удивительный: ужасный поэт, крикливый, неряшливый, несообразный... и все же, кажется, *гениальный!* Ну так и *критик – гений!!!*

Кстати, несколько слов скажем и о народе. Что такое народ, я еще точно, в математических терминах, сформулировать не сумел (хотя верю, что к тринадцатому номеру нашего журнала будет нам объяснение понятия **народ**.)

Так же я не сформулировал еще соотношение личности человека и личности народа, пока сказал очевидное: отдельный человек и народ не соотносятся так же, как кусок мрамора с мраморной горой, или сосна с сосновым лесом или горсть воды с рекой, в них может не быть ничего общего кроме языка. Народ не обладает полом и характером, в то время как отдельный является мужчиной или женщиной, лентяем или человеком трудолюбивым и тому подобное. Народ не может быть ни хорошим ни плохим, в то время как для человека это главная характеристика. Германия двинулась на завоевание Европы и мира, причинила другим народам много бед – но из этого не вытекает, что это потому, что немцы негодяи. Немцы не хуже русских. И нас какой-нибудь Гитлер или Троцкий мог повести на завоевание мира, как Наполеон повел французов, а Чингиз повел татаро-монгол.

Некоторые философы уверяют, что человек не целен, а множественен, в нем несколько отдельных личностей соединены в одну, хотя все же я уверен, что у каждого человека есть какая-то своя центральная идея (за исключением, может быть, поэтов, как я только что прочитал у Алексея Ахматова в его книге «Моего ума дела», посвященной поэзии и поэтам.)

Но народ не может быть цельным, он многословен в социальном отношении (а сословия – сами по себе отдельные народы, со своим языком, бытом, культурой). Он вмещает в себя даже другие народы, племена и роды, другие языки и *языки*, даже разные расы – в конце концов, многие русские – это монголы (современные украинские политики и вожди вообще уверяют, что русские – только монголы.) Русский народ вмещает в себя даже часть украинцев, ведь Гоголь – это русский писатель, а не украинский, многие семьи в России двуязычны; даже евреев, которые почти не растворяются в других; немцев и датчан: петербургские немцы – целый Гольфстрим в русском океане, у нас осели потомки Гете, Эйлера, Даля, Кюхельбекер, Дельвиг, немцы 18-го века, 19-го, выходцы из Лифляндии и Эстляндии, рассеянные потомки бывшего немецкого народа Поволжья... А сколько среди нас поляков?! Литовцев? Чего стоят одни Радзивиллы, разбросанные по всему миру? Чего стоят Романовы, вообще говоря немцы, но представляющие собою русский императорский род! А итальянцы и французы, Бенуа и Лансере, Растрелли, Камероны, России...

Иногда кажется, что среди русских всё сколько-нибудь выдающееся – это пришельцы, хорошо хоть есть среди русских я, *русский из русских!*

Но народ еще состоит из "малого" и "Большого" народов, по уверению Шафаревича, из аристократов и черни, по уверению Пушкина (да и меня они уже чуть окончательно к этому не склонили), из правящего сословия, не работающего на полях и заводах, в основном негодного, и тягловых сословий, производящих все съедобное и несъедобное и платящих налоги, но в то же время шибко пьющего и слишком верноподданного (хотя иногда и шибко бунтующего). Говоря о связке «народ и культура» (в частности, народ и литература, включая сюда и поэзию), надо иметь в виду, что хотя народ в моем разумении, то есть те, кто в эту связку попадают, сравнительно образованные и

читающие, составляют не более пяти процентов, включая сюда даже тех девушек, которые пытались из Парсифаля сделать человека. Таким образом народ – это не все население, а его незначительная часть, даже меньше зловредного «малого народа» Шафаревича – и все же именно эта часть и является народом, хотя поэты рождаются во всех слоях населения, и не в особо культурной семье родился и Есенин. Точнее говоря, русский народ – это всё, но когда речь идет о русской литературе, то она относится к той части всех, которые с этой литературой связаны неразделимой духовной связью. Так в поместье может быть 20 гектар, из них пахотной земли – 1 гектар, всего пять процентов, они и вспахиваются литературой (позже, надеюсь, напишу вразумительнее). И Пушкин и Толстой – это писатели, представляющие собою игроков на литературном поле, пять миллионов русских читателей – болельщики на трибунах, 95 миллионов сюда не ходят, и об их вкусах я рассуждать не могу. И на дорогах меня подбирают пять процентов автомобилистов, с этими я разговариваю, хотя они меня не читают, но они мои собеседники, остальные – не знаю кто... Ну, например, мой товарищ ругается: ну сколько можно о Пушкине? Сколько можно о книгах? О женщинах? Задолбал! (Таких товарищей у меня половина). Я о них не пишу, с ними не спорю, об их вкусах не говорю, но они тоже входят в народ. Большой народ Шафаревича, я же пишу только для малого зловредного народа, который иногда что-то читает.

Но хватит и о вкусах, ибо есть еще слух и мера.

И **слух** точно есть, и его можно измерить и взвесить, и безошибочно определить, во всяком случае при поступлении в музыкальные училища и консерваторию... хотя... в Нижнем Новгороде в местный оперный театр пытались поступить два товарища, Горький и Шалапин, Горького взяли, у Шалапина слуха не нашли. У меня, если говорить честно, слуха тоже нет, и я не смогу воспроизвести ни одну ноту, ни голосом, ни на фортепьяно, но я писал о музыкант**шах** стихи, с одной из них о музыке мы проговорили три часа. Есть ли слух у всей той публики, с которой я сижу в филармонии, я не уверен, меня смущает то, что одинаково бурно публика хлопает и выдающемуся выступлению и посредственному. Впрочем, оказавшись с Мендельсоном рядом в Венской филармонии, Вагнер сделал заключение, что тот тоже ничего не понимает в музыке. А я прошел замечательную школу, я тридцать лет посещал музыкальные вечера у Юрия Борисовича Перепелкина, а с некоторыми певцами мне приходилось выпивать, что оказалось на меня хорошее влияние.

В отличие от вкуса в поэзии, о слухе и музыке все же спорят, и знаменитая фраза «сумбур вместо музыки» о музыке Шостаковича переживает даже меня.

А то, что спорить о поэзии нет значительных оснований, что поэзия, представляющая русский литературный (малый) народ, несомненно, абсолютна, народна, и особенным образом возвышается над прозой, вызывая восторг и слезы, мне стало очевидно по книге Алексея Ахматова, о которой я уже заговорил. В ней приведены десятки имен и стихов поэтов, некоторых из которых я даже не знал, причем с Ахматовым мы даже совсем не похожи, я даже с ним спорил, доказывая вред от обучения мастерству стихосложения, от чего, по моему мнению, могут произойти только одинаковые изделия... и вот...

Геннадий Григорьев: Как бы я с этой женщиной жил! За нее, безо всякой бравады, я бы голову даже сложил, что сложнее сложенья баллады. ...

Глеб Семенов: Ни малейшей отсрочки. Так что, брат, не ершишь! Не дописаны строчки, не задумана жизнь.

Дмитрий Толстова: Вдруг такая мгла накатила! Обыскал карманы – хватило. ...

Виталий Кальтиди: Вчера я подумал немного и к мысли простейшей пришел: в раю отдыхают от Бога, поэтому там – хорошо. ...

Александр Кушнер. Вот я в ночной тени стою Один в пустом саду. То скрипнет тихо дверь в раю, То хлопнет дверь в аду. ...

Много хороших поэтов и много хороших стихов, и «**вкус, слух, мера**» совершенно у нас одинаковы. Но читаю дальше Алексея Ахматова и мы начинаем расходиться, как будто одна дорога поворачивает налево, а другая направо. Что нас разводит? Идеология, оценки того, что хорошо-плохо в исторической жизни. Что соединяет? Поэзия.

Итак, восприятие поэзии **абсолютно**, и субъективность вкуса – *кажущаяся*, не «кому что нравится», а совершенно тождественное переживание, восторг от хорошего и отрицание плохого – это и означает, что критерии поэзии встроены в русский язык и русскую душу, развиваются вместе с ними, мы уже рождаемся такими, что одинаково слышим, обоняем, видим и осязаем.

Как же при этом русский народ перестал петь, даже по пьянке? В деревне, в которой я родился, пели все женщины, и пели изумительно, теперь я не слышу пения даже в застолье...

Но надо продолжить о книге, которую я продолжал читать, пока писал эту статью. Книгу я читал с наслаждением. К советскому времени мы относимся не одинаково, но эта разница не так значительна в сравнении с общностью отношения к человеку, к России, к культуре. Есть более важные вещи, чем политические фигуры: поэты важнее и значительнее их. Впрочем, мужчинам я не привык раздавать комплименты, поэтому наставлю точек, будем считать, что каждая точка – это мои незаписанные благодарности автору, и мои размышления над его книгой. Да и кроме этого: как много у нас талантливых людей, даже если мы светим иногда только друг другу, свет этот, я верю, не пропадет, не рассеется в мире, может быть и мне удастся написать хорошие стихи о других, не только о себе...

.....
Есть и еще хорошие поэты и прекрасные стихи и эссе, но вместо хвалебных слов я расставляю их стихи на страницах журнала...

Наконец, **мера**. О ней я продолжу разговор в следующем номере, надо продолжить и исследование дарвинизма и исследование развития вследствие потока случайностей, словно ветер, или словно брызги из капель, пролетающих сквозь движение жизни: жизнь движется по дороге, поток случайностей сквозь нее просачивается, *нечто* отбраковывает одни случайные изменения (плохие) и оставляет другие (хорошие) – и так якобы совершается развитие... Еще о мере позволительно продолжить разговор в связи трудом и товаром, стоимостью и мерой труда и в связи с *теорией прибавочной стоимости* ...

Нет, не все плохо, не надо падать духом. Есть друзья, есть журнал, есть...

Выводы из статьи, повторение пройденного.

Камень, выпущенный из пращи с краю поля, летит по параболе, при этом участвует в двух движениях: он летит и вверх и вдоль поля, постепенно замедляя свое движение, и это очевидно. Но он еще участвует в третьем движении, он ежесекундно падает, даже когда поднимается, под действием силы тяжести, притом с ускорением, но сие станет очевидным только в верхней точке полета. То же относительно движения земли: она вращается вокруг своей оси справа налево, а нам кажется, что это солнце движется слева направо от рассвета к закату: нет, солнце стоит на месте (по отношению к Солнечной системе, которая, конечно, и сама движется вдоль Млечного пути, но этого мы не замечаем ни утром ни вечером). Мы видим кажущееся и из него делаем мировоззренческие выводы, а истинное, противоречащее сиюминутному, отвергаем как не действительное (более того, тащим еще таких еретиков на костер). Волга течет с севера на юг и впадает в Каспийское море (но разве я сам не плыл по Волге и очень часто то с запада на восток, то даже с юга на север? И разве рыбаки, заблудившиеся в ее дельте, разбившейся на миллион протоков, поверят, что она куда-то впадает? – самая большая речная дельта в Европе, насчитывающая до 500 рукавов, протоков и мелких речек.

Наши кажущиеся мнения и знания хуже незнания, потому что они превратны. Одно из таких превратных мнений – то, что обыватель понимает под именем *математики*. Этот термин ввел Фалес, первый из семи античных мудрецов (седьмой век до нашей эры): **μάθημα** – наука, учение, размышление (то есть философия). **Математическая культура ума** является основанием для исследования и понимания мира, и разумеется, что не в формулах содержится та глубина познания, с помощью которой математик рассуждает и о бытии бога, и о вкусе и мере. То, что кажущееся вводит в заблуждение, математику очевидно, но инквизиция и религиозное мракобесие почти две тысячи лет препятствовало человеку знать даже простейшее – что солнце стоит на месте, а Земля движется вокруг него, и что Космос вмещает бесчисленное число миров, за что сожгли и Джордано Бруно. Математик умеет видеть и рассуждать, при этом часто не помнит формулы, ибо не только в них его сердце. Согласно Библии, Иисус Навин, в сражении за Землю обетованную *остановил на небе Солнце и Луну*, чтобы противник не смог бежать. Скорее всего, это метафора, ибо необходимо было для их остановки на небе остановить вращение Земли (при этом Луна могла перемещаться относительно своего исходного положения, так как она еще обращается и вокруг Земли один оборот за 28 дней). Даже при *незначительном замедлении* вращения под влиянием притяжения Луны возникают значительные приливные и отливные волны, значительное же замедление вращения, не говоря об остановке, уничтожило бы на Земле все живое. Но, согласно Гете, Фауст однажды воскликнул: «Остановись, мгновение!...» – так, быть может, Иисус Навин остановил время? Хотя при этом оно остановилось бы не только для ханаан, но и для Иисуса, и что это дало бы избранному народу? Я лично не сомневаюсь в том, что сверхъестественное существует и чудеса случаются, но так как я математик и не склонен **слепо верить** (к чему призывает Лознгрин Эльзу) во всякий бред, то я размышляю (следовательно, существую)

и сей библейский рассказ для меня пока загадочен (как загадочны сообщения о поголовном истреблении жителей завоеванных Иисусом городов вместе с женщинами и детьми – однажды только он спас блудницу *Раав*. Всякое бывало в истории, русские тоже не ангелы, и немцы тоже, и я не удивляюсь и не негодую, читая эти рассказы, хотя Палестина и сегодня объята войной – меня удивляет только поведение того Бога, который создал и небо и Землю и Адама и Еву и проклял Еву за одно съеденное ею яблоко, того Бога, который ведь стал богом и Востока, и Европы, а затем и Богом Русского народа, Бога-Отца, повелевшего сыну придти на Землю для нашего спасения – разве не он бросал с неба камни в этих несчастных Хананеян, не он повелел их всех истребить вместе с младенцами? Люди, конечно, порочны, но каков Бог?!)

Но продолжим математические исследования. Народ обладает **единством** (иначе понятие народа бессмысленно), он обладает **языком**, понятийный строй которого позволяет этому народу создать культуру, обладающую так же единством, и математику, и философию, и поэзию, которые все обладают единством, и восприятие народом (вот теми пятью процентами, которые народом и являются, хотя одновременно и все остальные тоже составляют народ, и рожают Гоголя и Розанова, Лермонтова и ВИ, Игоря Ростиславовича и Геннадия Григорьевя, Овсянникова и Меньшикова, которые с ВИ иногда спорят, но существенно его иногда поправляют в его чрезмерностях) – и сколько бы не *нес пурги* Лев Толстой, вообще отрицая поэзию вместе с Пушкиным, а не только не соглашаясь с ним и со мной в частности, но так как Волга все же впадает в Каспийское море, хотя временами течет то так то эдак, то вкус и слух в национальное бытие русского народа встроены **абсолютно** (хотя не все умеют петь, и даже мой четырехлетний внук Паша сказал мне: "не надо *петь!* **Не пей,** бабушка!" – и я бросил пить). Камень, выпущенный из пращи, летит вверх, но в **действительности** он падает на землю с ускорением "свободного падения" в 10 метров в секунду, солнце движется с востока на запад, но в **действительности** стоит на месте, забытый поэт Надсон пишет о Достоевском: «Не говорите мне, он умер – он живет! Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает...», гениальный Хлебников пишет «обзоби пели губы...» – что в этом гениального? Но куда теперь от этого денешься? Вот так однажды я школьнице поставил пятерку за ее бессвязный лепет у доски, над которым смеялся класс. Все замерли и потом возопили: *за что?!* Но посмотрите на нее, ответил я, разве кто-то скажет, что есть девочки красивее, чем она? А разве красота меньше знания? Другого повода, столь вопиющего, не будет, чтобы я подчеркнул превосходство красоты! – и все со мной согласились (в качестве исключения, вскричала одна отличница, согласно правилам английского языка!) (Надо сказать, они потом соревновались между собою, кто из них отличнее в знаниях). Ах, какой я был преподаватель! Но меня посадили в тюрьму, потом в сумасшедший дом, где я просидел три года, где меня все любили и защищали, и охранники и врачи, окончил я прекрасную школу в Краслаге, где преподавали выпускники Московского и Петербургского университетов, выпущенные Хрущевым из тюрьмы (но при чем тут советская власть?), мать моя из деревни могла съездить только в Тайшет, так как в советской России свирепствовало

крепостное право, отец мой погиб на войне, и дядя погиб, дед был сослан, другой дед умер с голоду, я выковыривал из мерзлого колхозного поля палкой картошку, в 47-м году, когда мне было пять лет, Иванов-Разумник сидел в тюрьме, Гумилев был расстрелян, Розанов умер с голоду, Блок от отчаяния, Есенин неизвестно как умер, но слишком рано, Маяковский – тоже, как умер Павел Васильев, Клюев, Цветаева и другие поэты... – мы знаем, и как умирал Варлам Шаламов, знаем тоже. И это все ничтожная часть тех пяти процентов, которые мне кажутся русским народом. А как же остальные 95 процентов?

Маяковский: *«Обутые лодочкой качает ноги водочкой. Вздыг – фонарь. Враги – фонари. Мне темно – так ничто не гори!»*

Может быть, поэт его хотел осудить? Нет, этот вопль звенит в моем сердце, как в другом сердце стучит пепел Клааса, и я наполняюсь скорбью, я жалею и этого, не лучшего из человеков. У меня бывали ученики, не умеющие складывать дроби, и я оставался с ними после уроков, одна поступила потом на Матмех ... потом все бросила и вернулась к *неточному знанию*. Но за это мне советская власть запретила преподавать в школе. И все же мы жили в лучшее время, чем сегодня, **сегодня еще хуже**. Если бы я был расстрелян, как миллионы, было бы, конечно, совсем плохо, но меня не расстреляли, и ректор Политехнического института принял меня на работу, отдал мне свои часы, я преподавал математику на вечернем отделении и получал вдвое (за ректора). Но я и там дебоширил, и в Полиграфическом, где читал моим студентам стихи (но декан написал обо мне главу в своей книге воспоминаний, где утверждал, что я занесен в «Красную книгу», *поэтому меня надо оберегать*. Удивительные люди нас окружают, как жаль, что не всегда нам удастся им помочь (о чем сожалеет Алексей Ахматов, поэтому я со смущением с ним спорю по поводу советской власти. Мне иногда ее тоже хочется защитить, лучше ли те, которые сегодня уронили нашу культуру и наше образование? Конечно, хуже. Но тогда были воины зла и воины добра, а сегодня воины зла торжествуют, а воины добра совершенно отстранены от влияния на народ, не только меня лишили школы, *школу у нас у всех отобрали...* Я читал проекты законов, обсуждавшихся в Государственной думе. – в тех школах, где я учился, писали лучше. Впрочем, здесь, где мы с вами спорим, я прихожу в восторг. Если бы я не любил так женщин, я бы признался и вам в любви тоже... Но хватит о советской власти: *Навуходоносор был хуже ...*

Нотный ряд лежит в основании музыки, порядок (или беспорядок) слов лежит в основании поэзии – но и **содержание**, которое пронизывает даже форму, которым **становится** форма – соединяет не только философию, но и поэзию. Об этом мы еще продолжим разговор, и об *энтелехии* и *телеологии* тоже. И о дарвинизме и марксизме, они имеют отношение к нашему спору ...

Критерия нет в том смысле, в котором его пытались приклеивать к литературе и жизни советское литературоведение 50-х годов. Никаким критерием не измерить женщину. Но если всё относительно, и ни в чем нельзя быть уверенным, то нет опоры. Абсолюта нет - и он есть. Бога нет, но мир пронизан ветром, наполняющим паруса, и корабль несет нас в море.

Критерий опирается на некоторую систему понятий и аксиом (как и в математике). Но существуют **оценки**, неизбежность которых неопределенна.

И это хорошо, было бы хуже, если бы истина самодовольно торжествовала, чем и был несносен марксизм (как и христианство).

Но разговор надо продолжить – об утверждениях, для которых не работает *принцип исключенного третьего*. Например, **есть ли БОГ?**

Кстати, в математике, в которой все можно доказать, справедливость теорем опирается не на одну *доказательность*, работает и чувство красоты, и как ни странно, красивыми доказательствами восхищаются ВСЕ (как пением соловья). И если доказательство или решение КРАСИВО, то обычно говорят: ну, в этом случае можно быть абсолютно уверенным, что оно истинно. И напротив, то что неуклюже, громоздко, не изящно – не верно!

Однажды академик Крылов увидел фотографию моста, построенного в США в начале 20-го столетия. Он дал телеграмму с предостережением, что МОСТ рухнет, потому что он не красивый. Телеграмму его напечатали, и только газету стали раздавать на улицах, МОСТ РУХНУЛ.

Красота форм в Природе не вызывает разногласий, всем нравятся розы, тюльпаны, гладиолусы... возможно, какие-то природные формы не у всех вызывают восхищение, но это исключения. С тысячами людей бродил я по лесам и рощам, вдоль рек и озер, с детьми и взрослыми, и мы были единодушны перед закатом, облаком, лугом, видом поляны или леса. Пение соловья, приманивающего соловыху, вызывают и у нас восхищение, а собака заслушивается музыкой на фортепьяно... Более того, шмель садится на те самые цветы, которые я выбираю на клумбе для того, чтобы срезать в букет – да и само явление цветущих растений, созданных природой, казалось бы, утилитарно – самое лучшее и прекрасное, что дала нам земная жизнь. Никогда почему-то мы не спорим, красивы ли цветущие черемухи, яблони, вишни... Природа не абсолютна, но сад или парк, лес и луг отвечают нашему **врожденному** чувству прекрасного, в отношении эстетических норм нас пронизывает единство в многообразии вкусов. *Единство природно, а многообразие связано с воспитанием, образованием, личным опытом.*

Ночь на 21 ноября. Возможно, я не всегда внятно и ясно выражаю свои мысли, поэтому не всегда бываю понятен читателям и собеседникам.

Я родился в Сибири в крохотной деревушке на краю света, народ здесь жил разный, русские из Сибири, из Расеи (за Уралом), русские из Белоруссии и Украины, иногда из Литвы, иногда немцы – но русские. В классе был один еврей, но тоже русский, я его в обиду не давал. И о том же пишет Пушкин: "И гордый сын славян и ныне дикой тунгус и друг степей калмык... по мне так будь ты хоть татарин, хоть жид – и это не беда!" ... – ибо все это наши русские люди, *как их ни скреби*, как говорил Карамзин. Во времена коммунистической Россия вышла замуж за иностранца, получила фамилию «Советский Союз», я отчима не любил, он меня тоже. Теперь Россия вернула родовое имя, но иностранцы у нас всем владеют, их я тоже не люблю. Я русский **народник, почвенник**, растворяя в русскости, в основе которой русский язык, память и русская культура, и умеренное православие, служащее государственным интересам. Так что вот каково направление журнала: это **духовно свободная Россия**. Но всегда ли мы пойдем друг друга?

Ибо мы часто расходимся в оценках людей, литературных произведений, теорий, учений и религиозных систем: христианство, марксизм, буддизм...

Можно махнуть рукой и сказать, что "на вкус и цвет товарища нет".

Но рассматривая наши несходные мнения, я вижу в них сходные элементы, например, признание или отрицание дарвинизма нас не окончательно разделяет, многие не то чтобы имеют другую о нем точку зрения, но толком не знают, о чем в ней идет речь, и в каком смысле справедлива или нет эволюционная теория. То же и относительно марксизма и христианства.

Многое в оценках на совести каждого человека – и тем не менее существует значительный круг общепризнанных писателей и мыслителей, значит, они нам близки, не одному мне, но и многим читателям, они нам говорят многое такое, что не говорят другие. И хотя некоторые из них обывателям кажутся идиотами - но почему то не сходят с неба, как падающие звезды? Особенны ли *натуральные числа* – или они только частный случай множества чисел, в которых мы видим инструмент для измерения, и только? И только великий Ньютон, пытавшийся дать определение ЧИСЛА, запнулся и ... сказал, что надо еще подумать, а теперь ему некогда. И Пуанкаре не поспешил наговорить глупостей по поводу чисел, как другие.

В десятом номере журнала разговор об оценках мы продолжим: и в связи с теорией Дарвина и размышлениями о ней, и в связи с марксизмом и христианством, и даже в связи с оценками женской красоты, а пока скажу так: Общепринятого критерия на все случаи **нет** - и он **есть** (не разбегаемся же мы по разным подворотням, а мирно беседуем хотя бы за выпивкой и пусть не во всем, но все же находим общий язык). Часто мы только не правильно понимаем друг друга или плохо формулируем свою мысль.

Шаляпиным восхищаются НЕ все – но он не сойдет с небосвода, пока не упадет небо. То же и в отношении Лермонтова (хотя православные его ненавидят), Достоевского и Толстого (которого Бунин хотел сократить вдвое).

Так и девушки и женщины... Насколько они прекрасны, часто узнаётся лишь в трагических обстоятельствах, как, например, мы узнали о них столько восхищающего нас после ссылки декабристов на каторгу в Сибирь – а уехать княгине из Петербурга за каторжником в Сибирь – это больший подвиг, чем верующему уйти в монастырь или скит.

Для справедливых оценок нужны вкус и широта души, поэтому я присоединяю к поэзии даже то, что мне пока кажется чуждым (как перец и соль, которые сами по себе не съедобны). Так пришел час Шостаковича и Губайдуллиной, Шнитке и других...

Мы составляем множество не совпадающих личностей, и оценки так же *разнообразны*, но в множествах есть и единство, как в натуральных числах, как в четных, простых – **единство в разнообразии** и выявляет общий критерий. Мы *субъективны*, но говорим на одном языке, используем общие понятия, один строй научного и философского мышления, один и тот же нотный ряд. Значит, наши различия преувеличены, мы более едины, чем кажется, даже «Журнал с топором» у большинства вызывает симпатию, как и стихи Пушкина. Поэтому не будем отчаиваться, мы еще вернемся к России..

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 9

Подписано в печать 3 декабря 2018

Формат 60x90 1/16 18.п.л. = **288**

Печать по требованию

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2018